

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 5207901 8

АРКАД
АРКАНОВ

ДЖЕК ПОТ

ПОДКРАЛСЯ
НЕЗАМЕТНО



АРКАДИЙ
АРКАНОВ

**ДЖЕК
РОТ**

ПОДКРАЛСЯ
НЕЗАМЕТНО

Ф А Н Т А М И С Т И К А

МОСКВА  ВАГРИУС 2005

*Издательство выражает благодарность
Штеренбергу Иосифу Израилевичу и
Культурно-развлекательному центру «Корона»
за помощь в подготовке и издании книги*

Художник — А.И.Рыбаков

Арканов А.М.

А 82 Яскрот подкрался незаметно / Аркадий Арканов. —
М.: Вагриус, 2005. — 272 с.

ISBN 5-9697-0108-4

Своей новой книге писатель дал подзаголовок «Фантамистика». В ней представлена история жителей города Мухославска. Действие первой части «Рукописи не возвращаются» разворачивается в предперестроечные годы в редакции известного журнала «Поле-полюшко» вокруг так и не состоявшейся публикации талантливой повести, которую принес в журнал таинственный незнакомец. Во второй части «Ягненок в пасти осетра» те же действующие лица спустя двадцать лет: действие происходит в наши дни. Мир перевернулся с ног на голову: вчерашние герои и ценности ныне не в чести, как не в чести и подлинное искусство, — на первый план выходят непомерные амбиции новых нуворишей, одурманивающие сознание людей «мыльные» телесериалы и деньги, деньги, деньги...

УДК 882-3
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 5-9697-0108-4

© Арканов А.М., 2005
© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2005

Уважаемые дамы, господа, товарищи и друзья!

Я обращаюсь к вам с тайной надеждой, что вы еще не утратили вкуса и желания ЧИТАТЬ. Бабушки и дедушки! Мамы и папы! Юноши и девушки!

Перед вами некий опус, жанрово обозначенный мной, как «фантамистика». Это — сочиненное мной литературное блюдо из смеси ненаучной фантастики и ещё более ненаучной мистики, то есть две основные составляющие нашей так называемой жизни.

Первая часть этой диалогии была опубликована в журнале «Юность» аж в 1986 году.

Для поколения, явившегося на свет в те годы или чуть раньше, та, «прошлая» жизнь — это некая страница истории, реально существовавшая, но уже не существующая. Как для моего поколения — Ленин и революция, Стенька Разин и Емелька Пугачев, кардинал Ришелье и Людовик XIII, Спартак и Марк Красс, Александр Македонский и Ганнибал... Все это было когда-то. Мы к этому не имеем отношения. Однако, хотим того или не хотим, но пользуемся плодами того, что когда-то было не нами посеяно. Пройдет время, и поколение, которое явится на свет сегодня, точно так же отчужденно будет воспринимать наши сегодняшние реалии. Старые лампочки перегорают, и на их место вкручивают новые...

Времена меняются. Появляются новые продукты питания, новая одежда, новые средства

передвижения. Но люди так же рождаются, живут и умирают со всеми своими достоинствами и недостатками. И, если разобраться, то произведения, написанные Свифтом, Сервантесом, Мольером, Салтыковым-Щедриным, Гоголем, Зощенко, Булгаковым, вполне могли бы быть написаны и сегодня. Разумеется, с приметами и деталями сегодняшнего времени.

Написав «Рукописи не возвращаются», я поставил точку. Мне казалось, что все, достаточно... Но пронеслись годы, и мы из застойного периода перебрались в период «неслышанной» свободы с теми же нашими человеческими достоинствами и недостатками. И тут выяснилось, что кто-то был никем, а стал КЕМ-ТО, а кто-то, кто был ВСЕМ, стал ничем... Ближайший друг стал заклятым врагом, а заклятый враг стал злейшим другом... Тот, кто был апологетом прошлого режима, отмежевался от прошлого и стал проклипать его всеми мыслимыми и немыслимыми словами, а тот, кто боролся с этим режимом, вдруг начал ностальгировать по тому самому ненавистному прошлому. А огромная часть нового поколения безоглядно приняла новое существование, и, отбросив, как балласт, все прошлое, безудержно припевая и пританцовывая, наивно полагала, что все настоящее вечно...

И вот однажды один мой приятель сказал мне: «Аркадий, почему бы тебе не вернуться к своим героям? По принципу Александра Дюма — «Двадцать лет спустя». Ведь страна-то наша как была Россией, так Россией и осталась...» Хорошо ли, плохо ли я воспользовался его предложением, не мне судить. Но я это сделал, написав вторую часть под названием «Ягненок в пасти осетра».

Может возникнуть вопрос: откуда взялось общее название дилогии «Jackpot подкрался незаметно»?

Отвечаю. Вторая часть «...подкрался незаметно» пояснений, видимо, не требует. «Джекпот» же взят из игрового бизнеса, пленившего огромную часть нашего народа, независимо от социального и морального статуса. Я и сам «страдаю пороком азарта» и, когда выигрываю, получаю несказанное удовольствие... Так вот, «джекпот» – это самый большой выигрыш в масштабах сделанной ставки. Это как сказочная «жар-птица» или «Емелина щука», по велению которой сбудется все, что пожелаешь... Но согласитесь, разве наше вечное плавание в океане поисков лучшей жизни не есть несбыточная мечта поймать жар-птицу или отловить всемогущую щуку? В этих скитаниях нас может выбросить на бог знает какой берег... И мы, как нам покажется, схватим это мифическое существо... Вот тут к нам незаметно и подкрадется то самое, что мы примем за «джекпот». Страшно будет, но ничего не поделаешь – приехали... А ведь и Ганнибал, и Александр Македонский, и Спартак, и Марк Красс, и Ришелье, и Людовик XIII, и Стенька Разин, и Емелька Пугачев, и Ленин тоже считали, что поймали «джекпот»... Но мы этого не помним. Как говорит сегодняшняя молодежь, «не догоняем»... Мало ли что было, а наш «джекпот» будет настоящим!

Так что же делать? А ничего. Надо нормально жить по совести и по чести и ко всему относиться со спасительной иронией... И еще. Наша жизнь – это бесконечная многоэтапная эстафета. Каждое прежнее поколение должно передавать эстафетную палочку НАСТОЯЩЕГО и ПРЕКРАСНОГО новому поколению. Не передадим, не примем, уроним – Высший Судья Бог нас дисквалифицирует...

Арк. Арканов

РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

I

В помещении редакции журнала «Поле-полюшко» частенько пахло газом.

Редакция размещалась в бывшей людской особняка графа Ефтимьева. Сразу после революции сюда завезли двадцать кроватей и организовали госпиталь для раненых. Когда окончилась Гражданская война и раненых стало значительно меньше, кровати вывезли.

Несколько лет помещение пустовало, находясь в опечатанном состоянии, после чего превратилось в детский сад, тем более что население города Мухославска к тому времени заметно увеличилось. Тогда-то в подсобке была установлена обыкновенная плита, которую после ввода в эксплуатацию знаменитого газопровода «Саратов—Москва» заменили на газовую, что в конце концов и сыграло роковую роль в жизни редакции журнала «Поле-полюшко». Но об этом позже.

Причина, по которой в помещении редакции частенько пахло газом, была экономически объективной. Город Мухославск славился на всю страну своей спичечной фабрикой. В Оймяконе, в Благовещенске, в Термезе, в Мукачево, в Сингапуре, на Островах Зеленого Мыса, в освобожденной Анголе и даже в спецмагазине для сотрудников советского посольства в Вашингтоне можно было встретить знаменитые мухославские спички. Поэтому в самом Мухославске они являлись предметом повышенного спроса, или, в новейшем определении, дефицитом. Кроме того, химва-

вод имени таблицы Менделеева выпускал яды-пшикалки против тараканов, клопов, муравьев, мышей, крыс, волков и экспортировал их в Австралию, где ими травили неумно размножавшихся кроликов. Яды-пшикалки обладали резко специфическим запахом, что делало их пригодными в качестве дезодорантов. По известным причинам яды-пшикалки-дезодоранты тоже являлись предметом повышенного спроса, и достать их не было никакой возможности.

Казалось бы, что общего между запахом газа в редакции журнала «Поле-полюшко», и спичками и ядами-пшикалками-дезодорантами? А вот что. Журнал «Поле-полюшко», как и любой уважающий себя журнал, имел туалет, в котором, естественно, отсутствовал дезодорант. Дезодорирующий эффект производил едкий дым от зажженного факела из неподошедших рукописей. Но дело в том, что в силу спичечного дефицита редакционная коробка хранилась у вахтерши Ани, которая, чтобы ее всякий раз не тревожили сотрудники, каждый день в десять часов утра зажигала газовую горелку. И стоило войти в помещение редакции какому-нибудь сотруднику или просто, не дай Бог, автору, как возникавший сию же минуту сквозняк задувал пламя горелки, после чего вахтерша Аня, чуя запах газа, шла в подсобку и снова зажигала горелку, ворча при этом по обыкновению: «Вот ужо взорвемся в одночасье».

II

Алеко Никитич сидит в своем кресле, откинувшись на спинку, заложив левую руку за голову, вытянув ноги, и делает сквозь зубы «с-с-с», что означает: ничего, все нормально. Все так, как и должно быть. Журнал выходит, тираж растет, нареканий нет. Индей Гордеевич на месте. Дамменлибен услужлив. Внучке третий годик. Хорошая девочка. Машенька. Рыженькая. Стоит дедушке прийти с работы, как она забирается к нему на колени и щечочет нежными ручонками его лысую

голову. С-с-с. Алеко Никитич проводит правой рукой по своей лысой голове. Зря только Поля вышла за скрипача. Он, конечно, парень нормальный, но что это за профессия? Ведь не Ойстрах же. Не Ойстрах. Хотя внучка прелестная. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Алеко Никитич снимает телефонную трубку.

— Рапсод Мургабович? Здравствуй, дорогой! Тут к тебе дама одна подойдет. Дочь бывшего однополчанина. От меня. Пару баночек икорки сделай. Спасибо, дорогой. Что там у тебя интересного есть? Финский? Оставь пару батончиков. Глория моя обожает. Спасибо, дорогой. Слушай, Рапсод Мургабович, может, с очерком у нас выступишь, а? Воспеть работника прилавка. По-моему, самое время. Поможем. Я к тебе Сверхшенского пришлю.

Алеко Никитич кладет трубку. С-с-с. Дочь однополчанина. Рапсод Мургабович прекрасно знает, что Поля — моя дочь. Соблюдение норм. Но Машеньке необходимы витамины. Алеко Никитич смотрит в окно. Жаркий будет день. Жаркий. Он видит, как люди перебегают с одной стороны улицы на другую под самым носом машин. И он думает: они так торопятся на ту сторону, словно на той стороне их ждет совершенно другая жизнь. С-с-с. Что тебе, Теодор? Это художник Дамменлибен появляется в кабинете. Без стука могут сюда входить только заместитель Индей Гордеевич и Дамменлибен. Дамменлибен во время войны был интендантом и с тех пор страдает категоричностью своих суждений.

— П-п-п-п-при... при... — пытается высказаться Дамменлибен.

— Приветствую, Теодор! Что случилось?

Дамменлибен вдруг перестает заикаться и выпаливает на одном дыхании:

— Слушайте Никитич! Моя жена Нелли прекрасная умная женщина у тещи тромбофлебит отвез ее в больницу Петеньке в классе кто-то наделал в портфель я

говорю я ветеран войны по-моему это тема для нашего журнала щенки всюду гадит как вам нравится в Римского Папу стреляли я не верю что он турок отдохнуть вам надо Никитич вы подписались на «Америку» слушайте одолжите пятерку в кулинарии антрекоты дают бардак вы помните до войны...

Алеко Никитич любит, когда его называют Никитичем.

— Пятерку я вам одолжу, Теодор, но что вы там нарисовали к рассказу Гайского? Почему у лесорубов такие длинные носы?

— Слушайте Никитич! Моя Нелли умная женщина со вкусом вспомните Соифертиса у меня был командир хохол и ничего мы с ним вчера выпили три пули вынули из папы бардак у нашей Ани по-моему появился мужик что мне трудно укоротить носы слушайте Никитич дайте еще трешку и я вам буду должен девятью шесть щенки всюду гадит бардак сп-сп-сп-сп... сп-сп-сп-сп...

— Не стоит, Теодор. А носы сократите.

Дамменлибен исчезает. Алеко Никитич слышит за дверью знакомый короткий смешок и томительное шуршание колготок. Это проходит по коридору машинистка Оля. Олечка. Олюшка. Олюля. Входите, Ольга Владимировна. Садитесь. Она садится. Нога на ногу. Вызывающе. Алеко Никитич смотрит в угол кабинета, чтобы не видеть Олиных колготок. Ух, Оля! Как дела, Ольга Владимировна? Алеко Никитич закрывает дверь кабинета на ключ. Как дела, Ольга Владимировна? Она очень похожа на его первую жену Симу. Как он любил Симу! У нее были такие же прямые волосы, такие же мягкие.

Но не входит в кабинет Оля, Олечка, Олюша, так напоминающая Симу, Симочку, Симулю. Это все грезится Алеко Никитичу, все мечтается. И он стучит кулаком по своей лысой голове, пытаясь отогнать охватившие его воспоминания... Ах, Сима, Симочка!.. Лань моя трепетная! Женщина моя единственная! Где

твои губы терпкие, рябина-ракита моя стройная!.. Угораздило же отца ее, врача, в свое время сделаться «убийцей в белом халате»... Тогда-то и посоветовали Алеко Никитичу серьезные люди порвать с Симой, Симочкой, потому как не к лицу ему, человеку нужному и полезному, добровольно себя компрометировать... И не поняла она, что не предал, не бросил ее Алеко, а поступил по разумной необходимости. А напрасно не поняла...

Алеко Никитич стучит кулаком по своей лысой голове, и воспоминания понемногу отпускают его. Он опять снимает телефонную трубку. Глория? Обедать сегодня со всеми не пойду. Жди дома. Он вешает трубку. Хорошо, что Глория все понимает. Мудрая женщина. С-с-с.

...Стрелка часов медленно подбирается к часу дня.

С-с-с. Глория уже все приготовила. С-с-с. Машенька с няней гуляет. С-с-с... Пора идти...

И в этот момент открывается дверь и входит незнакомец. Молодой человек, коротко стриженный, с голубыми навывкате глазами, непонятного для Алеко Никитича социального происхождения. Не то рабочий, не то футболист, не то учитель. И держит в руках тетрадь в черной кожаной обложке. И Алеко Никитичу беспричинно становится неприятно, будто в его жизнь, в его тело вползает что-то чуждое, неудобное и холодное. Почему этот тип вошел без стука? И что это за тетрадь держит он в руках? Рукопись? Я рукописи не читаю. Для этого есть отдел прозы. Есть Зверцев, есть консультанты.

— Кто вы? — спрашивает Алеко Никитич как можно строже. — Почему без стука? Что у вас в руках? Рукопись? Я рукописи не читаю. Для этого есть отдел прозы. Вы у Зверцева были?

— Зверцев правит Сартра, — бесстрастно произносит незнакомый автор и, сделав два шага, кладет рукопись на стол. А потом добавляет многозначительно: — Вам должно подойти.

Алеко Никитич повидал много авторов. Присылали по почте с большими сопроводительными письмами, с подробным описанием жизни, с перечислением наград, прежних публикаций и, главное, увечий. Передавали через жен и знакомых с просьбами отнестись повнимательней, намекали на ответные услуги в случае публикации, наконец, напрямую пытались всучить взятки — от трехзвездочного армянского коньяка до очереди на мебельный гарнитур. Беспощадный сатирик Гайский даже соблазнял девочками, которых у него, по его же словам, больше, чем у американского певца Джексона. Но такую безапелляционность Алеко Никитич встречал впервые.

— Минуточку, — говорит он, — но вы хоть зарегистрировали вашу рукопись у Зверцева?

— Зверцев правит Сартра, — по-прежнему бесстрашно отвечает автор.

Алеко Никитич звонит Зверцеву.

— Я правлю Сартра, — заявляет тот. — Хочу сегодня вечером отдать на машинку Оле.

Алеко Никитич думает про диалектику и про Сартра, прошедшего славный путь от служителя сомнительного течения, именуемого экзистенциализмом, до выдающегося деятеля французской и мировой культуры, которого сегодня правит Зверцев — заведующий отделом прозы мухославского журнала «Поле-полюшко». Время движется, безусловно, движется. Только куда? Алеко Никитич хочет сказать автору, что «Поле-полюшко» — серьезный журнал, а не мусорная яма, и что автор еще слишком молод и зелен, и что надо вести себя поскромнее... Но, к удивлению Алеко Никитича, автора уже нет. Он исчез, и Алеко Никитич не заметил как... Алеко Никитич машинально открывает тетрадь в черном кожаном переплете и читает на первой странице:

«Мадрант похрапывал, распластавшись под пурпурным покрывалом. Поднявшееся над морем солнце бледношафрановыми лучами ударило в плотные вишневые што-

ры, скрывавшие мадранта от окружающего мира и охранявшие его ночной сон. И чем выше отрывалось от моря светило, тем ярче возникала в покоех мадранта иллюзия разгоравшегося по ту сторону вишневых штор кровавого зарева...»

— Не про производство, — вслух произносит Алеко Никитич и бросает тетрадь в портфель.

Он закрывает форточку, надевает макинтош, запирает дверь, отдает ключ от кабинета вахтерше Ане и направляется в сторону дома.

III

Беспощадный сатирик Аркан Гайский катастрофически начал лысеть еще в седьмом классе средней школы, что явилось предметом насмешек и колкостей со стороны соучеников и соучениц. Шушукались, поговаривали о причинах столь прогрессирующего облысения, но конкретно никто ничего не знал. Параллельно у Гайского стал уменьшаться нос, и это тоже подбавило дров в костер предположений и догадок. Развившийся комплекс неполноценности предопределил дальнейшее вступление на стезю беспощадной сатиры, к чему уже тогда имелись выраженные способности.

— Лысый! Лысый! Живет с крысой! — говорили ему друзья.

— На себя посмотри! — парировал беспощадный сатирик.

— На экскурсию — по два рубля с носа! — объявлял староста. — С Гайского полтинник.

— На себя посмотри! — пригвождал Гайский.

Постепенно он пришел к выводу, что окружающие его не очень любят. Надо сказать, это не было ошибочным выводом. Но жить в таких условиях не столь уж приятно, и вскоре Аркан Гайский вывел для себя удобную формулу: не любят, потому что завидуют.

Беспощадным его прозвали за то, что в своем творчестве он не щадил никого: ни женщин, ни стариков, ни детей. Особенно он ненавидел недостатки и пере-

житки. Когда в Мухославске повысились цены на кофе, он на одном из вечеров позволил себе рискованную шутку, рассказав такую байку: «У попа была собака, он ее любил. Она съела банку кофе — он ее убил».

Забредший после длительного заседания на его вечер председатель мухославского исполкома спросил у своего заместителя: «Откуда взялось это чучело?» Заместитель пожал плечами, но фраза, пущенная председателем, не прошла для Гайского бесследно. До конца жизни он так и не смог стать членом мухославского отделения Союза писателей, хотя кого туда только ни приняли: и Бестиева, и публициста Вовца, и поэта Колбаско.

«Завидуют, — повторял Гайский. — Все завидуют!»

— Написать «Войну и мир» просто, — говорил он публицисту Вовцу, который за сто пятьдесят граммов мог слушать Гайского часами, а еще за сто пятьдесят граммов во всем был с ним согласен. — А ты попробуй вскрой, когда тебя душат...

Гайский был многогранен. Он не только читал свои рассказы и фельетоны, но и, приплясывая, пел частушки собственного приготовления.

Его ценили мухославцы и ходили на него как на женщину с бородой. По-настоящему дружил с ним художник Дамменлибен, которому Гайский всегда одалживал деньги, со вздохом, но одалживал, а Дамменлибен за это охотно иллюстрировал сатирические рассказы Гайского, которые тот килограммами приносил в журнал «Поле-полюшко». Дело было вот в чем: если Дамменлибен брался иллюстрировать чей-нибудь рассказ, то, что бы ни происходило, рассказ всегда появля^{лся}ся. Порой наполовину сокращенный, порой оставались две строчки, порой выходила одна только иллюстрация Дамменлибена, но все-таки выходила, потому что Дамменлибен пользовался у Алеко Никитича любовью и заслуженным авторитетом талантливого художника, так как интересовался здоровьем Глории и согласен был с Алеко Никитичем, что Поля могла

найти себе человека поинтереснее, чем скрипач из мухославского драмтеатра.

Была у беспощадного сатирика Гайского еще одна, уже упомянутая страсть — девочки. Так он называл всех особ противоположного пола независимо от возраста. Период активной ловли девочек делился у Аркана Гайского на два больших отрезка: ловля на купальник и ловля на совместную жизнь.

Ловля на купальник началась в тот золотой для предприимчивых людей период, когда наша легкая промышленность, освоив производство черных семейных трусов, еще не предполагала, что такое купальник. Собственно говоря, этот золотой период по-настоящему не кончился и сегодня. С вводом же в эксплуатацию мухославского водохранилища вопрос купальников для местных женщин встал ребром. Тогда-то, будучи в Москве на экскурсии, Аркан Гайский и отхватил в магазине «Ванда» польский купальник с бабочками за 18 рублей 50 копеек. Изначально купальник предназначался незамужней тогда дочери Алеко Никитича, за которой Гайский в то время ухаживал, но когда, возвратившись из Москвы, беспощадный поклонник узнал, что Поля предпочла гневному перу сатирика смычок скрипача, вопрос с подношением отпал, и купальник с бабочками стал дожидаться лучших времен. Однажды, пригласив в гости к себе под видом чтения бессмертных произведений доверчивую лаборантку с химзавода, Гайский начал ее бессовестно домогаться, пытаясь поцеловать в ушко. В ответ на это доверчивая, но гордая лаборантка, читавшая известное изречение из «Мудрых мыслей»: «Умри, но не давай поцелуя без ли~~ца~~», заявила сатирику, что за поцелуй без спроса полагается «подщечина». Тут потерявший, видимо, рассудок Гайский и выложил перед ней купальник с бабочками, высказав предположение, что эта вещь должна быть лаборантке к лицу. Доверчивая, но по-прежнему гордая девушка попросила мужчину удалиться и начала при-

мерку. Последователь Гоголя удалился в соседнюю комнату, но в течение всего процесса примерки кричал сквозь неплотно закрытую дверь: «К лицу! К лицу! Ой, как к лицу!» Гордой, но доверчивой девушке купальник понравился настолько, что она даже не стала его снимать, а наоборот, надев платье, принялась собираться домой, мотивируя свой уход поздним временем и ранним вставанием на работу. Но здесь разгоряченный щедринец проявил твердость и потребовал немедленно снять купальник, так как делать подарки без взаимности он не намерен, потому что вещь дорогая, италю-французская и стоит двести рублей. Лаборантка вспыхнула, сорвала с себя купальник и, перейдя на «вы», желчно сказала перед уходом: «Эх, вы! Правильно про вас говорят!»

И тут Гайскому пришла счастливая мысль. С этого момента каждой девочке, которую он приглашал в гости, после чтения рассказов и рассуждений о тяжелой доле сатирика предлагался купальник. Во время примерки, как бы невзначай, в комнате появлялся пылкий ученик Зоценко в плавках с золотой рыбкой и предлагал свои отношения. В случае, если купальник подходил — а он подходил всем, так как был безразмерным, — у любительницы сатирической литературы имелись два выхода: либо забрать подарок себе, поверив в любовь с первого взгляда, либо заплатить двести рублей. Но фатально, что оба выхода оказывались неприемлемыми, и купальник с бабочками оставался у хозяина, а хозяин после этого час остывал под холодным душем, повторяя в сердцах: «Завидуют! Все завидуют!»

И вот однажды Аркан Гайский уговорил на литературный вечер вполне интеллигентную травести из детского театра и с шестым номером бюста. Убедив ее в безысходной доле сатирика и угостив рюмкой портвейна с конфетой «Южная ночь» в синей обертке, Гайский разложил перед ней купальник.

— Беру! — немедленно сказала интеллигентная травести и бросила купальник в сумочку.

Гайский, непонятно каким образом оказавшись в плавках с золотой рыбкой, сразу же стал прыгать на нее, пытаясь достать заветное ушко. Но интеллигентная травести оттолкнула его в солнечное сплетение со словами: «Не сегодня, дурашка!»

— Берете или не берете? — спросил Гайский, поднимаясь с пола.

— Беру! — ответила Гаврош.

— Двести! — сухо произнес писатель.

— Беру! — повторила Красная Шапочка.

— Чеками! — уточнил сатирик. — Это память от мамы.

Выложив четыреста рублей нашими деньгами из расчета один к двум за чек, обладательница купальника предложила коробейнику посетить мухославский вечерний ресторан, обмыть покупку, воскресив тем самым угасшую было в Гайском надежду на продолжение. Но в ресторане выяснилось, что Дюймовочка пьет как лошадь, да вдобавок к ним за столик под села ватерпольная команда спичечной фабрики, семеро из которой оказались друзьями девочки. Гайскому это суаре обошлось в четыреста семьдесят шесть рублей, не считая битой посуды и оскорблений в его адрес. Так закончился для него период ловли на купальник, который плавно перешел в период ловли на совместную жизнь. Но этот период остался для беспощадного сатирика незавершенным, чему тоже были соответствующие причины.

IV

Вечером того дня, когда незнакомый автор всучил Алеко Никитичу тетрадь в черном кожаном переплете, Аркан Гайский ужинал с машинисткой Олей, ловя ее на совместную жизнь. Ужин происходил в недорогом, а потому любимом Гайским кафе неподалеку от редакции. Неожиданно за столом возник художник Дамменлибен.

— Зд-д-д-о... — начал здороваться Дамменлибен.

— Здравствуй, Теодор, — скучно сказал Гайский, прекрасно понимая, чем все кончится.

— Бардак, — преодолел робость Дамменлибен, — ты Нелли знаешь она умная женщина тещу перевез на дачу бардак здорово Олюха дома все нормально? Аркуля как тебе нравится с работой зашиваюсь дай мне еще пятерку и я тебе буду должен шестьдесят девять для ровного счета щенок всюду гадит бардак здорово Олюха...

— Теодор, ты мой рассказ проиллюстрировал? Дамменлибен сунул пятерку в карман:

— Мебель подорожала бардак ты мою Нелли знаешь тебе надо жениться здорово Олюха от тебя тот альфонс отстал? Пе-пе-пе-передвигается твой рассказ Алеко звонил юбилейный номер готовится бардак щенок всюду гадит у него рукопись лежит из самотека пацан какой-то принес с голубыми глазами Глории нравится здорово Олюха к тебе этот автор не заходил?

— Нет, — ответила Оля, — я весь день печатала очерк Сверхщенского об истории Мухославска. В юбилейный номер.

— Молодой с голубыми глазами, — продолжал Дамменлибен, — ни фамилии ни адреса турки совсем обнаглели в Папу стреляют бардак я у тебя пятерку взял? Петеньке в портфель наложили здорово Олюха мистика про какого-то мад-д-д-ранта...

— Про мадранта? — оживился Гайский. — Если это тот парень, с которым меня хотели познакомиться в Москве, то он сын очень крупного человека... Мне давали читать... Я сказал тогда, что гениально, но на самом деле муть. Скучища и никакой сатиры... Бред под Маркеса... Но чей-то сынок... Скажи Алеко Ники-тичу.

— Если пойдет буду иллюстрировать а чей сын помянешь уж ты мою Нелли знаешь...

— Чей, не сказали, но кого-то оттуда... Чуть собачья. Прозу любой может писать, а ты попробуй вскрой, когда душат!..

— Расскажите лучше анекдот, Аркан Гарьевич, — попросила Оля и погладила Гайского по плечу.

Гайский расценил этот жест как аванс, количество адреналина в его крови резко возросло, и он заверещал голосом кукольного Петрушки, входя в образ героев анекдота:

— Однажды один англичанин решил показать другому англичанину свой замок. «Вот здесь, — говорит, — живет моя прислуга. Здесь я принимаю гостей. Это моя столовая, это мой кабинет, это моя спальня...» Открывает он дверь в спальню и видит, что рядом с его женой спит незнакомый мужчина... «А это, — говорит, — моя жена». — «А рядом кто?» — спрашивает другой англичанин. «А рядом — я».

Оля дробно захохотала, и Гайский, воспользовавшись этим, поцеловал ей руку.

Теодор Дамменлибен мутно посмотрел на Гайского, пытаясь осмыслить услышанное. Затем, бросив это бесполезное занятие, обратился к сатирику:

— Я у тебя пятерку взял? Бардак здорово Олюха смешно слушай Аркуля возьми мне сто грамм ка-ка-ка...

— Имей совесть, Теодор, — почти вышел из себя Гайский. — Я тебе дал пятерку.

— А т-т-ты мне ее дал? — искренне удивился Дамменлибен. — Бардак щенок всюду гадит пойду Никитичу позвоню здорово Оля ах да я с тобой здоровался...

И Дамменлибен оставил их в покое.

— Не хотите прогуляться по воздуху, Ольга Владимировна? — сказал Гайский. — Могу пригласить к себе. Я написал новый рассказ «Архимед и ванна». О недостатках водоснабжения. Если напечатают, кому-то не поздоровится.

— Мне завтра к девяти в редакцию, Аркан Гарьевич, — мягко отказала Оля. — В другой раз, хорошо?

Аркан Гарьевич потупился:

— У меня к вам серьезные намерения, Ольга Владимировна. Мы с вами две половинки одного сосуда,

именуемого счастьем. Нас бросает в океане пошлости и некоммуникабельности и прибывает совсем не к тем берегам, к которым бы нам хотелось. Пойдемте ко мне, Ольга Владимировна, я вам почитаю. У меня дома есть портвейн и кое-что сладенькое. Вы не представляете, как трудно заниматься сатирой. Все завидуют. Все...

Ольга Владимировна вздохнула.

— Вы знаете, кто такой зануда? Это человек, которому легче уступить, чем отказать...

V

Алеко Никитич входит в лифт в восьмом часу вечера и нажимает кнопку шестого этажа. В портфеле у него материал Сверхщенского об истории города Мухославска, который сегодня вечером он должен прочитать и внести необходимую правку, а в голове — мысли о юбилейном номере. Уж так некстати накладывается одно на другое: и семь лет со дня основания журнала, и тысяча двести лет Мухославска, и годовщина с того знаменательного дня, когда Мухославск стал побратимом австралийского города Фанберры. Да еще в порядке того же панибратства и культурного обмена приезжает редактор фанберрского журнала «Диалог» господин Бедейкер, которого надо будет принять и носиться с ним на высоком уровне. В общем, дел невпроворот.

Он входит в квартиру и застаёт Глорию за своим рабочим столом. Включена настольная лампа. На Глории очки, и это свидетельствует о том, что она читает. На ее коленях дремлет палевый коккер-спаниель Дантон. Алеко Никитич снимает макинтош, влезает в домашние тапочки и подходит к Глории. Она предостерегающе поднимает правую руку: мол, не мешай, подожди минутку, я занята. Алеко Никитич наносит ей поцелуй в затылок и видит, что Глория читает ту самую тетрадку в черном кожаном переплете, которую еще днем он вынул из портфеля и оставил дома.

— Это поразительно интересно, — говорит она, продолжая чтение, — так неожиданно, так свежо, так необычно...

Глория уже несколько лет не работает, но зато занимается активной общественной деятельностью в городском Клубе любителей друзей человека, являясь вице-президентом.

— Где Машенька? — спрашивает Алеко Никитич.

— Машеньку Полина купает, — отвечает Глория, — а у Леонида спектакль.

Чувство неприязни к Леониду возникает под ложечкой Алеко Никитича, но он давит это чувство.

— Мне нужен стол, — говорит он.

— Алик, кто этот человек? — спрашивает Глория.

— А черт его знает. Ворвался в кабинет, минуя Зверцева. Положил передо мной тетрадку и заявил, что Зверцев правит Сартра... Вообще производит впечатление не совсем нормального. Глаза странные какие-то. Но самое интересное, что, когда я позвонил Зверцеву, оказалось, никто к нему не обращался, но он действительно в этот момент правил Сартра.

— У вас идет Сартр? — удивляется Глория.

— Да ни слухом ни духом! Вам что, говорю, Зверцев, делать нечего, как только Сартра править? И знаешь, что он ответил? Что ему сегодня принесли перевод неизвестной работы Сартра, и он решил его немного поправить и предложить в журнал. Глупость какая-то.

— Сартр — это, разумеется, ваше внутреннее дело, — говорит Глория, — но этот парень, — она указывает на тетрадь, — достоин внимания. Ты только послушай!

Она начинает читать с выражением:

«Мадрант похрапывал, распластавшись под пурпурным покрывалом...»

— Да я просматривал, — пытается отмахнуться Алеко Никитич.

— Нет, ты послушай внимательно! — настаивает Глория. — Какая аллитерация! В одном только первом

абзаце двадцать пять «р». Это создает напряжение и внушает властность!

И Глория продолжает:

«Поднявшееся над морем солнце бледно-шафрановыми лучами ударило в плотные вишневые шторы, скрывавшие мадранта от окружающего мира и охранявшие его ночной сон. И чем выше открывалось от моря светило, тем ярче возникала в покаях мадранта иллюзия разгоравшегося по ту сторону вишневых штор кровавого заката.»

Четыре фиолетовых арбака методично и плавно обмахивали мадранта благовонными опахалами. И когда мадрант ощущал кожей лба или щек легкое приятное дуновение воздуха, он понимал, что проснулся и что наступило утро. Очередное утро мадранта, утро ревзодов, утро этих фиолетовых арбаков, утро его народа и всей данной ему небом страны.

Иногда мадрант просыпался ночью. То ли от чересчур назойливой мухи, что было явным упущением со стороны арбаков, то ли от слишком сильного дуновения, вызванного опахалами, что тоже являлось оплошностью арбаков, то ли от тяжелого сновидения... Но независимо от причины сам факт ночного пробуждения мадранта означал смертный приговор всем четверем арбакам, которых утром наступившего дня бросали на съедение священным куймонам, чтобы не тратить на эту фиолетовую пададь драгоценный свинец, не тупить о них топоры и сабли, не осквернять их вонючими телами благородные морские воды и не отравлять землю погребением их мерзких останков.

Если ночь проходила спокойно, утром арбаков уводили в темные казематы, обильно кормили пищей, приправленной вкусными, но снотворными специями, после чего они спали до наступления ночи...

Мадрант открыл глаза и сразу почувствовал на себе ненавидящие взгляды четырех пар арбачьих глаз. Он усмехнулся. Он не испытывал к арбакам ответной ненависти. Он их просто презирал.

Мадрант презирал пленных и рабов. Рабов – за их молчаливую, беспрекословную покорность, пленных – за то, что

они предпочли рабство ради спасения жизни, потому что цепляться за ту жизнь, которая им предоставлялась, даже не за жизнь, а за существование, могли только животные. Но животные цепляются за существование неосмысленно, а эти – сознательно. Значит, они хуже животных...

В последний миг перед пленением еще можно было исповаться, звать свое оружие против себя.

Но ведь они почему-то не сделали этого...

Можно затем отказаться от пищи и воды...

Но ведь они не отказываются...

Наконец, можно ударить стражника или плюнуть в лицо какому-нибудь ревзоду...

Но ведь они не ударяют и не плюют.

Значит, они цепляются за то, что никак нельзя назвать жизнью, и надеются на то, на что уже нет и не может быть никакой надежды...

С того момента, как он стал мадрантом, были, правда, выплески... И никогда он не расправлялся с хабрецом, проявившим человеческое начало. Наоборот, и так было всякий раз в случае неповиновения, он собирал на площади эту жалкую толпу, это тупое быдло и возносил до небес непокорного, отдавая дань его смелости и ставя в пример остальному порченому семени.

А потом бунтовщика доставляли на край высоченного обрыва, обрыва Свободы, как нарек его мадрант, и дарили ему последний шанс: он должен был прыгнуть с этой страшной высоты в сверкающее где-то внизу море и либо разбиться о прибрежные камни, либо утонуть, либо стать жертвой акул, которые непонятно почему собирались, как на праздник, под обрывом Свободы в дни подобных экзекуций.

Невелик был последний шанс, но все-таки это был шанс.

И после всего мадрант направлялся к водоему со священными куймонами, и никто не мог слышать, как он просил небо о спасении несчастного гордого одиночки.

Он надеялся, что его молитвы будут услышаны, и это успокаивало его.

Он один хотел, и было только в его власти, дать свободу заслужившему ее, но мадрант не мог этого сделать, потому

что его бы не поняли, потому что иначе он не был бы мадрантом...

Случались, правда, и раскаяния. Тогда мадрант делал знак рукой, и раскаявшегося отдавали обратно в толпу, после чего до конца дней своих он оставался самым отверженным рабом даже среди рабов, и это было закономерной расплатой за раскаяние.

В такие дни мадрант находился в прескверном настроении...

...Мадрант трижды встряхнул колокольчик. Глаза арбаков приняли тревожно-вопросительное выражение, но четвертого звонка не последовало, и это означало, что ночь прошла спокойно и что никаких претензий на сегодня к арбакам нет.

Появились стражники и вывели арбаков из покоев. Тогда мадрант встал и подошел к зеркалу.

Ему шел сорок второй год. Кожа лица и тела была упрягой и смуглой, даже первые признаки старения еще не проглядывались.

Он сделал десяток дыхательных упражнений, поиграл немного мускулатурой и, довольный самочувствием, раздернул плотные вишневые шторы, и, когда солнце ударило его по глазам и он чихнул, мадрант окончательно убедился, что наступил новый день.

Два массажиста (не из рабов) тщательнейшим образом довели его тело до нужной кондиции и передали медику, который после соответствующего осмотра и нескольких манипуляций высказал полнейшее удовлетворение состоянием здоровья мадранта, на что мадрант, в свою очередь, выразил озабоченность неудовлетворительным цветом лица медика.

Медик виновато улыбнулся, потом рухнул на колени и, ловя губами руку мадранта, начал заверять его, что он, медик, наизамечательно себя чувствует и это могут подтвердить все три его жены (ранг приближенного медика позволял ему иметь трех жен), а цвет лица, показавшийся высочайшему мадранту неудовлетворительным, объясняется исключительно образом переупотреблением клубники.

Мадрант вяло выслушал объяснения медика и брезгливо погладил его по лысеющей голове. У него сегодня не было в мыслях отстранять медика, чего тот больше всего и опасался, потому что отстранение от особы мадранта означало изменение ранга и лишало отстраненного многих, если не всех, привилегий.

По сути дела, приближенные мадранта, как более, так и менее, тоже были рабами, но в отличие от подлинных рабов, которые знали, что они рабы, эти считали себя свободными, и мадрант играл с ними в сложившуюся веками игру, иначе он не был бы мадрантом».

Глория смотрит из-под очков на мужа. Алеко Никитич дремлет, сидя на диване, посапывая и причмокивая.

— Ты не спи, — говорит Глория. — Ты слушай!

— Я все слышу, — встряхивается Алеко Никитич. — «Иначе он не был бы мадрантом»...

— Это очень здорово! — восклицает Глория. — «Иначе он не был бы мадрантом!» Там дальше есть длинноты и ряд фривольностей, от которых, конечно же, следует избавиться, но в целом... Ты знаешь, звонил Дамменлибен, я ему выразила свой восторг, он бы мог прекрасно проиллюстрировать...

Алеко Никитич, конечно, доверяет безупречному вкусу Глории, но не любит, когда она открыто вмешивается во внутриредакционные дела.

— А вот это уж лишнее, — замечает он, поднимаясь с дивана. — Ни один человек из редакции — не говоря уже обо мне — не читал, а ты предлагаешь Дамменлибену...

— Я не предлагаю, Алик. Я просто высказала ему свое мнение...

Из ванной выходит Поля, держа на руках закутанную в махровое полотенце Машеньку.

— А вот и дедушка пришел, — напевает Полина и вручает внучку деду.

Машенька сразу же хватается Алеко Никитича за нос.

— Ты была у Рапсода Мургабовича? — спрашивает он.
— Все взяла. Он тебе кланяется и сказал, что заглянет в понедельник по поводу статьи... Представляю, что он тебе напишет.

Алеко Никитич любит дочку, но и ей не позволяет влезать во внутриредакционные дела.

— Что надо, то и напишет! — строго произносит он, пытаясь вырвать свой нос из Машенькиной ручки.

Глория несет Машеньку в другую комнату, и они вместе с Полей приступают к укладыванию.

Алеко Никитич садится за стол и располагает перед собой материал Сверхценского, по которому уже успел пройти рукой мастера Индей Гордеевич.

Статья Сверхценского

«МЫ — МУХОСЛАВИЧИ»,

написанная для журнала «Поле-полюшко»
к 1200-летию со дня основания родного города,
с правкой и замечаниями Индея Гордеевича
с левой стороны
и соображениями Алеко Никитича —
с правой стороны

Невелика птица, чтобы начинать с себя! Я иду по моему старому, но вечно молодому городу. Нещ спешно катит свои волны величавая седовласая красавица Славка, что в районе Сокрестья (ныне мухославские Черемушки) принимает в гостеприимные объятия младшую сестру свою — своенравную Муху. Вековые дубы, которые помнят еще и Чингисхана, приветливо шепчут мне: «Здравствуй, человек! Здравствуй, строитель нового!»

И.Г. Точнее — «помнят бегство Чингисхана»... А.Н.

Опять «Я»! И.Г. При чем тут «боли в сердце»? И.Г. А по широкому светлому проспекту Холмогорова спешат к своим рабочим местам улыбочные и до боли в сердце родные мне мухославици: люди-тружени

ки, люди-романтики, люди-открыватели. Я и иду и думаю: воскресни сейчас, через 1200 лет, кто-нибудь из жителей того древнего Мухославска, он бы не узнал родные места. Неузнаваемо изменился облик города за это время! Гордо раскинула свои корпуса спичечная фабрика — гордость мухославичей! Далеко за пределами страны гремит слава нашего химзавода. В прошлом году

Почему

«мне»?

Я тоже был в Фанберре.

мне довелось побывать в далекой Фанберре — городе контрастов. И приятная гордость наполнила сердце, когда на столе мэра

Лучше — «нам довелось».

И я был в Фанберре.

И.Г. Фанберры я увидел знакомый баллон с клеймом родного завода. Простые фанберрцы, узнав, что я из Мухославска, широко улыбались мне и говорили: «Спасибо!»

А.Н.

Уточнить, за что «спасибо!»

А.Н.

А от главного проспекта во все стороны, словно молодые побеги от могучего ствола, тянутся старенькие улочки и переулочки, названиями своими охраняя память недавнего и далекого прошлого... Давно прошли те времена, многое изменилось... Неизменным остался дух родного города, первые упоминания о котором относятся ко второй половине VIII века. Неизвестный летописец печенегского предводителя

Уточнить век.

А.Н.

М.б., это лишнее?

И так в городе много мух!

Черниллы пишет: «А шатрами стать в той провалине не сподобились, бо комарья да мух славно». «Мух славно»... Быть может,

И.Г. отсюда и пошел Мухославск. Наш земляк историк Шехтман М.И. считает иначе. В своей монографии «Предвкушая прошлое» он

пишет: «Место, на котором стоит Мухославск, до XII века называлось Сучье болото. В XII веке жители занялись пушным-меховым промыслом и разведением сливовых деревьев, и город постепенно стал называться Мехосливском. С течением же времени фонетическая подвижность, свойственная нашему языку, привела к тому, что «е» заменилось на «у», а «и» — на «а»...»

Уточнить века и годы

А.Н.

Много испытаний выпало на долю родного города. В XIII веке во время татаро-монгольского нашествия он был сровнен с землей. В Смутное время поляки сожгли город дотла. В 1789 году, когда вольнолюбивая

Правильно — «монголо-татарского», если речь идет об иге.

А.Н.

Не «пришествием», а «рождением»!

Своим третьим и окончательным пришествием мы обязаны русскому купцу Никите Евстафьевичу Холмогорову, который в 1863 году основал здесь железодельные мастерские (ныне спичечная фабрика).

Согласен.

А.Н.

Сейчас в нашем городе — красавец стадион на 150 000 посадочных мест с сауной и современным реабилитационным центром. Каждый восьмой мухославич имеет возможность заниматься любимым спортом, каждый шестой ходит в городской театр музкомедии, каждый пятый пользуется публичной библиотекой им. Глинки, который тоже бывал в нашем городе.

Вот на таком бы уровне!

А.Н.

Каждые 12 секунд с конвейера нашей фабрики сходит венькая спичечная коробка, каж-

Уточнить цифры!

А.Н.

Не «врачи»,
а «люди».

дые 10 минут от наших химиков в далекой Австралии гибнет кролик, каждый второй мухославич регистрируется в городском загсе, а для каждого третьего гостеприимно распахнуты двери больницы, где скромные врачи

И.Г. в белых халатах творят чудеса.

«Выходные дни».

В зоне отдыха, что на Мухе прямо под открытым небом, любят проводить уикенды мухославичи. Богаты рыбой воды Мухи и Славки.

Американизмы ни к чему.

И плотвичка идет на донку, и ер-

И.Г. шишко нет-нет да и побалуует

сердце рыбака. Бежит по проводам электричество — светлый заряд будущего. Я люблю бродить по городу теплым июльским вечером и вдыхать пряный запах аммиака с химзавода, люблю, затаив дыхание, лежать в кустах, любясь влюбленными, когда в памяти сами собой возникают пахучие строки мухославского поэта

Колбаско: «Я себя мухославичем

числю. Будто связаны пайкой одной. Если ж вдруг я сбежать замыслю, ты держи меня, город

родной!»

У Колбаско можно найти стихи и посочнее.

А.Н.

«Господ», а не «товарищей»!

И в эти славные дни мы рады

приветствовать прибывших

И.Г. к нам товарищей из города-по-

братам Фанберры во главе «господ» —

с господином Бедейкером и ска-

зать им: «You are welcome to Mukhoslavski!» Мы рады гостям,

у которых добрая воля, но тем, кто приезжает к нам, чтобы вы-

ведать, вынюхать, опорочить, мы

в любой момент можем сказать:

«Go home!» Дубина народного

гнева умеет костить, когда пона-

добится!

Не надо пугать!

А.Н.

Тов. И вот я иду по родному горо-
Сверхщенский! ду, затерявшись среди тысяч та-
Не надо ких же, как я, влюбленных в свой
отождествлять город, и у всех у нас на лицах све-
себя со всем тится сегодня одна гордая, счаст-
народом! ливая мысль: «Мы — мухослави-
И.Г чи!» Впрочем, почему только се-
годня? И завтра, и послезавтра,
и на века!..

В одиннадцатом часу Алеко Никитичу звонит Дам-
менлибен. После этого Алеко Никитич минут пятнад-
цать барабанит по столу пальцами. С-с-с. Вертит тет-
радь в черном переплете, словно определяя ее вес,
и набирает номер телефона:

— Индей Гордеевич? Привет, дорогой. Не разбу-
дил?.. Тут, понимаешь, рукопись принесли... Мне ста-
ло известно, что автор — сын кого-то из Москвы... Вот
именно... Вообще ничего... славно написано... Есть ал-
литерации... Время не наше... С таким, знаешь, вос-
точным колоритом... Нет, к Ближнему Востоку отно-
шения не имеет... Сегодня дочитаю... Я думаю, надо
позвонить Н.Р. и посоветоваться... Не сейчас, конеч-
но... Завтра отдам Оле распечатать... Думаю, пока оз-
накомим Зверцева и Сверхщенского... Вот именно...
Ну, привет супруге...

Алеко Никитич стучит кулаком по своей лысой го-
лове, пытаясь прогнать сонного зверька, уже усевше-
гося на затылке и ласково поглаживающего уши Алеко
Никитичу, а потом зовет Глорию. Глория появляется
в розовом ночном халате, который Алеко Никитич
привез ей из Фанберры, берет тетрадь в черном кожа-
ном переплете и усаживается на диван, закинув ногу на
ногу и обнажив еще достаточно стройные и упругие не
по возрасту ноги. Дантон устраивается рядом, поло-
жив голову на бедро Глории. Одним движением голо-
вы она откидывает назад влажные волосы, располагая
их на спинке дивана, и начинает читать с того места,
на котором остановилась несколько часов назад...

«...иначе он не был бы мадрантом.

Приняв завтрак, который состоял сегодня из приготовленного на углях куска баранины и чашки тонизирующего оранжевого миндаго, мадрант проследовал в черный зал, куда обычно вызывал для доклада Первого ревзода.

Первый ревзод никогда не заставлял себя ждать.

Небольшого роста, сутуловатый, с маленькими, стреляющими во все стороны глазками, ревзод вошел в черный зал, низко склонил голову, предварительно втянув ее в покатые плечи (он один имел право не становиться перед мадрантом на колени), и произнес, придавая своему голосу убедительность и искренность, ежеутреннее приветствие, сводившееся к тому, что новый день принес новую толлику величия и могущества мадранту и его стране, хотя еще вчера казалось невозможным представить себе более могущественное величие и более величественное могущество.

И хотя за много лет мадрант привык к этому, ставшему ритуальным, словесному набору и знал ему истинную цену, он ловил себя на том, что введенное в правило Первым ревзодом приветствие порой доставляет ему, мадранту, определенное удовольствие.

Первый ревзод был мудрым человеком и считал мадранта чистым ребенком, которому вовсе ни к чему углубляться своим высочайшим небесным существом в вонь и грязь внутригосударственной свалки. Мадрант рожден мадрантом и должен оставаться мадрантом,

ревзод – ревзодом,

горожанин – горожанином,

раб – рабом.

Государство существует для мадранта.

Рабы – для того, чтобы мадрант их ненавидел.

Женщины – для того, чтобы мадрант их любил.

Горожане – чтобы размножаться и дарить мадранту новых подданных.

Победы – для того, чтобы мадрант стал победителем.

Поражения – для того, чтобы означать начало будущих побед.

Мадрант должен знать то, что делается в стране, а как делается, этим занимается Первый ревзод.

Мадрант должен утверждать то, что ревзод приносит ему на утверждение, и не утверждать то, что, с точки зрения ревзода, утверждению не подлежит. В этом – трудность и мудрость Первого ревзода.

И грош ему цена, если между ним и мадрантом возникает несогласие.

И место тогда Первому ревзоду в водоеме со священными куймонами.

Мадрант приподнял правую бровь, и на лице его возникла еле заметная улыбка, когда Первый ревзод убедительно и доказательно изложил мадранту всю необходимость постройки новой тюрьмы в скале, что возле обрыва Свободы...

Разве увеличилось настолько количество непреданных мадранту горожан, что им стало тесно в старой тюрьме? Разве не лучше использовать усилия и средства, направленные на обеспечение непреданных, для создания заповедной рожи, в которой просто и приятно могли бы себя чувствовать преданные?

Первый ревзод выдержал паузу, а потом слегка улыбнулся мадранту. («Я понимаю, высочайший мадрант, твои сомнения».) Но разве может увеличиться количество того, чего вообще нет? Преданность горожан, временно или постоянно живущих в старой тюрьме, не вызывает никакого сомнения. Более того, согласно данным опроса вышедших из тюрьмы, приведенным в «Альманахе» Чикиннита Каело, преданность мадранту возросла в два, в три раза, а в отдельных случаях – неимоверно. Этим лишь доказывается известное философское определение, что преданность, как песня, не имеет грани. Сегодня она больше, чем вчера, а завтра будет больше, чем сегодня. Таким образом, приглашая в тюрьмы как можно большее количество безусловно преданных горожан, мы стимулируем дальнейший рост их безграничной преданности, превращая тюрьму, по меткому высказыванию того же Чикиннита Каело, в парники преданности.

Мадрант опустил правую бровь, и улыбка сомнения испарилась.

Первый ревзод вновь склонил голову, предварительно вытянув ее в покатые плечи, давая понять всем своим видом, что на сегодня нет больше ничего такого, чем стоило бы обременять драгоценный мозг мадранта.

Но мадрант не торопился отсылать Первого ревзода, а Первый ревзод не сомневался в том, что сейчас последует крайне неприятный для него вопрос, на который ему мучительно не хотелось отвечать, ибо считал он, что сам вопрос не достоин того, чтобы его задавал мадрант, ненормален он для мадранта, а раз так, то содержится в этом вопросе какая-то опасность для мадранта. Не должен он интересоваться этой белокурой тварью с потопленного две недели назад чужеземного судна... Конечно, любого капитана любого фрегата есть за что четвертовать, но уж никак не за то, что он немного позабавился с белокурой тварью, прежде чем доставил ее в город. Не предполагал же он, в самом деле, что на нее засмотрится сам мадрант. И что за проблема? Ну, вспыхнул у мадранта факел. Это понять можно. Почему бы и нет. Ну, держи ее где-нибудь в клетке на пожарный случай. Конечно, не в женарюме – законные супруги растерзали бы чужеземку.

Но не помещать же ее в розовый дворец! И для чего? Чтобы в течение двух недель даже пальцем до нее не дотронуться? А только каждый день спрашивать у Первого ревзода: как она и что она?.. Тогда отдай приказ, высочайший мадрант! Кастрируй Первого ревзода, приставь его евнухом к белокурой. Твоя воля! И дурак четвертованный капитан фрегата! Зачем было тащить ее с собой? Ненормальность. Определенная ненормальность со стороны мадранта. И опасность для него...

И Первый ревзод ответил ему на уровне своей осведомленности и с той почтительностью, с какой положено отвечать мадранту даже на самый неприятный вопрос: вчера вечером Олвис успокоилась, плавала в бассейне, не отказывалась от еды и к вечеру привела себя в порядок, что сделало ее еще более привлекательной. («Мерзкая личинка!») Что еще?

Еще она пела что-то на своем языке приятным голосом. («Гадко квакала!») О чем пела? Все предусмотрено, высочайший мадрант. Специально вызванный Чикиннит Каело перевел ее песню, и вот она...

Первый ревзод развернул перед собой лист бумаги...

Лети, моя песня, через океан и разгищи мою прохладную землю... Расскажи, как воинчий туземец насильно сделал со мной то, что невозможно выразить словами...

(«Да, мадрант, я уже издал указ, предписывающий твоим морякам мыться три раза в день...»)

Но пещера моя заколдована, и каждый, кто проникнет в нее, непременно погибнет... Негодяя велел четвертовать его хозяин...

Что дальше? Дальше ряд специфических обращений:

Лети, моя тихая песня, моя серебристая птичка, моя последняя надежда. Я жду...

Это всё, мадрант. Я отдал приказ всем службам молчаливого наблюдения выяснить, о какой заколдованной пещере идет речь. Смее думать, мадрант, что изменившееся поведение чужеземной красавицы («Бледнобрюхая акула!») и ее последние слова говорят о том, что она ждет тебя. Большие ей ждать некого...

Мадрант жестом дал понять ревзоду, что беседа окончена, и закрыл глаза...

Олвис дремала на низеньком мраморном парапете, окаймлявшем абсолютно изумрудный бассейн. Ее длинные, соломенного цвета волосы касались воды и при каждом, даже едва уловимом дуновении воздуха приходили в ленивое движение, словно водоросли.

Потрясенная, потерявшаяся в невероятном калейдоскопе последних событий, она постепенно возвращалась к жизни. Не будучи от природы чересчур экзальтированной, воспитанная не в традициях излишнего романтизма, она умела адаптироваться в самых неожиданных ситуациях, когда чувствовала, что это не временная случайность, что это надолго, если не навсегда, что надо принимать окружающее, чтобы продолжать жить, принимать, по возможности не растворяясь в окружающем, а наоборот, пытаясь заста-

вить принять это окружающее удобные для нее, для Олвис, формы.

Отправленная с двумя десятками закоренелых убийц на необитаемый остров за потерявший всякое приличие обмен сладкого товара, доставшегося ей при рождении, на деньги, которых она с того же самого рождения была хронически лишена, Олвис очень скоро поняла, что захватившие ее туземцы думают, будто она какая-то чистопородная принцесса, и что в ее интересах поддерживать и развивать эту версию. В противном случае она будет перепробована всем мужским населением этого дурацкого острова (или полуострова?), а потом все женское население разорвет ее на части при полном одобрении того же мужского населения. Поэтому она не отвернулась, а с презрением пронаблюдала, как был четвертован тут же, на палубе, этот вонючий, неотесанный капитан, и даже не поблагодарила, как и подобает гордой чистопородной принцессе, туземного вождя за его естественный, с точки зрения принцессы, акт возмездия.

Олвис дремала на низеньком мраморном парапете, окаймлявшем абсолютно изумрудный бассейн, когда неслышно появился мадрант. Он скрестил руки на груди и не мигая смотрел на распластавшееся на парапете, обжигавшее его глаза тело, прикрытое легкой желтой тканью, смотрел и не мог оторваться.

Расслабленные в дреме женские контуры, словно затуманенные так же дремавшей желтой легкой тканью, вызывали головокружение своей манящей неконкретностью.

И женариум с полусотней любящих его и воспитанных в духе поклонения красивейших женщин всех пород и мастей утратил привычный смысл, превратился в предмет надоевшей, обременительной ненужности.

Олвис открыла глаза, ощутив почти физическое прикосновение очень властного взгляда, и увидела стоявшего на расстоянии нескольких шагов от нее вождя.

С момента, как она была помещена в этот розовый дворец, вождь навещался ежедневно. Он появлялся неслышно и молча, стоя на почтительном расстоянии, смотрел на

нее своими темными, широко расставленными (это, кстати, ей нравилось) глазами. Странная, зеленого цвета, свободная одежда (это ей не нравилось) плохо скрывала атлетическую, с могучими плечами (это ей очень нравилось) фигуру. И каждый раз при его появлении Олвис свеживалась, пытаясь прикрыть чем попало обнаженные участки тела, и начинала пятиться к глубокой нише, где находилось ее ложе, награждая вождя взглядом ненависти и брезгливости, заготовив в груди истерический крик гордой принцессы, если вождь сделает по направлению к ней хотя бы один шаг. Но тот, неподвижно простояв некоторое время, уходил, не проронив слова, не проявляя ни раздражительности, ни удивления, ни злости.

Понимая, что такое однообразие может стать утомительным и вызвать со стороны вождя самую неожиданную и опасную для нее реакцию, Олвис еще накануне решила изменить тактику. Это было довольно рискованно, но известный опыт общения с мужчинами и профессиональное чутье убеждали ее в правильности выбранного решения. Вот почему, когда сегодня, открыв глаза, Олвис увидела стоявшего перед ней в стандартной позе мадранта, она медленно поднялась на ноги и посмотрела прямо в глаза вождю. Лицо ее, оставаясь холодным и безразличным, выражало вместе с тем усталость и полнейший отказ от дальнейшего, совершенно бесполезного сопротивления. Легкая желтая ткань медленно сползала с плеч, обнажая грудь, и Олвис вяло, как бы инстинктивно, сделала попытку удержать левой рукой ниспадающую материю.

Мадрант не пошевелился.

Что ты хочешь от несчастной, но гордой женщины, вождь, или, как тебя здесь называют, – мадрат?

Не мадрат, а мадрант? Понятно...

Что ты хочешь, мадрант, от несчастной, но гордой женщины? Ты захватил ее и держишь в клетке, как птичку. Ты хочешь, чтобы птичка спела тебе любовную песенку и ласкала тебя своими ранеными крылышками? Нет, мадрант! Хотя птичка и в твоей власти и ты можешь делать с ней все, что пожелаешь, ты не услышишь любовные трели,

когда прикоснешься к ней своими грубыми руками. Ты услышишь одни хрипы ненависти и стоны боли. Птичка бессильна, но она горда и свободна. Она поет тогда, когда хочет, и ласкает своими крылышками лишь того, кого любит!.. («И за что только меня выслали?»)

Мадрант желает утолить свой звериный голод? Мадранту приелась местная пища? Он хочет сделать это сейчас, при солнце?.. Изволь!..

Что же ты стоишь, мадрант? Чего же ты ждешь?..

Желтая легкая ткань окончательно упала на мраморный парапет и соскользнула в изумрудную воду бассейна, став похожей на большую бесплотную медузу.

Мадрант скорее догадался, чем понял смысл надрыной речи Олвис. Он передернулся и, шагнув к ней, ударил по щеке.

Потому что я – мадрант, а не вонючий четвертованный раб!

Потому что не мне, а судьбе было угодно, чтобы ты оказалась здесь!

Потому что мадрант устал от покорности и раболепия!

Потому что мадрант может полюбить только такое же свободное существо, как и сам мадрант!

Он заметил слезу на горящей щеке Олвис.

Будь проклята рука, которая прикоснулась к тебе и принесла боль!

Будь проклят тот, кто на горе свое увидел, как мадрант поднял руку на беззащитную свободную женщину!

И мадрант вышел из розового дворца.

Через час четверо стражников, охранявших розовый дворец, и два личных телохранителя мадранта, которые могли случайно или не случайно стать свидетелями происшедшей во дворце сцены, были обезглавлены по приказу мадранта без всяких на то объяснений с его стороны.

А на исходе того же дня дворцовый палач Басстио под угрозой быть самому обезглавленным выполнил приказ мадранта и отсек ему правую руку по локоть...

Да, да! Прав Первый ревзод: что-то непонятное происходило с мадрантом, что-то опасное для него. И, видимо,

не только для него. Нечто неприятное и холодное возникло где-то глубоко под печенью Первого ревзода. А когда перед закатом взглянул он на священную гору Карраско, которая, по легендам, разгневавшись тысячу лет назад, подвергла пеплу и огню все живое, когда увидел он над ее вершиной причудливо извивавшуюся струйку сероватого дыма, это неприятное и холодное чувство переросло у Первого ревзода в тревогу...»

Несколько раз во время чтения Алеко Никитич начинает дремать, и в сознании его возникает путаница, но путаница реальная и какая-то тревожная... Его настораживает неприятное звукосочетание «Чикиннит Каело», его пугает одорукий мадрант, его страшит дымящаяся Карраско, а Олвис становится похожей на машинистку Олю... Но каждый раз Алеко Никитич приходит в себя и напряженно слушает голос Глории... Она заканчивает чтение в третьем часу ночи... За это время успел прийти из театра Леонид, и Поля кормила его на кухне ужином, просыпалась Машенька, и Глория высаживала ее на горшок... Глория несколько минут продолжает оставаться на диване под впечатлением прочитанного. Она считает, что журналу нужна такая публикация. Именно такая — неоспорная, притчеобразная... Конечно, кое у кого будут нарекания, но журналу необходима сенсация. Зато Алеко Никитичу сенсация не нужна. Он уже видит холодные глаза Н.Р. Он уже слышит назидательный голос Н.Р.: «Что ж это вы, Алеко Никитич, так оскандалились?» И он понимает, что и ответит на этот вопрос сам Н.Р. ...И уже навсегда тает в тумане Фанберра и другие отдаленные специализированные города и поездки, и уже не откликнется на его звонок Рапсод Мургабович, и тяжелым камнем на шею повиснет пенсия, и кто-то другой, может быть, даже Индей Гордеевич, займет его кабинет, а Алеко Никитичу только и останется, что выгуливать Машеньку да измерять себе кровяное давление после каждого похода в магазин. Нет, не нужен скандал Алеко Никитичу... Но,

с другой стороны, если автор действительно сын кого-то оттуда? И снова слышит Алеко Никитич иезуитский вопрос Н.Р.: «Что же это вы, Алеко Никитич, совсем в штаны наложили?.. Зарубили талантливое произведение молодого автора, а?» И опять утливает навсегда туманная Фанберра, и делает вид, что вовсе не знаком с ним Рапсод Мургабович, и Машенька отрывает его пенсионный нос, и в обычной аптеке нет необычного лекарства против высокого кровяного давления... И откуда свалился только на голову Алеко Никитича голубоглазый сегодняшней блондин?

— Посмотрим, Глория, посмотрим, — зевая, произносит он и направляется в ванную комнату...

VI

Когда рано утром Алеко Никитич и Индей Гордеевич запирались в кабинете, предварительно вызвав туда же Зверцева, или критика Сверхщенского, или Свища из отдела Пегаса, остальные сотрудники журнала «Поле-полюшко», перемигиваясь, сообщали друг другу полупшепотом: «Пугают друг друга». И если кого-то очень интересовало, что именно происходило в кабинете, то, приложив ухо к двери, он мог услышать следующее.

Алеко Никитич (*таинственно*). А не кажется вам, Индей Гордеевич, что этот автор...

Индей Гордеевич (*вникая*). Кажется, Алеко Никитич, кажется. Еще как кажется. Мне и раньше казалось.

Зверцев. Мне вообще-то так не казалось, но если вам кажется, Алеко Никитич...

Алеко Никитич (*демократично*). Не только мне. Индею Гордеевичу тоже кажется.

Индей Гордеевич (*поспешно и не сомневаясь*). Безусловно, кажется.

Сверхщенский (*многозначительно*). История, между прочим, помнит случаи, когда аналогичным образом хоронились гениальные творения.

Свищ (*торопливо, испуганно*). Счастье-то какое, Алеко Никитич, что вам вовремя показалось. А мне, каюсь, и в голову не могло прийти... Молодой еще, молодой... Вот урок-то всем нам... Счастье-то какое...

Алеко Никитич (*удовлетворенно*). Я, честно говоря, сначала думал, что мне показалось... Но вот и Индею Гордеевичу тоже кажется.

Свищ (*не без самобичевания*). Ой, и глупый же я! Учить, учить меня надо! Просто не понимаю, как это мне сразу не могло показаться?!

Алеко Никитич (*предостерегающе*). Того и гляди угодили бы в какую-нибудь белогвардейскую газетенку... (*Озорно*). А вот мы сейчас перезвоним Н.Р. да себя и перепроверим... (*Набирает номер, в трубку*). Ариадна Викторовна, Н.Р. у себя?.. Соедините, милая!.. Добрый день!.. Как здоровье?.. Супруга как? Ну и отлично! Привет ей... Хочу вам тут один абзац прочитать... (*Читает абзац*.) Ну, что скажете? Нравится? Нам тут тоже нравится... А не кажется ли вам, что... Кажется? Вот и мне кажется...

Индей Гордеевич (*эфромко*). Мне тоже кажется!

Алеко Никитич (*снисходительно*). И Индею Гордеевичу кажется...

Свищ (*на очень высокой ноте*). Ох, урок нам всем! Подлинный урок!

Алеко Никитич (*предлагая*). Там мы, пожалуй, этот абзац снимем?.. Так и сделаем... Извините, дорогой, за беспокойство...

В это утро, попугав друг друга некоторыми строчками и абзацами, Алеко Никитич, Индей Гордеевич, Зверцев, Свищ и Сверхщенский приступили к более глобальной проблеме.

Позиция Алеко Никитича была твердой.

— Мы должны решить для себя главный вопрос, — сказал он. — Печатать или не печатать.

— Вам и решать, — заметил Сверхщенский. — Вы один и читали.

— Ольга Владимировна закончит работу к четырем часам, — сказал Алеко Никитич, — и все сможете прочесть. Но поверьте мне — дело не в содержании. Дело в принципе. Выяснилось, что автор — человек не с улицы. Отказав ему, мы можем иметь неприятности.

— Ой, зачем нам неприятности! — залопотал Свищ и заморгал веками. — Неприятности-то нам зачем? Печатать, печатать...

— А если это бред сивой кобылы? — возразил Сверхщенский.

Встрял Индей Гордеевич, который не очень любил Сверхщенского за его эрудицию.

— Выбирайте выражения, Сверхщенский! Алеко Никитич не ставил бы вопрос о публикации заведомо слабого произведения!

— Безусловно, — кивнул Алеко Никитич, — повесть неординарная, хотя и небесспорная.

— А точно известно, что автор не с улицы? — спросил Зверцев.

— Есть такое мнение, — ответил Алеко Никитич. — Но, конечно, проверить бы не мешало... Главное, он исчез. Никто его не видел, не знает... Фамилия на рукописи отсутствует...

— Фамилия, даже когда она есть, может всегда оказаться псевдонимом, — заметил Индей Гордеевич.

— Я бы вообще псевдонимы запретил, — вставил Свищ, который свои стихи в журнале печатал под фамилией Улин. — Фамилия — как родители: не выбирают...

— А с тобой как быть? — поинтересовался Зверцев.

— У меня жена Уля, — обиделся Свищ. — Это родной человек. Сибиряк, например, был Мамин. В честь мамы. Совсем другое дело.

— Слушайте, что вы ерундой занимаетесь! — повысил голос Индей Гордеевич. — Здесь серьезная проблема. За автором стоит ответственная, может быть, даже слишком ответственная личность.

— В конце концов, у нас журнал или пансион для детей ответственных личностей? — выпалил Сверхщенский.

Это уже было чересчур, и Индей Гордеевич сказал строгим, хорошо поставленным голосом:

— Покиньте кабинет, Сверхщенский! Пойдите и подумайте, почему у вас в очерке о Мухославске сплошное ячество и американизмы!

Сверхщенский вспыхнул и выскочил из кабинета, так хлопнув дверью, что с потолка посыпалась штукатурка, запачкав пиджак Алеко Никитича.

— Ой, горячий! — запричитал Свищ. — Честный, но горячий! Учиться сдерживать себя надо! Ой, как надо!..

— Гнать его пора, — буркнул Индей Гордеевич.

— Если мы, старина, всех разгоним, — улыбнулся Алеко Никитич, стряхивая с плеча штукатурку, — так мы с вами в лавке вдвоем останемся...

— И, уверяю вас, больше будет толку, — подытожил Индей Гордеевич.

— Ну, вот что. — Алеко Никитич принял решение. — Поскольку мы здесь все ни к какому мужскому выводу не пришли, ступайте и работайте, а я еще посоветуюсь с Н.Р. Только не болтайте до поры до времени каждому встречному.

— Да я язык себе вырву, — начал пятиться к двери Свищ, — да под пытками смолчу...

Оставшись наедине с Индеем Гордеевичем, Алеко Никитич набрал номер телефона:

— Ариадна Викторовна?.. День добрый! Как здоровычко?.. Ну и отлично... Супругу кланяйтесь... Сам у себя?.. Соедините, милая... День добрый!.. Как здоровье?.. Супруга как?.. Ну и отлично... Тут вот какое дело. Посоветоваться надо... Лучше бы не по телефону... Завтра? Записал... В десять пятнадцать?.. Записал... Не опаздывать? Записал... Извините, что оторвал, но дело уж больно щекотливое... Супруге кланяйтесь.

— И от меня супруге привет, — придвинулся Индей Гордеевич, но Алеко Никитич уже повесил трубку.

— Зачем быть умнее кондуктора? — сказал Алеко Никитич. — Как решит, так и сделаем.

И Индей Гордеевич покинул его кабинет. Он отправился к себе, заперся на ключ и стал петь «Пролог» из оперы Леонкавалло «Паяцы». Он любил попеть на едине арии из опер, снимая таким образом нервное напряжение. И все в редакции знали: упаси боже в такую минуту заглянуть к нему в кабинет...

С-с-с... Алеко Никитич идет по редакционному коридору в сторону комнатки, где сидит Ольга Владимировна. Он входит к ней и застаёт ее печатающей. Она сидит на высоком стульчике, подложив красненькую подушечку, и сдувает спадающие на глаза волосы, так напоминающие Симины, Симулины. Алеко Никитич запирает дверь изнутри, подходит к Оле, Оленьке, к ласточке... «Да что это вы, Алеко Никитич?» — шепчет Оля, подставляя ему свои губы.

Только все это грезится Алеко Никитичу, все это ему представляется, пока идет он по редакционному коридору в направлении комнатки, где сидит и печатает машинистка Ольга Владимировна. С-с-с.

А она сидела в своей маленькой комнатке в конце коридора, подложив на стул, как всегда, красную подушечку, и гнала к четырем часам принесенную ей утром новую рукопись из тетрадки в черном кожаном переплете. Почерк был незнакомый, не очень разборчивый, так что время от времени ей приходилось склоняться над тетрадкой, и тогда вымытые с ночи волосы спадали на глаза, и она сдувала их, выпятив искусанную нижнюю губу. И по мере того, как она все больше и больше углублялась в содержание, чувство безграничной жалости помимо ее воли заполняло каждую клеточку тела. В горле сформировался затруднявший дыхание комок, и в конце концов она даже вынуждена была оторваться от работы и выпить

валериановых капель, которые всегда держала при себе вахтерша Аня. Ольга Владимировна ясно представляла себя на странном и знойном заброшенном острове, запертой в роскошном дворце, без малейших шансов обрести свободу. Она находила много общего в Олвис с собой и со всеми женщинами, с которыми когда-либо была знакома, о которых когда-либо что-либо читала или слышала, переживая даже за тех женщин, о существовании которых ей было абсолютно неизвестно. И сколько ни пыталась Ольга Владимировна отделаться от навязчивых ощущений, ничего у нее не получалось. Она решила, что заболела, причем могла сказать, когда заболела: сегодня утром, едва раскрыв тетрадку в черном кожаном переплете.

Без стука вошел Алеко Никитич и спросил, как дела.

— Успею, — сказала Ольга Владимировна и шмыгнула носом. — К четырем успею.

— Что с вами? — наклонился к ней Алеко Никитич. — У вас что-то случилось?

— Ничего, Алеко Никитич. Так. Нашло.

— Вас обидели?

— Кто меня может обидеть, Алеко Никитич...

— Вас никто не посмеет обидеть, Ольга Владимировна. — Алеко Никитич произнес это с какой-то новой для себя и для Ольги Владимировны интонацией. Ей даже показалось, что она не машинистка, а он не хозяин журнала... А так... Встретились просто два человека, и один интересуется, как живет другой. Ольга Владимировна с некоторым удивлением взглянула на Алеко Никитича.

— Да я и необидчивая, Алеко Никитич...

— Вы все в той же коммуналке в Рыбном переулке?

— А где же?

— С мужем не сошлись?

— Еще чего.

— Завтра я буду по делам в одном месте и поставлю вопрос о предоставлении вам отдельной квартиры.

— Не беспокойтесь, Алеко Никитич. У вас и так столько забот...

Алеко Никитич пометил что-то в своей записной книжечке и сказал:

— Постарайтесь к четырем успеть, Ольга Владимировна... Кстати, вам нравится? .

— Какая разница? — вздохнула Ольга Владимировна. — Вы же все равно не опубликуете...

— Почему вы в этом уверены?

— Мне так кажется.

— А вот и неизвестно, Ольга Владимировна, — загадочно произнес Алеко Никитич и вышел.

И Ольга Владимировна заработала дальше...

«Двадцать девять дней мадрант не выходил из покоев, не принимал Первого ревзода, не интересовался государственными делами, и о его существовании можно было судить лишь по тому, что за это время в водоем со священными куймонами были брошены двенадцать арбаков, так как ночи мадрант проводил беспокойно. Правая рука — если можно было назвать правой рукой то, что осталось, — время от времени давала себя знать. Иногда мадрант просыпался среди ночи оттого, что явственно чувствовал, как горит его правая ладонь. Перед глазами возникало лицо Олвис, ее пылающая щека, ее не столько испуганные, сколько удивленные, наполнившиеся слезами глаза. И однажды мадрант среди ночи даже потребовал, чтобы немедленно доставили к нему дворцового палача Басстио. И когда заспанный Басстио появился в покоях мадранта, то был совершенно обескуражен приказом сей же момент отсечь повелителю правую руку по локоть. Тогда Басстио пролетел, что не может исполнить высочайший приказ по причине того, что уже однажды со свойственной ему, дворцовому палачу и наипреданнейшему слуге, точностью и аккуратностью он аналогичный приказ выполнил. Мадрант пришел в себя, отпустил Басстио, пригрозив выдрать ему язык, если хоть одна душа узнает об этом ночном недоразумении, и долго еще сидел на своем ложе, шепча молитвы и внимательно разглядывая обрубок, как бы убеждаясь в истинном отсутствии своей правой ладони.

Неоднократно вспыхивало в нем желание явиться к Олвис, но гордость и опасение, что она может уступить ему только из покорности и страха, останавливали мадранта, и он лишь глухо рычал, не имея внутренних сил ни проследовать в розовый дворец, ни обуздать желание.

На исходе тридцатого дня, когда последние рыбаки уже возвращались на берег и отзвучали вечерние молитвы, когда город опустел и уснул, оставив бодрствовать только ночную стражу, когда окончательно погрузился он в липкий, не давший облегчения после дневного зноя мрак, мадрант в сопровождении двух телохранителей покинул дворец и отправился на окраину к проклятым зловонным болотам, где стояла старая ободранная лачуга, известная горожанам как «логово Герфринды». Шедший впереди телохранитель резко раздернул бамбуковый занавес у входа и ворвался в лачугу. Убедившись в том, что никакая опасность не угрожает мадранту, он знаком пригласил его войти, а сам вместе с напарником остался у входа.

Сидевшая на полу с поджатými ногами Герфринда даже не шелохнулась. Уставившись своими мертвыми глазницами куда-то вдаль, сквозь стену лачуги, она словно бы вслушивалась во что-то. Ее нисколько не удивил ночной визит мадранта.

«Я знала, мадрант, что ты придешь именно сегодня, я знала это уже тридцать дней назад, когда почувствовала жестокую боль в правой руке, будто палач Басстио отсек мне ее по локоть. Когда шел тебе только второй год, мадрант, и отец твой уходил в Великий Морской Поход, я знала, что вернется он из похода опозоренный, потерявший все свое воинство, спасшийся лишь моими молитвами. Я знала, что ворвется он в мои покои (а ведь я тогда жила во дворце, мой мадрант!) глубокой ночью, такой же душной, как эта ночь, в бессильной ярости выместит на мне всю горечь и весь позор своего поражения и прикажет выжечь мои глаза, в которые накануне Великого Морского Похода взглянула кровавая звезда Арристо и предсказала скорый и неминуемый позор. Твой отец назвал меня виновницей всех бед и несчастий, обрушившихся на него и его страну, и прогнал на эти про-

клятые ядовитые болота, под страхом смерти запретив людям не только общаться со мной и помогать чем-либо, но и велев обходить мою хижину дальней дорогой как страшное место, в котором поселилась смерть. Твой отец не мог умертвить меня, может быть, побоявшись навлечь на себя еще более тяжкие напасти, а может быть, потому что любил меня. Вот почему, когда тридцать дней назад я почувствовала, будто не тебе, а мне палач Басстио отсекает правую руку, я знала, что сегодня ночью ты появишься здесь».

Вот почему, когда мадрант вошел в хижину, сидевшая на полу с поджатыми ногами Герринда даже не шелохнулась. Уставившись своими пустыми глазницами куда-то вдаль, сквозь стену лачуги, она словно бы вслушивалась во что-то.

Мадрант опустил перед Герриндой на колени, и она погладила его волосы своей морщинистой рукой так, как гладит мать сына, который неожиданно вдруг задает ей совсем не детский вопрос.

«Ты стал взрослым, мадрант. Ты долго оставался ребенком, потому что окружавшие тебя ревзоды, горожане и рабы хотели, чтобы ты как можно дальше оставался ребенком, благодаря которому можно удобно устроиться в этой жизни. Рабам – в рабской, горожанам – в городской, ревздам – в ревзодской. Но ты стал взрослым, мадрант, и небо, бывшее над тобой сорок два года безоблачным, затягивается тяжелыми черными тучами. Взгляни на священную гору Карраско. Она сердится. Это дурной знак, мадрант. Я слышу вой чудовищного огня и грохот исполинских волн, которые рождаются из пучины и устремляются навстречу этому огню. И в хаосе, возникшем при их соприкосновении, погибнет все живое. Ты породил силу, мадрант, которая тебя же и погубит. Но еще не поздно, мадрант, умильстивить священную Карраско и вызвать ветер, который разгонит тяжелые тучи и снова сделает небо над тобой безоблачным. Распотчи в себе свободного человека, мадрант! Стань шакалом и утоли голод шакала, используя силу и коварство шакала, наешься досыта, до икоты, а потом выблюй все, что еще недавно было ароматным, заветным и желанным плодом, и усни в этой блевотине. Когда же очнешься, брось пленницу

куймонам, чтобы никогда не напоминала она тебе о том, как ты стал шакалом. И ты снова будешь ребенком, мадрант! Удобным для всех ребенком. И умрешь ребенком в глубокой старости. И будут оплакивать твою смерть и рабы, которых ты же и сделал рабами, и ревзоды, которых ты же и сделал ревзодами. Но потом, являясь каждый раз в новой жизни, в иной плоти, ты будешь или змеей, или шакалом, или рабом, и никогда не дано тебе будет ощутить высшее телесное и духовное наслаждение, и твоя обрубленная рабская рука, или шакалья лапа, или крыло стервятника всегда будут напоминать тебе то далекое время, когда ты мог стать, но не стал свободным. Еще не поздно, мадрант! Еще ты можешь выбрать. Впрочем, будет так, как должно быть, потому что я не знаю, мадрант, кем ты был в прошлой жизни – леопардом или корабельной крысой...»

Мадрант поднялся и молча вышел из хижинны.

Герфинда по-прежнему смотрела своими пустыми глазами куда-то вдаль, сквозь стену, и словно бы вслушивалась во что-то...»

VII

Бестиев появляется всегда тихо и неожиданно. Как правило, без стука. Он — модный автор журнала. Его печатают в Москве. Его переводят за границей. Он туда ездит. Он дарит всем сувениры. Он делится своими впечатлениями. Мозг его отличается от прочих человеческих мозгов. У него развит анализ. Но совершенно отсутствует синтез. Извилины не переплетаются, как у других. Они расположены в виде аккуратных столбиков. Столбиков этих много. Друг с другом они не соприкасаются. Друг от друга не зависят. Друг на друга не влияют. Он задает однозначные вопросы. Он хочет получить однозначные ответы. Каждый столбик — отдельное понятие. Один столбик формулирует вопрос. Другой столбик ищет ответ.

Бестиев возникает в комнатке Ольги Владимировны вдруг. Она даже вздрагивает. Бестиев густо пахнет женскими французскими духами. Других духов в Му-

хославске нет. Он смотрит на Ольгу Владимировну. Неотразимо. Он так считает. Ему так говорили. Он су-ет нос в тетрадку.

— Что печатаешь?

— Срочную работу.

— А меня когда закончишь?

Он ухватывает Ольгу Владимировну за пальчик.

— Когда это сделаю.

Ольга Владимировна высвобождает пальчик.

— Нет, скажи точно.

Он успевает оценить себя в зеркале.

Он себе нравится.

— Не знаю. Может быть, завтра. Или послезавтра.

— Нет, скажи точно — завтра или послезавтра?

Он гладит плечико Ольги Владимировны.

— Видимо, послезавтра.

Она отстраняется.

— Видимо или точно?

— Не знаю.

— А кого печатаешь?

Он опять смотрится в зеркало.

— Не знаю.

— Скрываешь... Чего это у тебя на шее?

Он касается шеи Ольги Владимировны.

— Цепочка. Ты мне мешаешь, Бестиев.

Она отодвигается.

— Ну, чья рукопись-то?

Он закуривает.

— Не знаю.

— Ну скажи, чья? Вовца?

Он шумно затягивается.

— Нет.

— Чего скрываешь-то, а?

Он шумно выпускает дым. Прямо в Ольгу Владимировну.

— Я не знаю чья. Ты дымишь мне в лицо.

— Дай почитать-то.

Он смотрится в зеркало.

— Начальство не велело.
— Кто не велел-то? — он поправляет волосы. — Никитич?

Ей становится скучно.

— Индей? — он шумно затягивается.

Ей начинает надоедать.

— Кто не велел-то?

Он цапает со стола готовую часть.

Он смотрится в зеркало.

Он плюхается в кресло рядом с Ольгой Владимировной.

— Чья рукопись-то?

Ольга Владимировна возобновляет работу.

Бестиев шумно курит.

Бестиев читает:

«Предоставленная самой себе, лишенная каких бы то ни было развлечений, Олевис изнывала от скуки, слоняясь по розовому дворцу, который уже успел надоесть ей своим великолепием. И однажды она высказала это Первому ревзоду во время его очередного утреннего посещения с целью справиться, по велению мадранта, о состоянии ее здоровья и самочувствии.

Ревзод, испытывая отвращение и ненависть к пленнице, вынужден был тем не менее доложить о ее недовольстве мадранту, не забыв добавить и то, что в женатриуме стало известно о пребывании чужеземки в розовом дворце и что супруги по этому поводу царапают себе лица в раздражении и отчаянии, ибо можно понять, высокий мадрант, всю горечь и печаль тоскующих и любящих, но незаслуженно преданных забвению женщин.

Мадрант опустил голову и задумался. Он прекрасно понимал скрытый смысл этого сообщения Первого ревзода. Его наиболее любимые жены имели огромное влияние не только на Первого ревзода, и тот как бы заранее умывал руки в случае, если вдруг Олевис будет найдена в розовом дворце мертвой, в результате, допустим, отравления. Мадрант утаил эти свои мысли от ревзода, но вполне понятно, что молодую женщину не радует одиночество, и пусть ревзод сегодня пе-

редаст Олвис одного из лучших псов мадранта в качестве дара. Мадрант надеется, что этот пес сделает ее существование более приятным, а кроме того, Первый ревзод должен принять к сведению, что с этого момента все кушанья, предназначенные для Олвис, должны в первую очередь скармливаться псу, за жизнь которого ответит не только дворцовый повар. И мадрант, усмехнувшись, приподнял правую бровь, из чего («Твоя воля – закон, мадрант») Первый ревзод понял, и очень отчетливо, что не только дворцовый повар ответит за жизнь пса.

Рредос, так звали пса, был огромен и совершенно невероятной породы. У себя на родине Олвис никогда не встречала таких собак. Даже в королевской коллекции, которая насчитывала около трехсот разновидностей, не было ни одного хоть сколько-нибудь похожего экземпляра. Это был жесткошерстный, ровного свинцового цвета кобель со свирепой мордой, напоминавшей по форме морду скорее моржа, чем собаки. Когда он зевал, его черная пасть становилась похожей на пещеру, вход в которую окаймляли, словно отполированные скалы, беломраморные клыки. Голова его доходила Олвис почти до плеча, хотя никто не считал ее миниатюрной. Олвис даже показалось, что с появлением Рредоса в просторном розовом дворце стало теснее.

Она довольно скоро привыкла к псу и даже начала позволять себе разные забавы, которые доставляли ей массу удовольствий. Плавая в бассейне, например, она незаметно следила за разлегшимся на парапете Рредосом. Тот вроде дремал и не проявлял ровным счетом никакого интереса к купанию хозяйки. Но стоило Олвис сделать вид, что она тонет, Рредос молнией бросался в бассейн и уже через несколько мгновений вытаскивал ее на парапет, не оставив на теле ни малейшей царапины. Игра повторялась неоднократно, но с неизменным результатом. Причем Рредос не обнаруживал ни усталости, ни раздражения. И когда в очередной раз Рредос вывалок Олвис из воды, она увидела стоявшего возле парапета мадранта. На сей раз взгляд его был спокоен и мягок. Лево́й рукой он молча протянул ей желтую легкую ткань, и Олвис завернулась в нее с тем непринужден-

ным изяществом, с каким делают это женщины, знающие цену своему телу. Она благодарна мадранту за заботу и внимание («Пес, конечно, прелестный, но неужели этот странный вождь хочет выдать меня за него замуж?») и считает, что такой пес действительно заслуживает ее любви и привязанности.

Мадрант отрицательно покачал головой. Это просто так принято, что у мадранта должны быть любимые собаки, любимые ревзоды, любимые рабы. На самом же деле Рредос всего лишь ненавистен ему менее других. Мадрант погладил пса и протянул ему свою левую руку. Огромное животное ласково лизнуло ее. Мадрант может приказать – и пес разорвет первого вошедшего сюда человека. Мадрант прикажет – и пес полезет в костер и заживо сгорит, потому что так приказал мадрант. Ради него этот сильный зверь, который в схватке не уступит и леопарду, может стоять в противоестественной позе столько, сколько заблагорассудится мадранту, потому что так хочется мадранту, верно, Рредос?

Пес вывалил из пасти язык, и Олвис показалось, будто виноватая улыбка мелькнула на его беззальной морде.

Ты видишь, Рредос, что прекрасная чужеземка, слабое и беззащитное существо, выше и благороднее тебя? Она лучше примет смерть, нежели сделает что-либо, противоречащее ее собственной натуре, даже если этого потребует сам мадрант!

А в ушах Олвис звучали совсем иные слова из совсем иной жизни.

(«Сколько ты стоишь, красавица?»)

А теперь попрыгай на задних лапках, Рредос!

(«Нет, дружок, это будет стоить дороже».)

Нужа, покажи, Рредос, прекрасной гостье, как палач Басстио лишает головы тех, кто не согласен с мадрантом!

(«Вот это, дружок, другое дело. Поедем ко мне, или у тебя есть крыша над головой?»)

Не надо, мадрант, издеваться над животным. Прошу тебя, мадрант...

Слышишь, Рредос, разве это издевательство?

Мадрант широко расставил ноги и взмахнул толстой кожаной плетью с железным наконечником. Пес только слегка вздрогнул, приняв страшный удар плетью.

Разве больно Рредосу?

Пес лизнул плетть. Еще один взмах, еще один удар. Рредос продолжал стоять на задних лапах, виляя хвостом, и лишь на миг вспыхнул в его глазах недобрый огонек, но тут же погас.

Лицо мадранта приняло презрительное выражение. Раб обожает своего хозяина, правда, Рредос?

Отвечай! Отвечай! Один из ударов пришелся по передним лапам, и тогда Рредос глухо и сдержанно зарычал.

Раб любит своего господина!

Мадрант вытянул руку с плетью, и пес лизнул ее. Глухое рычание перешло в поскуливание, выразившее не то преданность, не то боль. Мадрант отбросил плетть в сторону и схватил пса за ухо. И тут Рредос вырвался и кинулся на мадранта. Олвис вскрикнула, но мадрант выставил вперед ногу, и Рредос лизнул ее.

Вот что такое настоящая любовь, Олвис!

Но не боится ли мадрант, что однажды цепь преданности, на которую посажена ненависть, лопнет?

Мадрант усмехнулся. Скорее небо упадет на землю, чем произойдет то, о чем говорит Олвис. Не хватит на всей земле драгоценного металла, из которого будет отлит памятник тому, кто открыто поднимет руку на мадранта. Вот почему мадрант благодарит судьбу за то, что она послала ему свободное существо в облике Олвис («Не разыгрывай принцессу, красавица! Я заплатил тебе столько, что ты можешь обслужить целую когорту вместе с лошадьми!»), но мадрант убьет ее, если почувствует в ней рабыню. Верно, Рредос? Что будет с божественной чужеземкой, если она обманет мадранта, проявив себя жалкой рабыней?

Пес повалился на паранет всем своим громадным телом и, дернувшись несколько раз, превратился в труп.

Браво, Рредос! Ты заслуживаешь возвышенной оды!

Мадрант прославляет тебя и все твоё собачье отродье!

Ты ненавистна мне, ставшая доброй собакой!
Рабски покорною сделал тебя твой хозяин
И, усмехаясь довольно, зовет своим другом.
Жалко виляя хвостом, ты его ненавидишь,
Мерзко скупа, со стола принимая объедки.
Острые зубы твои и клыки притупились.
Задние лапы во сто крат сильнее передних.
Пусть же палач две передние вовсе отрубит,
Чтобы они не мешали служить господину.
Ты и рычишь-то на тех, кто намного слабее,
Чья незавидная доля похуже собачьей.
Да и раба своего в человеческом обличье,
Как и тебя, господин называет собакой.
Встань ото сна, напруги свои лапы, собака!
Ночью к обрыву Свободы сбеги незаметно,
Там о скалу наточи свои зубы и когти.
И доберись ты до самого края обрыва,
Чтобы оттуда пантерой на грудь господина
Прыгнуть – и вмиг разодрать его горло клыками,
И распороть его сытое, жирное брюхо,
И утолить свою жажду хозяйской кровью,
И отшвырнуть эту падаль поганым шакалам,
И возвернуть себе гордое имя – Собака!

Олвис как замороженная слушала мадранта. Эти слова и ярость, с которой они были произнесены, поразили ее. Ты мог бы стать поэтом, мадрант. («Я не лъщу ему: лесть повышает оплату».) Ты мог бы выступить на городских площадях, и толпа уносила бы тебя на руках, повторяя и скандируя твои слова. Ты мог бы увести эту толпу за собой на край света, и после смерти имя твое было бы высечено на скалах и памятниках. Ты улыбаешься, мадрант («Напрасно он улыбается, я говорю это вполне серьезно»), а я это говорю вполне серьезно...

Мадрант приподнял правую бровь. Эта женщина даже не знает, насколько она права, но мадрант не может быть поэтом, ибо поэт свободен и независим от мадранта, если он настоящий поэт. И тогда он становится врагом мад-

ранта. Слова, рожденные поэтом, подчиняются только ему, а не мадранту. И если бы мадрант возлюбил поэта как друга своего, то он не был бы мадрантом. И если бы поэт возлюбил мадранта как друга своего, то он не был бы поэтом. И разве не понимает женщина, в чьих жилах течет нерабская кровь, что это истина?

Лицо Олвис вытянулось в недоумении, а потом она начала хохотать («Слышал бы это мой покойный папаша!»).

Что смешного в словах мадранта? Разве она не дочь великого вождя?

И Олвис стала хохотать еще больше, и по щекам ее показались слезы, при виде которых вновь ощутил мадрант болезненный жар отрубленной руки. И мадрант помрачнел. И тогда Олвис перестала смеяться.

Она вдруг приблизилась к мадранту и на какое-то мгновение приклонила голову к его плечу. Это неожиданное прикосновение обожгло мадранта, вызвав внезапную дрожь во всем теле.

Что-то жадно-шакалье почувствовал он в этой дрожи, и что-то ненастоящее в ее потупленном взгляде, и какую-то зависимость от него самого и отсутствие той самой последней необходимости, когда уже нет другого выхода, когда может быть только так и никак иначе.

И увидел мадрант в проеме дворцового окна похожую на шутовской колпак вершину священной Карфаско и отметил, что струйка зловещего серого дыма не растворяется уже в безоблачном небе, а сворачивается в густое и неподвижное темное облако. И, поклонившись Олвис, мадрант вышел, а она сбросила с себя легкую желтую ткань и нырнула в бассейн («Он действительно начинает мне нравиться, черт возьми!»), а когда выбралась на парапет, почувствовала, что проголодалась...»

Бестиев вникает.

Вернее, пытается вникнуть. Изо всех сил. Он снова закуривает. Он покрывается потом. Он перечитывает несколько раз. Одно и то же место. Он ерзает.

— Чего-то я не пойму. — Это он Ольге Владимировне. — Действие когда происходит-то?

Он нервничает. Он выходит из комнаты.

— Пять тысяч лет назад? — Это уже Зверцеву. — Десять тысяч лет? — Это Свищу. — В какой стране? — Это Сверхщенскому. — В какой стране-то? Я читал Плутарха. Я читал Костомарова. — Это Индею Гордеевичу. — Не было такой страны. В Атлантиде, что ли? — Это Алеко Никитичу. — Так не было никакой Атлантиды-то! — Опять Ольге Владимировне: — Мадрант — кто? Диктатор? Консул? Вождь? — Снова Зверцеву: — А ревзод кто? Не было таких званий! — Теперь Свищу: — Я за то, чтоб ясно было. — Шумно выпускает дым в лицо Сверхщенскому: — У Достоевского все понятно. — Откручивает пуговицу на пиджаке Индея Гордеевича: — Руку-то зачем рубить? — Останавливает Алеко Никитича: — Это его мать? Как ее там? Гурринда? — Бедной Ольге Владимировне: — Нет, ты скажи: он ее домогается? — Пристает к идущему с девочкой Гайскому: — Тогда почему он с ней не спит? — Колбаско, который принес новые стихи: — Куймоны — это кайманы? Крокодилы, что ли? — Звонит жене Алеко Никитича: — А зачем в каждом имени сдвоенные согласные? — Ставит Вовцу сто граммов: — Она кто? Проститутка? Тогда почему она с ним не спит? — Таксисту, который везет его домой: — Вот ты скажи — ты бы стал руку рубить?..

Бестиев шумно затягивается.

Бестиев шумно выпускает дым в потолок.

Ему непонятно.

Он раздражен.

Он злится.

И он ничего не может с этим поделать.

Он начал злиться с первой страницы.

Бестиев словно бы заболевает...

VIII

Вовец — публицист. Колбаско — поэт. Вовец и Колбаско — друзья, поэтому до драки у них дело почти никогда не доходит. Биография Колбаско типична для мно-

гих поэтов нашего времени. Детский сад, школа, техникум, работа, поэзия. И, как часто бывает, счастливая искорка случайности, попав в глубоко скрытые резервуары поэтического горючего, вызвала чудовищный взрыв таланта. Колбаско тихо жил в анабиотическом состоянии младшего бухгалтера одного из филиалов мухославского химзавода. Кстати, способность и любовь считать свои и чужие деньги сохранилась в нем до конца жизни и оказала колоссальное, можно сказать – животворное, влияние на его последующее творчество. Отвечая как-то на вопросы читателей во время своего творческого вечера, Колбаско сказал, что днем своего поэтического рождения он считает день рождения старшего бухгалтера Петрова М.С. – 13 сентября 1960 года. Именно в тот день он почувствовал, что не может не писать. В то знаменательное утро на стол старшего бухгалтера Петрова М.С. рядом с тортом «Лесная сказка» и бутылкой шампанского легла и красочная открытка с поздравительными стихами, сочиненными младшим бухгалтером Колбаско. «Сонетом» открывается сборник избранных стихов ныне маститого мухославского поэта. Вот эти строки.

СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
МОЕГО НАЧАЛЬНИКА И НАСТАВНИКА
ТОВ. ПЕТРОВА М.С. 13.09.60 г.

Фамилий много есть на свете:
Семенов, Сидоров, Фролов...
Но мне милее всех на свете
Одна фамилия – Петров.
 За то, что любит человека,
 Всегда работает с душой,
 За то, что он большой товарищ,
 Гордится всей нашей страной!

В то утро товарищ Петров М.С. горячо пожал руку младшего бухгалтера и сказал: «Да вы, оказывается, поэт!»

«А чего, действительно», — подумал Колбаско. Это и решило его дальнейшую судьбу. Допингом послужили, несомненно, женитьба и разразившийся вскорости знаменитый Карибский кризис. Именно тогда в газете «Вечерний Мухославск» появился гневный памфлет Колбаско, обошедший потом всю мировую прессу и сыгравший определенную, если не решающую, роль в деле наступившей далее разрядки.

СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ ПО ПОВОДУ
ОЧЕРЕДНОГО ОЖИВЛЕНИЯ
ПРОИСКОВ ИМПЕРИАЛИЗМА
В РАЙОНЕ КАРИБСКОГО МОРЯ

Кой-кто на Западе стремится
Нам жить, как следует, мешать,
Но мы простые люди — птицы,
И мы всегда хотим летать.

Хотим дышать с любимой рядом,
Хотим трудиться и гулять!
Газон цветов и клумбы сада
Родного не дадим помять!

Пусть все живут счастливей, дольше!
Пусть свет сияет в сотни свеч!
Чтобы сбылось как можно больше
Надежд, и чаяний, и мечт!

Прогрессивный критик Сверхшенский, делая впоследствии ретроспективный разбор поэтического творчества Колбаско, отмечал, что никому еще в российской поэзии не удавалось так удачно использовать три инфинитивные формы подряд в одной строфе.

Вместе с моральной славой, естественно, пришла слава и материальная, и можно было начать потихоньку отдавать деньги, занятые под проценты у подпольных букмекеров мухославского ипподрома. Игровой азарт не чужд был Колбаско с детства. Тайный его недоброжелатель Аркан Гайский утверждал, правда, что на деньги, проигранные Колбаско, администрация мухославского ипподрома смогла выстроить знаменитую южную трибуну с пивным баром. Аркан Гайский клянется, что это именно так и есть, но что возьмешь с человека, который считает, что ему все завидуют. Факты, однако, говорят за себя, и то, что Колбаско до сих пор не убили мухославские букмекеры (а у них нравы жесткие), свидетельствует, что Колбаско, видимо, нашел приемлемые формы взаиморасчетов.

С Вовцом судьба обошлась более сурово. Он был счастливым приемщиком стеклотары в захудалом ларьке на окраине Мухославска, но, будучи глубоко интеллигентным человеком, томился этим обстоятельством. Особенно по утрам. И как-то утوراзило его в одно из таких томительных утр сочинить, а затем и отнести в тот же «Вечерний Мухославск» афоризм для раздела «Лучше не скажешь». Фраза родилась спонтанно, что говорило об определенном даровании Вовца и широте его мировосприятия. Вот эта фраза:

«Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера».

Но тупица редактор не понял, что «150» — это доза спиртного, а «220 на 180» — кровяное давление. Пришлось почти год переделывать, и наконец афоризм был принят, но в несколько искаженном виде:

«С утра пить — гипертонию к вечеру получить».

И опять свою роковую роль сыграл все тот же Аркан Гайский, который явно не без подянки стал убеждать Вовца бросить приемный пункт по сдаче стеклотары и заняться профессиональной литературой. Вовец, будучи не только глубоко интеллигентным,

но и скромным человеком, поначалу сопротивлялся, а после ста граммов согласился. Но тут суровая действительность стала вносить свои коррективы. Афоризмы упорно отказывались возникать в голове Вовца. И тогда он сочинил рассказ про то, как некие строители не выполнили план по строительству. А в конце рассказа разъяснялось, что строители строили не что иное, как баррикады. Пятнадцать лет он пытался куда-нибудь приткнуть этот рассказ, и наконец его напечатали, даже не напечатали, а написали от руки — в стенной газете «Колочка» 9 «Б» класса 380-й школы Мухомовска, где учился сын Вовца, после чего директор школы был переведен в рядовые преподаватели черчения. Неудачи ожесточили Вовца, но не сломили. И здесь надо отдать должное Аркану Гайскому, который в трудные минуты всегда оказывался рядом и, поставив сто граммов, убеждал Вовца в уникальности его таланта, а после вторых ста граммов Вовец и сам приходил к выводу, что он слишком ершист для современной, сглаживающей углы литературы. «Позовут еще! — распаялся он в такие мгновения. — Приползут! Белого коня пришлют!» Так он и стал публицистом-надомником, тем более что назад, в ларек по приему посуды, его наотрез отказались брать, заявив: «У нас тут своих Белинских навалом!»

Позднее Вовец изобрел принцип: «Не можешь не писать — не пиши». За это его неоднократно критиковал Колбаско. Но Вовец противопоставлял Колбаско жизненную логику: «Чем писать муру на потребу, лучше не писать вовсе!» На что Колбаско обижался, потому что не считал, что пишет муру на потребу. И тогда Вовец говорил, что он Колбаско не имеет в виду, после чего Колбаско успокаивался и ставил Вовцу сто граммов. А после вторых ста граммов Вовец, озираясь, чтобы не услышала теща, сообщал Колбаско, что уже давно страдает аллергией на чистый лист бумаги. Вообще надо сказать, для хорошего аллерголога Вовец был бы ценным пациентом и основой если не для

докторской, то хотя бы для кандидатской диссертации. Он запустил бороду, так как имел аллергию на бритву. У него была аллергия на баню, на свежий воздух, который вызывал приступ удушья, на море... Чудовищная аллергия была на лыжные прогулки. А попытка заставить его однажды надеть новые ботинки кончилась реанимацией. Хорошо, что все обошлось. Поэтому Вовец всегда ходил в валенках. Не вызывали у него аллергию только жареное коровье вымя, преферанс, вокально-инструментальный ансамбль «Апельсин» и стограммешник для аппетита.

Досуг друзья часто делили на двоих. Причем любимым занятием у них было держать пари, или, как выражался Колбаско, «мазать». Колбаско вообще обожал самые уголовные выражения, создавая у окружающих иллюзию своего грубого земного происхождения. Если верить Колбаско, а не верить ему нельзя, то его отец — старый потомственный шахтер, вор в законе и излечившийся наркоман. Поэтому речь Колбаско всегда украшали такие слова, как «на-гора», «маза», «абстиненция». Хитроумный Вовец часто ловил простодушного Колбаско, используя его природную склонность к азартным играм и спорам. «А мажем, — ни с того ни с сего вдруг говорил Вовец, — что ты мне сейчас не поставишь двести грамм!» — «Мажем, что поставлю!» — оживлялся Колбаско, покрываясь красными пятнами. Шанс выиграть дармовую мазу настолько его захватывал, что он даже забывал выяснить, а что же он будет иметь в случае выигрыша. Но, уже подходя к буфетной стойке, он спохватывался и возвращался, задавая законный вопрос: «На что мажем?» — «На сто грамм!» — невозмутимо отвечал Вовец, поглаживая живот. И когда простодушный Колбаско приносил двести граммов, Вовец, разводя руками и призывая бога в свидетели, говорил: «Ты выиграл. Из этих двухсот сто бери себе, потому что я их тебе проиграл». Они выпивали, и тут до Колбаско доходило, что в результате выигранной им мазы он просто

ни за что ни про что поставил Вовцу сто граммов... Но они были друзьями, и до драки дело почти никогда не доходило.

IX

Часов около одиннадцати вечера домой к Алеко Никитичу звонит Индей Гордеевич. Он взволнован. Он даже не извиняется за столь поздний звонок и не интересуется самочувствием Глории...

— Слушайте, Никитич! Я прочитал два часа назад эту странную рукопись!.. Я материалист, Никитич! Вы меня знаете... Но тут, понимаете ли, что-то невероятное... Вы же знаете, что я человек уравновешенный, что мне не двадцать лет, что мой паровоз давно ржавеет в депо... Но у меня уже после первых страниц спонтанно возникло ощущение, что топку залили жутким тоизирующим настоем... Как там в этой проклятой рукописи?.. Миндаго!.. — Индей Гордеевич сбивается на шепот: — Ригонда вошла в комнату... Я не хочу, чтобы она слышала... Сначала это меня развеселило, не скрою, обрадовало, но потом стало страшно...

— Ригонда читала? — спрашивает Алеко Никитич, нервно барабанив пальцами по столу.

— Вы будете смеяться, — Индей Гордеевич нервно хихикает, — но я просто не даю ей такой возможности... Вы понимаете, о чем я говорю?

И тут Алеко Никитич слышит на другом конце провода какую-то возню, и трубку не берет, а просто, кажется Алеко Никитичу, вырывает Ригонда и кричит:

— Алеко! Я не знаю, что будет дальше, но начало изумительное! Это необходимо печатать!.. Я без ума!.. Прости, мы позвоним позже!..

Алеко Никитич медленно кладет трубку на рычаг.

С-с-с. Он почесывает свою лысую голову, собирая воедино разрозненные соображения. Его не удивляет любовно-паровозный экстаз такого выдержанного пуританина, как Индей Гордеевич. Его настораживает другое. Он не хотел себе в этом признаваться, но зво-

нок Индея Гордеевича подтверждает еще утром возникшие опасения. Ничего схожего с тем, что произошло в Индее Гордеевиче, Алеко Никитич в себе не от мечает. Как было, так и есть. Скорее наоборот... Но у него еще прошлой ночью стало развиваться чувство растущей неудовлетворенности и тоски. Он почему-то вспомнил Симинову мать, уже, наверное, старую совсем женщину, если, конечно, она вообще жива... Очень она любила Алеко Никитича... Очень... Но после развода с Симой Алеко Никитич перестал ей звонить. Совсем. Как отрезал. Да и зачем? Что, собственно, говорить-то? Случилось и случилось... И забыл вскоре. И не вспоминал... И вот надо же, опять вспомнил... И почему-то сразу после визита неизвестного автора и прочтения тетрадки в черном кожаном переплете. Совпадение? Алеко Никитич стоит на земле и во всю эту телепатическую чепуху, во всех этих экстрасенсов, гуманоидов, снежных человек не верит... Но, с другой-то стороны, то, что происходит с Индеем Гордеевичем, — тоже совпадение?.. Ведь если бы Алеко Никитич, как Индей Гордеевич, вдруг начал бы петухом наскакивать на Глорию, или, наоборот, Индей Гордеевич, как и Алеко Никитич, вдруг бы поскучил, помрачнел и стал терзаться всякими нехорошими сомнениями, то можно было бы предположить, что в Мухославске началась эпидемия какого-нибудь нового гриппа с воздействием на сексуальные или настроенческие нервы... Так нет же!.. С-с-с... Спросить бы у Глории. Она тоже читала... Решит, что я просто тронулся...

Мысли его прерываются звонком Индея Гордеевича:

— Старик! Колеса стучат на стыках! Рельсы дрожат! Шпалы не выдерживают!

— Индей Гордеевич! — строго говорит Алеко Никитич, вспоминая, что он старший по должности. — Возьмите себя в руки. И не забудьте, что завтра в десять пятнадцать нас ждет Н.Р.

Алеко Никитич кладет трубку, идет в ванную, принимает таблетку снотворного и направляется в спальню. Он застаёт Глорию сидящей на постели. Она что-то лихорадочно пишет в свою рабочую тетрадь.

— Почему ты не спишь? — спрашивает Алеко Никитич, раздеваясь.

— Ты ложись, — отвечает Глория, — а я еще поработаю. Мне надо подготовиться к завтрашнему заседанию клуба.

Алеко Никитич ложится ближе к стене, вытягивает руки вдоль туловища и закрывает глаза, но, несмотря на принятое снотворное, забыться не может.

— Ты слышишь, Алик? — спрашивает Глория, оторвавшись от своей рабочей тетради и мечтательно глядя куда-то в пространство сквозь стену.

— Нет, милая, — отвечает Алеко Никитич с закрытыми глазами.

— Знаешь, на меня поразительное действие оказала эта рукопись...

«Начинается», — думает Алеко Никитич и весь внутренне напрягается, но глаз не открывает. А Глория продолжает:

— Я думаю только об одном. — Глаза ее загораются, а голос звучит уверенно: — Я вдруг поняла, что мы чудовищно несправедливы к животным... В частности, к собакам...

Алеко Никитич приоткрывает веки и с опаской смотрит на Глорию, но с ней все нормально. Она встает и начинает возбужденно ходить по спальне.

— Собаки! Четвероногие друзья! Изначально свободные существа, добровольно любящие человека! Волка как ни корми, он все в лес смотрит! Эта народная мудрость подчеркивает исключительность и добродетельность собак всех мастей и пород! Цивилизация — это пропасть, отделяющая человека от природы! Собака — единственный мосток, повисший над гигантской пропастью цивилизации, соединяющий человека и природу! Каштанка, Муму, Джульбарс,

Мухтар! Их имена стали нарицательными! В наше время, когда собака подвергается гонениям и уничтожению, когда новые города и поселки городского типа планируются с исключительной целью — не дать простора собаке, когда владельца собаки называют мещанином, неизвестный автор совершил подвиг, написав повесть о собаке, воспев ее дивный образ!..

Алеко Никитич продолжает следить за Глорией. С-с-с...

— Теперь я понимаю, почему меня сразу поразила удивительная аллитерация автора! Обилие звука «р»! Автор вынужден обратиться к эзоповскому языку! «Р»! Ты вдумайся, Алик! «Р»! Р-р-р! Это рычание! Это глухой ропот животного, доведенного до отчаяния! Ты обязан, обязан напечатать повесть! Природа и люди оценят эту великую акцию! Обязан, как бы ни восставали заплывшие жиром чиновники, держащиеся за свои кресла, забывшие, что сами они тоже происходят от животных! Великий Чехов в своих письмах к Ольге Леонардовне Книппер называл ее «моя собака»! Вот о чем я завтра буду говорить!..

Алеко Никитичу становится несколько не по себе.

— Успокойся, — произносит он. — Прими снотворное и ложись.

Но Глория еще долго мечется по комнате, подходит к окну, смотрит на луну, что-то лихорадочно заносит в свою рабочую тетрадь.

Потом вдруг бросается к телефону и говорит кому-то нечто, совсем противоречащее ее недавней возвышенной филиппике:

— Эльдар Афанасьевич? Простите за поздний звонок... Вам известно, что Алферова взяла отбракованного добермана?.. Да! Я ей сказала, что это вызов всем членам клуба!.. А вам известно, что она собирается вязать его с Джульеттой?.. Так вот. Скажите ей как президент клуба, что мы ни перед чем не остановимся! Мы портить породу никому не позволим! И если это произойдет, мы уничтожим помет во чреве! Так и пе-

редайте: уничтожим помет во чреве!.. Спокойной ночи, Эльдар Афанасьевич!..

Глория кладет трубку, а палевый коккер-спаниель, уже мирно спавший в ногах Алеко Никитича, вдруг спрыгивает с тахты и, скуля, выбегает из спальни...

Алеко Никитич ворочается в постели. Тревожные соображения будоражат его... Сверхщенский, Свищ. Что они скажут, когда прочтут?.. «Щенок всюду гадит», — вспоминает он Дамменлибена... Еще одно совпадение?.. А самое главное состоит в том, что завтра произведение прочтет Н.Р., и черт его знает, какова будет его реакция... Алеко Никитичу удастся забыться только под утро, и во сне ему представляется, что он в трюме плывущего куда-то корабля. Тело его покрыто короткой серой, лоснящейся шерсткой. В обе стороны от носа топорщатся острые усики. Сзади тянется что-то длинное, и Алеко Никитич догадывается, что это хвост, но его это не удивляет. «Надо проверить длину, — думает Алеко Никитич, — не то легко угодить в белогвардейскую газетенку...» Глазки привыкают к темноте, и он видит в трюме еще многих таких же, как он... «Кто они? — думает Алеко Никитич. — Ну, смелее! Назови их своими именами!»... Крысы! Конечно, крысы! Как ему сразу не могло прийти в голову? И нечего стесняться! И вдруг он замечает в углу, где неистовый Индей Гордеевич лапками обнимает Ригонду, тоненькую струйку воды... «Течь! — мелькает у него в мозгу. — Течь! Надо бежать! Но куда? До Фанберры еще так далеко!.. Все равно куда... Только бы бежать... Не делая шума... Не то начнется паника и давка...» И Алеко Никитич начинает медленно отползать вдоль стены... Внезапно он натывается на Ольгу Владимировну... Ее бы следовало предупредить... Он толкает ее лапкой!.. Течь! Ольга Владимировна, течь! Но Ольга Владимировна не слышит... Алеко Никитич царапает ее лапками... Но Ольга Владимировна не реагирует. Тогда Алеко Никитич кусает ее левую переднюю

лапку своими острыми зубками и просыпается от крика Глории.

— Кошмар! — говорит она, садясь на постели и потирая укушенную левую руку. — Мне снилось, что я собака и меня укусила крыса!

В спальне уже совсем светло. Будильник показывает двадцать минут седьмого. Скоро встать и идти к Н.Р.

Х

Перед самым концом рабочего дня в комнатке Ольги Владимировны оказался Аркан Гайский и принес удивительную новость: позавчера на рассвете над Мухославском в течение сорока минут висела летающая тарелка. Она представляла собой веретенообразное тело, от которого исходило холодное газовое сияние. Потом из этого тела на Мухославск пролился сверкающий дождь, напоминающий «серебряные нити», какими украшают новогодние елки. Но следов этого дождя никто из очевидцев не обнаружил, из чего остается думать, что дождь имел нематериальное происхождение. Через сорок минут веретенообразное тело, слегка покачавшись, словно растворилось в северо-западной части неба.

— Пить надо меньше, — сказала Ольга Владимировна.

— Я, Ольга Владимировна, не пью. Вы это знаете, — ответил Аркан Гайский. — Но обстановка в мире сложная. Враги обнаглели. Мало ли что им придет в голову... Я написал на эту тему рассказ. Пойдемте ко мне... Я его вамчитаю...

— Гайский, — устало проговорила Ольга Владимировна, — я весь день печатала срочную работу, мне не до рассказов и не до врагов.

— А хотите — пойдем к вам, — настаивал Гайский, — просто посидим... Обстановка напряженная... Удовольствие и счастье, которое мы отвергаем сегодня, завтра уже может быть недостижимо...

Но Ольга Владимировна отказала Аркану Гайскому и в этом прошении. Она закрыла машинку и поднялась из-за стола, давая понять, что уходит.

И ввиду того, что сногшибательное известие о неопознанном летающем объекте не произвело на Ольгу Владимировну должного впечатления и не заставило ее, бросив все, приступить к получению, может быть, последнего в жизни счастья и удовольствия, Аркан Гайский стал просто канючить:

— Ну почему? Разве вам вчера было плохо?.. Ну скажите... Если было плохо, я отстану...

— Гайский! Я устала! Ясно? Пропустите меня! А если вам нечего делать, оставайтесь здесь... Кстати, прочтите эту тетрадочку. Вам полезно...

— Тот самый неизвестный автор? Я помню... Но я прочту, Ольга Владимировна!.. Только я могу после этого вам позвонить?

— Пока, Гайский, — сказала Ольга Владимировна.

Гайский побежал за ней в коридор:

— А завтра?

— Посмотрим! — крикнула Ольга Владимировна уже с улицы. — Если не будет конца света!..

Гайский уселся за стол Ольги Владимировны и, раскрыв тетрадь в черном кожаном переплете, пробурчал:

— Все пишут! Все завидуют!..

Гайский нехотя начал читать, больше думая о своем. И вспомнил тот день, когда он был в Москве. Утром к нему явился молодой человек и предложил выступить за наличные и за хороший ужин, поскольку Гайского в Москве знают, и пленки с его рассказами ходят по рукам подобно пленкам Высоцкого...

— А девочки будут? — спросил Гайский.

— Пальчики оближете! — таинственно сказал молодой человек.

— Дворец культуры? — спросил Гайский.

— Нет. Частный дом, — ответил молодой человек. — Так интимнее... Причем дом очень солидный...

Когда вечером импресарио и Гайский вошли в подъезд, он сразу увидел, что дом действительно солидный. Консьержка ни в какую не хотела пропустить Гайского, исподлобья глядя на его сутулую фигуру, нелепый красный берет и подозрительно маленький нос.

— Это артист, — объяснил импресарио...

— Писатель, — поправил Гайский.

— Артист, — повторил импресарио... — Мы в сто двадцатую.

— Вас я знаю, — сказала консьержка. — А про этого мне ничего не говорили... Пусть мне из сто двадцатой позвонят, тогда пожалуйста!

Молодой импресарио позвонил и передал трубку консьержке. Та внимательно что-то выслушала, положила трубку и сказала строго и недовольно:

— Идите!

— Они здесь деньги получают не за то, чтобы пропускать, а за то, чтобы не пропускать, — пояснил импресарио Гайскому, когда они вошли в лифт.

— А чья это квартира? — осторожно спросил Гайский.

— Для вас это не имеет значения, — сухо отрезал импресарио.

— И девочки будут? — недоверчиво спросил беспощадный сатирик.

— Я же сказал — пальчики оближете!

В квартире, куда ввели Гайского, были двое парней и три шикарные девочки, из которых писателю понравились сразу все.

«Пока все точно, — подумал Аркан Гайский, — парней двое, девочек трое. Одна, значит, для меня...»

— А ничего, если я не буду снимать берет? — обратился Гайский к импресарио, полагая, что лысина лишает его по крайней мере четверти мужского обаяния.

Импресарио представил Гайского присутствующим, но это почему-то не произвело на них должного

впечатления. Затем сатирика провели по громадной квартире и посадили в небольшую комнату, где кроме широченной тахты стояла еще и неведомая Гайскому радиоаппаратура. Минут через пять в комнату вошли три девочки и забрались на тахту. К ним присоединились двое парней.

«Какая же из них для меня?» — думал Гайский с замиранием сердца.

Но тут появился импресарио и, к удивлению писателя, тоже плюхнулся на диван. Он обнял одну из девочек за плечи и подмигнул Гайскому.

— Давай!

Одна из девочек включила музыку. Гайский вопросительно взглянул на импресарио.

— Нормально! — сказал он. — Так душевнее!..

Аркан Гайский пошелестел несвежими рукописями и с упоением начал читать...

Читая, он косил глазом на тахту. Все шестеро из всех сил делали вид, что слушают Гайского, одновременно целуясь и пощипывая друг друга.

«Но ведь одна из них для меня», — досадливо думал он в процессе чтения, уже испытывая чувство ревности. Но поскольку он не знал, кто для кого и кто именно для него, то ревновал всех троих ко всем троицам.

Когда он прочитал фельетон, в котором был недвусмысленный намек на нехватку колбасы в городе Мухославске, один из парней, которого Гайскому представили как хозяина квартиры, наклонился к импресарио, и до Гайского донеслось: «Он что, жрать хочет?»

Импресарио вышел и скоро вернулся, поставив перед Гайским поднос с рюмкой и тремя бутербродами с колбасой, какой сатирик не видывал отродясь.

— Пожри, — сказал импресарио. — Потом посмотрим... А пока будешь жрать, ознакомься... Друг хозяина дома балуется... Пописывает...

И он положил перед Гайским тетрадь в черном кожаном переплете, кивнул в сторону блондина с голу-

быми глазами, на коленях которого уже сидела одна из девочек.

— А кто он? — шепнул Гайский.

— Это тебе знать необязательно, — сказал импресарио. — Ясно?..

Пока писатель жевал бутерброды и листал тетрадку, все танцевали, предоставив Гайского самому себе. А он, наскоро перелистывая тетрадь, ничего не улавливая, выхватывая отдельные бессмысленные слова, прикидывал: «Не хочет называть фамилию автора. Значит, автор — сын кого-то крупного... Как пить дать. Меня на мякине не проведешь... Надо хвалить...» И Гайский сказал:

— Талантливо!

Девочка, танцевавшая с блондином, щелкнула его по носу, а импресарио улыбнулся:

— А как же!

— Кофе будете? — спросил хозяин дома.

— Потом, — вежливо ответил Гайский. — Я еще кое-что прочту.

Девочка хозяйина дома поморщилась, а импресарио стал делать Аркану Гайскому отчаянные знаки, указывая в сторону двери. Когда Гайский вышел, импресарио довел его до прихожей и протянул конверт.

— Вот здесь тридцатка, — быстро произнес он, — а в конце квартала стоянка...

— А девочки? — с отчаянием в голосе спросил Гайский.

— Пальчики оближешь! — отрезал импресарио и открыл дверь в подъезд.

— Передай мой телефон, — сказал Гайский, напяливая красный берет. — Если кто захочет, я почитаю. — И он подмигнул импресарио.

— Не захотят, — бросил импресарио и захлопнул дверь.

Аркан Гайский сорок минут шел пешком до метро, потому что такси в конце квартала не оказалось.

«Дети таких высоких людей, — думал он, — а все равно завидуют!..» Конверт с тридцаткой несколько скрашивал не совсем удачно сложившийся творческий вечер...

Сейчас, сидя в комнатке Ольги Владимировны, Аркан Гайский узнал ту самую тетрадь в черном кожаном переплете, и его охватила злость... Все шушукаются, носятся с этой рукописью... Оля весь день печатала, устала да еще сказала, что ему, Аркану Гайскому, это будет полезно почитать... Ух, графоманы высокопоставленные, завистники чертовы! Что вы можете написать? Что вы понимаете в настоящей литературе?.. И он с ненавистью углубился в чтение...

«Единственный, а потому и знаменитый «Альманах» Чикиннита Каело занимал каменную постройку с верхней и нижней частью. В верхней части, скрытой от города густой вьющейся зеленью, находился обычно Чикиннит Каело, принимавший здесь посетителей и вершивший отсюда судьбы «Альманаха». В нижней, наполовину расположенной под землей, за ровными, отшлифованными столами из черного камня сидели переписчики.

«Альманах» появлялся на следующее утро после каждой Новой луны. В нем помещались указы мадранта и совета ревзодов, итоги сухопутных и морских баталий, данные об улове рыбы и сборе ценнейших плодов миндаго, описание казней и экзекуций, сведения о состоянии здоровья мадранта, а также стихотворные оды, философские сочинения и предсказания судьбы и погоды.

Появлялся он с каждой Новой луной в трех вариантах. Один — написанный черной гуалью — вывешивался на городской площади и предназначался горожанам (рабы не имели права читать «Альманах»), второй — в зеленой гуали — доставлялся Первому ревзоду, который и зачитывал его на совете. Третий создавался специально для мадранта на дорогой бумаге и выполнялся красной гуалью с позолотой.

Читая на городской площади свой «Альманах», горожане узнавали, что они живут хорошо.

Ревзоды, читая свой, убеждались в очередной раз в том, что горожане живут превосходно.

В красном же «Альманахе» горожане обращались к мадранту с предложениями быть с ними построже, ибо живут они замечательно, но чересчур.

Когда состоялась в городе казнь ста пойманных горных разбойников, горожане из своего «Альманаха» узнали, что казнили не сто, а всего девять, и не разбойников, а воров, похитивших у бедного торговца лепешку.

Первый ревзод на Совете зачитал, что казнен был один человек, пытавшийся украсть сеть у рыбака.

В «Альманахе» мадранта писалось, что казненный неоднократно обращался к мадранту с просьбой казнить его, так как чувствовал, что может произвести кражу, и вот теперь его просьба удовлетворена, за что и благодарит мадранта со слезами преданности и умиления семья казненного.

И за всем этим должен был следить и никак не перепутать (даже и подумать-то страшно!) бедный, бедный Чикиннит Каело, поставленный на важное государственное дело Советом ревзодов с согласия самого мадранта. Бедный, старый, больной, несчастный Чикиннит Каело! Зачем ему все это? Зачем ему полагающиеся по разрешению мадранта пять жен, когда и с одной он уже давно не имеет сил сделать нового подданного? К чему ему ежедневная чашечка миндаго, от которого только сердце начинает выпрыгивать из груди? Почему он должен читать эти горы бумаг, испещренных буквами, цифрами и рисунками? Для чего? Чтобы дрожать после каждой Новой луны: а вдруг что-либо вызовет неудовольствие у ревзодов или у самого (и подумать-то страшно!) мадранта? И полетит тогда с дряхлых плеч его лысая, покрытая жилами, как червями, голова. Па-па-па... Пе-пе-пе...»

Гайский почувствовал в животе, где-то внизу, острый спазм, подобно тому, который возникает, когда после стакана, например, кислого крыжовника выпиваешь парного молока. Схватив тетрадку, он бросился в туалет. «Что-то я, наверное, съел», — подумал сати-

рик, едва успев добежать до цели. Здесь он и продолжал внезапно прерванное чтение.

«...Па-па-па... Пе-пе-пе... Бедный Чикиннит Каело. Оттавался бы он лучше до сих пор учетчиком урожая миндаго, имел бы не пять, а всего две жены, сохранил бы молодость и здоровье, до сих пор делал бы для мадранта новых подданных... Так нет же! Па-па-па... Пе-пе-пе... Зачем надо было попадаться на глаза мадранту, когда тот посетил поля с драгоценным миндаго? Зачем было бросаться в ноги мадранту, и восхвалять его, и говорить, что это он, Чикиннит Каело, не жалеет себя и жизни своей, чтобы мадрант мог каждое утро принимать тонизирующий миндаго, который придает мадранту силу, мудрость и красоту? Перестарался Чикиннит Каело... Да и что проку в этом чертовом миндаго? Ничего же и не изменилось в организме с тех пор, как по велению мадранта стали доставлять ему из дворца чашечку этой оранжевой жидкости. Ни сил, чтобы делать подданных, не прибавилось, ни волос, ни красоты... Па-па-па... Пе-пе-пе... Скорее наоборот, жены жалуются, особенно Жегларда. И понятно. Ей всего тридцать лет. А ведь Чикиннит Каело взял ее еще девочкой... О, какая это была умелица! Па-па-па... Что за гибкость! Что за кожа! Бывало, стоило только произнести вслух имя Жегларды, и никакого миндаго не надо! Куда там!.. Пе-пе-пе... Цепями сдерживать, за уши оттаскивать надо было Чикиннита Каело от Жегларды... Правда, если по справедливости, то, не возьми он за этот «Альманах», не стал бы он знатен и богат, не получил бы он к своим двум еще трех, в том числе и Жегларду... О небо! Что это с Чикиннитом Каело?! Неужели?! Нет, показалось... Спали огнем этот «Альманах», священная Карраско! Бедный, несчастный, старый, больной Чикиннит Каело!..

Чикиннит Каело вздрогнул. Что за крамольные мысли посетили его лысую голову! Горе и позор Чикинниту Каело! Какое кощунство позволил он себе по отношению к делу, которое дал ему в управление совет ревзодов с согласия самого мадранта! Прости и помилуй, высокий мадрант! Прочь, грязные мысли! Прочь! Чикиннит Каело на посту. Он рабо-

тает, он читает, он сочиняет, он исправляет, и слова сами по себе ложатся на бумагу... Нет сильнее и могущественнее страны мадранта! Нет умнее и здоровее нашего мадранта!.. Вяло! Слабо!.. Усилим, мой мадрант! Нет наисильнее и наимогущественнее страны мадранта! Нет наумнее и наиздоровее нашего мадранта!.. Пе-пе-пе... Но подожди, Чикиннит Каело! Если все это идет в черный «Альманах», то какие высокие слова найдешь ты для красного? Не было, нет и не будет наисильнее и наимогущественнее страны мадранта! Нет наумнее и наиздоровее молодой Жегларды...

Холодный пот прошиб Чикиннита Каело. Испуганно озирась, он схватил и проглотил только что исписанный листок бумаги... так можно попасть и к священным куймонам... Вовремя, ох как вовремя проглотил злосчастный листок Чикиннит Каело!

На террасе появился посетитель, который мог случайно заметить чудовищные строки, еще мгновение назад лежавшие перед Чикиннитом Каело... Па-па-па... Чем может служить Чикиннит Каело любезному посетителю? Ох, как мучают они его, заставляя читать их жалкие творения и давать на них ответы... Неразумные! Чем они могут удивить Чикиннита Каело? Стихами? Фактами? Предсказаниями погоды? В стране есть стихотворцы, сборщики фактов и предсказатели погоды. Они все на учете и все получают свое вознаграждение. И этих стихотворцев, и сборщиков фактов, и предсказателей погоды вполне хватает Чикинниту Каело. Даже много!.. Так чем может служить... Пе-пе-пе... любезному посетителю Чикиннит Каело?

Любезный посетитель был одет бедно и неряшливо. Имел гладко выбритую голову, округлую черную бороду и бесстрастные, ничего не выражающие глаза. Он молча протянул Чикинниту Каело свернутый в трубочку лист дорогой, как успел заметить Чикиннит Каело, бумаги... Чикиннит Каело взял рукопись и, не разворачивая, положил в корзину рядом с собой. Любезный посетитель может идти, потому что Чикиннит Каело занят и прочтет рукопись после Новой луны. И если любезный посетитель желает выслушать приговор Чикиннита Каело, то он может прийти за отве-

том через три дня после Новой луны... Па-па-па... Пе-пе-пе... Любезный посетитель имеет нахальство требовать ответа сейчас же?.. А чем же данный любезный посетитель отличается от других любезных посетителей, творения которых дождутся своей очереди в этой корзине?..

Но любезный посетитель будто и не понимал слов Чикиннита Каело. Он только безразлично пожал плечами и не думал трогаться с места... Пе-пе-пе... Уж на подозрительно дорогой бумаге принес свои творения любезный посетитель... Мало ли кто он? Для чего старому Чикинниту Каело неприятности на его лысую голову?.. Чего не бывает? В последнее время даже дети ревзодов занимаются стихотворчеством. Ну что же, Чикиннит Каело сделает исключение для любезного посетителя, раз он так настаивает...

Чикиннит Каело достал из корзины, развернул лист дорогой бумаги и... па-па-па... пе-пе-пе... углубился в чтение... «Ты ненавистна мне, ставшая доброй, собака! Рабски покорною сделал тебя твой хозяин и, усмехаясь довольно, зовет своим другом. Жалко виляя хвостом, ты его ненавидишь, мерзко скуля, со стола принимая объедки...» Па-па-па... Чикиннит Каело мельком взглянул на любезного посетителя, но тот всем своим видом изображал полное безразличие... «Да и раба своего в человеческом обличье, как и тебя, господин называет собакой. Встань ото сна, напряги свои лапы, собака! Ночью к обрыву Свободы сбеги незаметно! Там о скалу наточи свои зубы и когти...» Пе-пе-пе... Это что же за намеки?.. «И доберись ты до самого края обрыва, чтобы оттуда пантерой на грудь господина прыгнуть – и вмиг разодрать его горло клыками...» Чикиннит Каело снова взглянул на любезного посетителя и совершенно отчетливо представил себе его бритую, с округлой бородой голову, отделенную от туловища... «И распороть его сытое, жирное брюхо, и утолить свою жажду хозяйской кровью...» И Чикиннит Каело ясно увидел отделенные от всего туловища ноги и руки любезного посетителя... «И отшвырнуть эту падаль поганым шакалам, и возвратит себе гордое имя – Собака!..» Нет, скорее всего, несчастного посетителя прикуют цепями к каменному столбу, вырежут возле пупка маленький кусо-

чек тела и посадят на это место голодную крысу. Крыса начнет вгрызаться в тело, выжифая внутренности, пока не доберется до сердца... Это замечательная казнь... Чикиннитта Каело даже передернуло... Достойный финал для... В конце листа Чикиннит Каело увидел имя – Ферруго... Так значит, любезного посетителя зовут Ферруго?.. Ах, Ферруго – это хозяин любезного посетителя... И Ферруго хочет, чтобы это творение было принято в «Альманахе» Чикиннитта Каело и обнародовано?.. (Главное – не спугнуть любезного посетителя...) Но дело в том, что... творение Ферруго, так и надо сказать твоему хозяину, несовершенно, слабо по словам, расплывчато по мысли, но Ферруго не должен бросать это занятие, ибо определенный дар у него имеется, и пусть он напишет еще что-нибудь и передаст Чикиннитту Каело через любезного посетителя, а еще лучше – пусть сам принесет свои творения Чикиннитту Каело, который будет ждать его ровно на третий день после Новой луны... Данное же творение Чикиннит Каело оставляет у себя, чтобы, изучив его, дать Ферруго более исчерпывающие объяснения... И Чикиннит Каело достал из желтой шкатулки и протянул любезному посетителю желтый камень, значение которого, безусловно, должно быть известно всякому, кто решается принести свое творение Чикиннитту Каело. Надобно знать, что у Чикиннитта Каело нет свободного времени, чтобы объяснять каждому, почему да отчего. И поэтому Чикиннит Каело завел три шкатулки. Черный камень из черной шкатулки означал, что данное творение никуда не годится, не отвечает, не соответствует и хозяина этого творения просят в дальнейшем не обременять Чикиннитта Каело. Желтый камень из желтой шкатулки означал то, что недавно Чикиннит Каело высказал любезному посетителю. В красной шкатулке лежали камни, предназначенные тем, чьи творения заведомо нужны и приятны Чикиннитту Каело и его «Альманаху»... Стало быть, ровно на третий день после Новой луны... А теперь любезный посетитель может считать себя свободным...

Едва только неряшливо одетый бритоголовый бородач удалился, Чикиннит Каело схватил в руки бумагу с творени-

ем Ферруго и вновь начал его читать, шевеля беззвучно губами. Он читал, и ему становилось страшно, как будто это написал не какой-то таинственный Ферруго, а сам Чикиннит Каело и ему теперь предстоит отвечать и расплачиваться перед самым мадрантом... Па-па-па... Может, уничтожить эту проклятую бумагу, будто ничего и не было?... Пе-пе-пе... Но ведь Ферруго возникнет вновь, а что ему заблагорассудится сотворить на сей раз, одному небу известно!.. А вдруг (и подумать страшно!) нет никакого Ферруго, и просто Первый ревзод решил проверить подлинную преданность Чикиннита Каело и подослал к нему любезного посетителя с этой крамалой?... Пе-пе-пе... А старый глупый Чикиннит Каело набирает в рот воды и помалкивает? А уж не потому ли он помалкивает, что согласен с написанным, а если и не согласен, то просто настолько глуп, что даже не в состоянии понять страшный смысл написанного?... Просто какой-то сумасшедший Ферруго решил встать на защиту бедного домашнего животного и предлагает ему растерзать своего хозяина... Какое бедное животное? Какого хозяина? Где живет этот хозяин? Как зовут это бедное животное? Или Чикиннит Каело считает себя умнее других?... Помилуйте! Не считает себя Чикиннит Каело умнее других! Ах, не считает? Тогда почему же Чикиннит Каело, который сам говорит, что он не умнее других, должен заниматься столь важным государственным делом? Нет, таким делом должен заниматься человек умнее многих других! Помилуйте! Чикиннит Каело умнее многих других! Ах, умнее? Тогда что это за хозяин и как зовут его собаку?... И тут Чикиннит Каело почувствовал, как не чья-нибудь, а именно его лысая голова отделяется от тела, и он судорожно проглотил слюну... Па-па-па... Уведомить! Уведомить Первого ревзода, и немедленно!..

В этот момент из нижнего помещения поднялся старший переписчик и попросил Чикиннита Каело спуститься вниз, чтобы ознакомиться с первым переписанным вариантом будущего красного «Альманаха». Чикиннит Каело положил на стол, свернув предварительно в трубочку, рукопись Ферруго и спустился вниз. Он в целом одобрил первый

вариант красного «Альманаха», но велел изменить предсказание погоды, которая, согласно предсказателю, ожидалась знойной и жаркой, и заменить ее на прохладную с небольшим дождичком, потому что мадрант не переносил жары. В черном же «Альманахе» пусть останется жара и зной... Когда Чикиннит Каело поднялся на свою террасу, свернутой в трубочку рукописи Ферруго на столе не было... Чикиннит Каело обшарил все помещение, перерыл корзину, обежал несколько раз дом снаружи – вдруг порыв ветра унес бумаги на улицу?.. Напрасно. Рукопись Ферруго исчезла бесследно... Тяжело дыша, обливаясь потом, Чикиннит Каело опустился в свое кресло, бессмысленно глядя на пустой стол... Па-па-па... Пе-пе-пе...»

Почувствовав облегчение и успокоившись, Гайский вырвал лист из уже прочитанного и использовал его по назначению, приговаривая: «Так тебе! Вот твое место!» В коридоре он столкнулся с уходящим домой Индеем Гордеевичем.

– Проводите меня домой, Гайский, – предложил Индей Гордеевич.

Индею Гордеевичу Гайский отказать не мог.

Увидев в руке сатирика тетрадку в черном кожаном переплете, Индей Гордеевич спросил:

– Между нами, Гайский, как вам эта вещица?

– Пакость! – вдруг закричал Гайский. – Аморальное произведение! Графоманский бред!.. Без мысли! Без игры ума! Идея порочна!

– А у меня несколько иное впечатление... Мне пока трудно сформулировать... Какой-то философ сказал, что литература действует не на сознание, а на подсознание... Так вот... Как бы это вам сказать... Я надеюсь на вашу мужскую скромность...

– Как могила! – сказал Гайский.

– В меня эта повестушка влила новые силы... Надо вычитывать верстку юбилейного номера, а перед глазами – Ригонда, – смущенно произнес Индей Гордеевич.

— Нет ничего удивительного, — согласился Гайский. — Она достойная, красивая и очень женственная женщина, а вы еще достаточно молодой мужчина...

— Но ведь ничего подобного я не испытывал уже пятнадцать лет... А вот прочитал и...

— Дело в том, Индей Гордеевич, что мы не признаем пророка в своем отечестве... вспомните, какой острый рассказ вы мне завернули, а всякая дрянь на вас действует...

Гайский, когда надо, умел постоять за себя.

— Не спорю, Гайский, — сказал Индей Гордеевич, — у вас живой ум, острый язык, но ни один ваш рассказ ни разу даже не задел то, что философия именует под-сознанием... А здесь...

— Выдаете желаемое за действительное, — сказал Гайский, когда они уже подошли к дому Индея Гордеевича.

— Не дай бог! Типун вам на язык! — заключил Индей Гордеевич и, не дожидаясь лифта, помчался по лестнице, словно горный козел.

«И он завидует», — подумал Гайский и здесь только заметил, что, заболтавшись с Индеем Гордеевичем, он забыл оставить на столике Ольги Владимировны проклятую тетрадку в черном кожаном переплете. И тут он снова почувствовал приближение очередного приступа. Быстро сообразив, что до ближайшего места общественного пользования ему не дотянуть, а к Индею Гордеевичу стучаться по такому делу неудобно, он заспешил большими шагами к спасительной гавани, каковой являлась квартира Вовца...

XI

В этот вечер в 20 часов 30 минут истек срок одной из самых невероятных «маз», какие когда-нибудь держали Вовец и Колбаско. История вкратце такова. Два года назад Колбаско находился в командировке в городе Качарове, где он писал поэму «Хлеба мои вольные!». Спустившись из номера гостиницы поужинать

в ресторан, он увидел сидящего за столиком возле оркестра мухославского поэта-песенника Продольного, автора знаменитой «Мухославской лирической». Помимо несомненного дарования, Продольный славился еще одним отличительным достоинством: он имел довольно приличный, чтоб не сказать больше, горб. Это обстоятельство не было для Колбаско откровением, да и сам факт сидения Продольного в качаровском ресторане еще ни о чем не говорил. Более того, в другое время Колбаско не преминул бы даже и подсесть к Продольному, потому как тот был человеком богатым и иногда любил угощать. А кто, скажите, в наше время откажется от дармового ужина? Глупец откажется. А Колбаско, как известно, глупцом не только не был, но и, что значительно важнее, таковым себя не считал. Так вот, в другое время Колбаско непременно подсел бы к Продольному. Но в том-то все и дело, что Продольный был не один. Напротив него сидел молодежавый, с лицом Фернанделя, тоже... горбун. Но и это еще полбеда. Оба развлекали очаровательную юную горбунью, а обслуживал их, и это было совсем странно, горбатый официант. Колбаско относился к людям, которые считают, что ничего просто так в жизни не случается, и его воспаленный мозг лихорадочно заработал... Секта? Вряд ли. Продольный был секретарем общества «Знание». Симпозиум? Международный конгресс? Но где флажки на столиках? Где транспаранты на улицах? Родственники? Вроде бы не похожи... Нет. Тут что-то другое... Решая этот ребус, Колбаско отужинал, расплатившись с официанткой, которая в начале ужина вызвала у него отвращение, но по мере того, как он опустошал графинчик, становилась все привлекательнее, пока наконец не превратилась в писаную красавицу, столь желанную сегодня колбаскиному поэтическому сердцу. Пригласив ее к себе в номер и тут же получив отказ, Колбаско подумал, что это даже к лучшему, и заинтересовался у нее, откуда в Качарове такое большое количество горба-

тых представителей, на что официантка ответила, что в городе живет один старичок, который выправляет горбы в довольно короткое время, что старичок этот — репатриированный армянин греческого происхождения, что полгода назад он избавил от горба ее покойного мужа, да что там мужа — ее самое. При этом официантка повернулась спиной к Колбаско, представив ему возможность удостовериться в сказанном. Колбаско, будучи человеком не только впечатлительным, но и практичным, немедленно замыслил коварно использовать этот факт с выгодой для себя. И, возвратившись в Мухославск, в тот же вечер предложил Вовцу «мазу», что не пройдет и двух лет, как у песенника Продольного исчезнет горб. Вовца не пришлось долго уговаривать, и он поставил рубль против пятисот, что этого не произойдет. В данном случае, как и в остальных, Вовец исходил из того, что все равно с Колбаско такую сумму не получишь, но бутылку он с него всегда стребует. Колбаско же, не посвятив Вовца в тайну качаровского исцелителя, справедливо для себя посчитал, что дармовой рубль у него в кармане. Хоть бы и через два года. Но по мере того, как шло время, а горб у Продольного не только не уменьшался, но, наоборот, вроде бы стал еще солиднее, Колбаско скучнел, заставляя себя забывать про заключенную «мазу», а иногда придавал ей значение шутки. У Вовца же память была отличная, и он каждый раз, встречая Продольного на улице, потирал руки и поглаживал живот, предвкушая грядущий день платежа. И вот в вечер, о котором идет речь, исполнилось ровно два года с того знаменательного момента, и Вовец извлек из-под подушки документ, подтверждающий заключение «мазы», спросив, каким образом Колбаско собирается погасить долг. Колбаско покрылся красными пятнами и заявил Вовцу, что только подлец мог заключить такую «мазу», заведомо зная, что никакими средствами нельзя человека избавить от горба, а с подлецами он вообще иметь дел не желает и день-

ги отдавать не собирается. Но поскольку они все-таки были друзьями и до драки у них дело почти никогда не доходило, Вовец объявил Колбаско амнистию, заменив пятьсот рублей бутылкой. Колбаско был несказанно обрадован, посчитав, что он наколол простодушного Вовца, сэкономив четыреста девяносто рублей. А простодушный Вовец тем более остался в выигрыше, потому что о большем и не мечтал. Колбаско сбегал, и они мирно выпивали и закусывали, являя всему остальному миру пример того, как можно договориться даже в самой щекотливой и конфликтной ситуации.

Их незатейливую трапезу прервал нервный звонок в дверь. Аркан Гайский, едва не сбив открывшего ему Вовца, промчался по коридору и скрылся в туалете.

Через десять минут он появился в комнате, держа под мышкой тетрадь в черном кожаном переплете.

— Съел я чего-то, наверно, — сказал он друзьям, как бы извиняясь, и подсел к столу.

— Ну? — спросил Вовец. Он всегда говорил «ну», когда нечего было сказать.

Без ярко выраженной радости он поставил перед Гайским рюмку и занес над ней бутылку, но наливать не стал, выдерживая известную вопросительную паузу.

— Ни в коем случае! — замахал руками Гайский. — Я чего-то съел такое!..

— Как знаешь, — облегченно вздохнул Вовец и с надеждой взглянул на Колбаско.

— Буду, буду, — испортил ему настроение Колбаско. — Не умер еще!

— Черт знает что! — заговорил Гайский. — Носятся с этой повестью! Пакость! Дрянь! Бестиев, и тот лучше пишет!.. Ну, ладно. Я, может, необъективен — у меня рассказ зарубили, но я тебя спрашиваю, Вовец!.. Вот ты — талантливый, с безупречным вкусом... Вот прочти и скажи! Только честно! Тебе юлить нечего, тебя в журнале не балуют...

— Позовут еще! — вдруг затряс бородой Вовец. — Коня белого пришлют, а я им вот покажу!

И Вовец показал, как он им покажет.

— И правильно сделаешь, — согласился Гайский. — Надо иметь гордость.

— Я один держусь! — начал заводиться Вовец. — Чем писать муру, лучше вообще не писать!..

— Что ж я, по-твоему, муру пишу? — обиделся Колбаско.

— А я тем более, — сказал Гайский.

— Почему это ты «тем более»? — наскочил на него Колбаско. — Мажем, что у тебя больше муры, чем у меня?

— Я просто больше пишу, — возразил Гайский. — А талант имеет право на издержки.

— Коня белого пришлют! — закричал Вовец и выпил свою и колбаскину рюмки.

— Я не умер еще! — сказал Колбаско.

— Мы все талантливые люди, — примирительно произнес Аркан Гайский. — И противно, когда нас затирают бездарности! Подумаешь! Чей-то сын!.. Я же не кичусь тем, что мой отец в свое время был несправедливо исключен из рабфака... Вот ты почти, Вовец. У тебя безупречный вкус...

— Что ж, у меня плохой вкус? — спросил Колбаско и пошел пятнами.

— Ты поэт, — заметил Гайский, — а здесь, с позволения сказать, проза...

— Чем читать муру, лучше вообще не читать! — не успокаивался Вовец. — Позовут еще!.. Коня белого пришлют! А вот я им покажу!

— Пришлют! — обнадежил Гайский. — Еще как пришлют! Тот же Индей Гордеевич придет... Кстати, он, по-моему, просто чокнулся... Прочитал эту повесть и сказал, что снова почувствовал себя мужчиной... Ну?

— Индей Гордеевич зря ничего не говорит, — вдруг насторожился Колбаско и быстро-быстро начал думать о чем-то своем, сугубо личном, исключительно

интимном и семейном, а потом попросил решительно: — Дай мне тетрадку на ночь! Утром отдам.

— Тебе-то зачем? — польстил ему Гайский. — Ты ж у нас богатырь!

— Мне-то ни к чему, — гордо ответил Колбаско, — я хочу, чтобы Людмила прочла... Индей Гордеевич зря не скажет...

— Домой дать не могу, — сказал Гайский, — это я у Ольги Владимировны взял.

— Ну не звать же сюда Людмилку, — резонно заметил Колбаско и с ходу предложил: — Слушай! А почти-ка вслух! Я все-таки верю Индею Гордеевичу!..

— Всё?! — испугался Гайский.

— Хотя бы один кусок... А вдруг и вправду...

— Хорошо, — согласился Гайский, — но предупреждаю: все это пакошь и дрянь! Никакой сатиры!..

— Ладно! Ты читай!

Колбаско растолкал уже задремавшего Вовца, и Гайский, открыв тетрадь где-то посередине, начал читать, вкладывая в этот процесс свое резко негативное отношение.

«Первый ревзод вышел от мадранта, испытывая крайнюю неудовлетворенность. Впервые за все время своего правления мадрант, кажется, усомнился в преданности ревзода. Мадрант молод. Мадрант в силу своей молодости совершает поступки, которые кажутся правильными только ему, но ведь все, что делает мадрант, должно быть правильным прежде всего с точки зрения государства. Государство — это многовековое дерево, а мадрант — лишь крона его. Основу его, его ствол составляют ревзоды и армия. А горожане — эти копошащиеся в земле и воде черви — корни государства. Можно срубить крону. Ревзоды и армия родят новую крону. Можно срубить ствол. Корневая система воспроизведет новых ревзодов и новую армию, которые, в свою очередь, создадут новую крону. Но если заболевают и начинают гнить корни — смерть всему дереву. Можно обожать мадранта и желать ему вечного здоровья и процветания, но если его поступки представляют хоть малейшую опасность для государства,

его надо убить, сожалея и проливая слезы над его гробом. Можно ненавидеть мадранта и желать ему ежеминутной и страшной гибели, но если жизнь его и дела его укрепляют дерево, нужно просить небо о бесконечном продлении жизни ненавистного существа, а когда наступит все-таки неотвратимый смертный миг, проливать слезы печали и горести, облегченно вздыхая одновременно... Добравшийся вчера до острова свой человек из Страны Поганых Лиц принес известие, что там замыслили Великий Поход на мадранта, и если это так, то армада вражеских фрегатов уже в пути, и не далее как через десять дней после Новой луны она будет здесь. Надо вдвое увеличить армию, надо возвести дополнительный вал укреплений. Но мадрант приподнял правую бровь и улыбнулся своей вызывающей дрожь улыбкой: разве армия мадранта не самая сильная в мире? Разве укрепления созданы не для того, чтобы об их стены разбивал голову любой враг? Разве не об этом докладывал каждое утро Первый ревзод? Разве обманывал он своего мадранта? Да, высокий мадрант, это так. Это даже больше, чем так. Однако мадрант молод. Слова подобны женским украшениям, но, когда ложишься с мужчиной, надо их снимать. Горожане погрязли в лени, армия разжирела, священная Карраско злится с каждым днем все сильнее и сильнее, а мадрант как будто ничего не замечает. Его заботит что-то свое, но Первый ревзод угадывает, что это свое – не что иное, как белая платяная вошь, которую мадрант переселил из розового дворца в собственные покои (!).

Такого не упомнит история государства. Мадрант упразднил арбаков, чтобы превратить святая святых в грязный тюфяк для справления похотливых нужд! Ревзоды оскорблены. Жены унижены. Две из них во время вчерашней прогулки добровольно бросились в водоем со священными куймонами. Исчез Рредос – гордость мадранта, исчез внезапно, сломав позвоночник одному стражнику и покалечив другого. Но и это не огорчило мадранта. Узнав, он только расхохотался и велел немедленно доставить бледную поганку в свои покои, дав понять таким образом, что не доверяет больше охране розового дворца, а стало быть, не доверяет ревзоду.

Напрасно, мадрант! Ох, как напрасно!.. Ревзод мудр. Доверься ему, и он вытащит тебя из бурного потока опасностей. Не доверяя же ему, ты отсекаешь руку помощи, протянутую тебе.

Вот почему Первый ревзод вышел от мадранта, испытывая крайнюю неудовлетворенность. Когда он подходил к зданию Совета ревзодов, земля и стены вдруг задрожали от глухого грохота. И Первый ревзод понял: это рычит Карраско, предупреждая всех, что она зла.

Чикиннит Каело встретил ревзода у входа в Совет и, упав на колени, заявил, что имеет важную причину для безотлагательной беседы. Совершенно нехстати явился этот старый Каело, но важность причины, о которой он беспрестанно повторял, и его испуганный вид заставили Первого ревзода выслушать хозяина «Альманаха»... Стало быть, вчера во второй половине дня, когда бедный верный Чикиннит Каело, как обычно не жалея сил своих и мыслей для того, чтобы зеленый и красный «Альманахи» в очередной раз порадовали зоры и слух Первого ревзода и мадранта... когда удалось ему, как кажется, найти невиданные до сих пор эмоциональные оттенки в палитре словотворчества... Понимаю, великий ревзод, и перехожу к важной причине... Когда небо осенило Чикиннита Каело и дало ему радость величайшего открытия, позволяющего возвеличить высокого мадранта поистине безгранично... Конечно, великий ревзод!.. Чикиннит Каело хотел только познакомить тебя... Подчиняюсь, великий ревзод!.. Тогда-то и появился в дверях «Альманаха» презренный горожанин, видимо, слуга некоего Ферруго, который положил перед Чикиннитом Каело зловую и опасную аллегория, написанную, заметь, великий ревзод, на листе дорогой бумаги, в коей земными словами (глаза мои не видели этих мерзких слов) содержится прямой призыв к собаке с тем, чтобы она разорвала своего господина!.. Ты понимаешь, великий ревзод, кого подразумевает негодяй Ферруго под словом «собака» и какого господина должна эта собака разорвать?! Прикажи здесь же снять голову с глупого Чикиннита Каело за то, что он осмелился произносить вслух подобные слова!.. Преданный мадранту Чикиннит

Каело хотел схватить презренного слугу и бросить к твоим ногам, великий ревзод, но где было взять сил больному Чикинниту Каело!.. Пришлось прибегнуть к хитрости и оставить рукопись у себя, чтобы не спугнуть его и не вызвать подозрений, дать желтый камень надежды с предложением в третий день после Новой луны принести в «Альманах» что-нибудь еще и получить назад рукопись с соответствующими рекомендациями. И слуга негодяя Ферруго клюнул на эту наживку и ушел, ни о чем не подозревая... О великий ревзод! Ты спрашиваешь: где эта проклятая бумага? Смерти достоин жалкий Чикиннит Каело! У него ее нет... Едва удалился презренный слуга, старший переписчик, наверняка по злому умыслу, отвлек внимание доверчивого Чикиннита Каело, предложив ему спуститься вниз якобы для проверки готовности красного «Альманаха», и, когда наивный Чикиннит Каело вновь поднялся на верхнюю террасу, ту самую, которую любезно посетил не так давно великий ревзод, бумага исчезла!

Глубоко задумавшись, Первый ревзод ходил из одного конца зала Совета в другой. Не содержание бумаги, о которой рассказал сейчас этот плешистый ублюдок, взволновало его, а сам факт, что кто-то осмелился выпустить жало, кто-то запалил факел. Преступную оплошность допустил Чикиннит Каело, не задержав неизвестного, во-первых, и позволив исчезнуть крамольной бумаге, во-вторых. Но Первый ревзод верит в преданность Чикиннита Каело и относит происшедшее к его старческой глупости, иначе бы не перед Первым ревзодом стоял сейчас на коленях Чикиннит Каело, а перед палачом Басстио. Наказание, которое ждет хозяина «Альманаха», еще впереди, а пока он имеет возможность искупить свою вину, направив остатки своей изворотливости на то, чтобы раздавить скорпиона, прежде чем он сможет укусить кого-нибудь, затушить факел, прежде чем будет разожжен костер. С этого момента перед домом, где расположен «Альманах», будут дежурить четыре представителя службы молчаливого наблюдения, чтобы схватить бритого бородача по знаку Чикиннита Каело, как только он появится вновь. И ни одна душа не должна знать о слу-

чившемся и о принятых мерах, чтобы не было пищи для нездорового любопытства и слухов. А теперь старик может убираться, дабы не раздражать далее своим тошнотворным видом Первого ревзода.

Он долго еще ходил из угла в угол. Нет, нет, всё к одному. Его опыт, его мудрость, его нюх подсказывали: что-то разладилось в большом механизме, что-то разболталось. Мадрант пока не чувствует этого или не желает чувствовать, но много лет назад тогда еще молодая Герфринда – любимейшая жена отца нынешнего мадранта – сказала Первому ревзоду, что в одном из своих прежних обличий он был крысой. И как это ни противно и оскорбительно, но в чем-то Герфринда права: он обладал обостренным чутьем опасности, которое и сейчас его не обманывает, – в корабле появилась течь...»

В этом месте гримаса перекосила лицо чтеца-сатирика, и он опрометью бросился из комнаты. Вернулся он минут через семь, серьезный и озабоченный.

– Нет, я точно сегодня чего-то съел, – произнес Гайский, усаживаясь на стул и неодобрительно покачивая головой.

– Слушай! – сказал Колбаско. – А может, эта вещьца на тебя так действует? На тебя так, на Индея Гордевича по-другому...

– Что ж она на тебя не действует? – разозлился Гайский.

– Не знаю, – ответил Колбаско и неожиданно обратился к Вовцу: – Кстати, Вовец, ты помнишь, что должен мне шесть сорок?

– Каждый раз напоминать об этом другу подлю! – отрезал Вовец, обводя стол мутными глазами. – Читай, Аркан.

И Аркан Гайский продолжил:

«Олвис, переведенная в покои мадранта, проводила теперь в его присутствии почти все время, но никак не могла понять причину по-прежнему корректного, исключаящего всякую близость, отношения к ней. Для отдыха и сна ей была отведена отдельная комната, в которую мадрант никог-

да не заходил. Олвис видела, что мадрант страдает и мучается, когда разговаривает с ней или просто молча и задумчиво смотрит на нее, и она уже давно готова была облегчить его страдания не столько своим мастерством, сколько желанием, но... Извини, мадрант, ты испытываешь мою гордость, уж коли ты не покупаешь меня и отказываешься брать силой, предлагая игру на равных, то пусть я лучше сдохну (чересчур изысканно для принцессы, конечно), пусть лучше вырвутся наружу мои желания, покрыв кожу струпьями и нарывами, но ты не дождешься, чтобы я сама завалила тебя (опять грубо, но что поделаешь!), хоть ты мне и нравишься с каждым днем все сильнее и сильнее.

А мадрант, погруженный в свои мысли, развлекал ее, а может быть, и сам развлекался, играя со своим шутом. Он далеко забрасывал небольшой круглый желтый камень, а шут, изображая собаку, разыскивал этот камень и в зубах приносил его мадранту, поскуливая и глядя на мадранта своими зеленоватыми глазами. Потом этот невысокого роста человек вдруг становился похожим на жалкого старикашку, на лбу у него вздувались вены, и начинала трястись голова. Он называл мадранта Ферруго. Па-па-па... Пепепе... Ферруго хочет стать знаменитым поэтом?.. Ферруго не дорос. Ферруго еще недостоин... Кто такой Ферруго?.. Па-па-па... Не знаю такого... У нас есть стихотворцы, у которых Ферруго должен учиться, много учиться, долго учиться... Бедненький Ферруго! Вот тебе желтый камень, чтоб ты не унывал...

Мадрант улыбался и обращался к Олвис, показывая ей желтый камень, чтобы Олвис знала: Чикиннит Каело отказывает какому-то Ферруго, но если бы стало известно, кто такой Ферруго, эти строки Чикиннит Каело расклеил бы по всему городу и сделал бы молитвой для горожан. Но Чикиннит Каело никогда не узнает, кто такой Ферруго, потому что мадрант не хочет побеждать поэта Ферруго в нечистой игре, и, если Ферруго бросил вызов мадранту, мадрант принимает вызов и будет драться с ним так, как может драться человек, которого небо призвало быть мадрантом. И только победитель станет достойным прекраснейшей Олвис.

И мадрант снова кидал как можно дальше желтый камень, и шут снова в зубах приносил его мадранту, глядя на него своими зеленоватыми глазами. А потом шут становился похожим на Олвис и, томно вздыхая, подмигивал ей, садился на колени к мадранту, обвивал его шею руками, прислоняясь своей головой к его груди. И тогда мадрант брал его левой рукой за шиворот («Почему он прячет свою правую руку?») и легко, словно щенка, отшвыривал шута, после чего шут заливался слезами и начинал рвать на себе волосы...»

Вовец икнул. Гайский с опаской взглянул на него и продолжал:

«...А на город меж тем наступала не поддающаяся ни проклятиям, ни заговорам, ни мольбам иссушающая, безжалостная жара. Обмелели, а вскоре и вовсе пересохли ручейки и питьевые каналы. Уровень воды в пресном водоеме настолько понизился, что Совет ревзодов ограничил потребление воды горожанам вчетверо, а рабам – вшестеро. Пожухла и выгорела трава, свернулись и превратились в сухие мертвые трубочки листья на деревьях, и сами деревья под горячим оранжевым солнцем стали похожими на скелеты. Земля сморщилась и облысела, покрывшись трещинами и корками. Горожане до глубокого вечера не покидали своих домов, спасаясь от зноя. Рабы на полях и в каменоломнях падали замертво от губительных тепловых ударов. Тела их сначала сбрасывали к священным куймонам, но те, ожирев от обилия жертвенной пищи, ушли на дно, и разбухшие трупы постепенно покрыли поверхность водоема. Тогда мертвых рабов перестали убирать и, разлагаясь, они заполнили город и окрестности густым тяжелым смрадом, который стал ощущаться даже во дворце мадранта, хотя тот находился на высоком холме...»

Вовец снова икнул.

«Легче других пришлось рыбакам, которые с рассветом уходили далеко в море и облегчали участь, бросая свои уставшие, потные тела в прохладную морскую галубизну. И лишь поздно вечером приморские улочки и драббинги – эти заведения, где могли собираться и пить вино горожане, – оживлялись. Возвратившиеся рыбаки в обмен на сведения об удач-

ном или неудачном улове получали от горожан свежие новости, накопившиеся за день. А новости были мрачными и неутешительными. Около полуночи в один из драббингов прибежал бледный, насмерть перепуганный воин из горного сторожевого отряда и, едва успокоившись двумя большими чашами вина, рассказал, как некоторое время назад, вскоре после захода солнца, на его глазах был опрокинут на землю выскочившим из-за скалы огромным животным начальник сторожевого отряда, проверявший ночной караул. Рассказчик и его товарищ, остолбенев от ужаса, видели, как чудовище разорвало грудь и живот начальника отряда и, издав жуткий вой, в три гигантских скачка исчезло во тьме. Обезумевший рассказчик бросился в город, чтобы поведать эту историю жителям...»

Вовец икнул.

«Утром страшная новость уже распалзлась холерой по городу – от горожанина к горожанину, от дома к дому, от драббинга к драббингу. Она видоизменялась и обрастала новыми деталями и фактами, придававшими ей дополнительную правдивость. Не начальник, а весь отряд был растерзан возникшим в ночи из небытия невиданным зверем. Никакой это не невиданный зверь, а взбесившийся от жары любимый пес мадранта, и не начальник горного отряда стал его жертвой, а один из ревзодов, охотившийся, на свою беду, в горах прошлой ночью. Никакой это не пес мадранта, а символ неба, посланный им на землю в облике свободной собаки, чтобы объединить горожан и поднять их на свержение мадранта, и этот символ может принимать не только собачий, но и человеческий образ, превращаясь то в бородастого карлика, то в прекрасную белокурую женщину, и вчера в одном рыбацьем драббинге его видели в облике худого парня со странными зелеными глазами, и он зачитывал какую-то бумагу, в которой собаки призывались к расправе над своими хозяевами, после чего находившиеся в драббинге впали в страшное возбуждение и этой же ночью ушли в горы, где обезоружили сторожевой горный отряд мадранта, и символ этот имеет имя, и зовут его не то Верраго, не то Буррого, не то Ферруго...»

Вовец икнул.

«...да-да, высокий мабрант, Ферруго – так зовут негодяя, из-за которого всполошился город, а воины ослушиваются приказаний начальников, отказываясь следовать в горы, чтобы изловить и уничтожить бешеного Рредоса, ибо нет никаких сомнений в том, что таинственное животное, растерзавшее несчастного начальника горного сторожевого отряда, и есть сбежавший любимейший пес, и коли мабрант доверяет Первому ревзоду, нарушившему покой мабранта столь неприятными сообщениями, то Первый ревзод удалется для принятия необходимых в данном случае мер...»

Вовец икнул и очнулся.

«Мабрант приподнял правую бровь и улыбнулся. Рредос был славным псом, но неужели незыблемая мощь армии мабранта, о чем неоднократно докладывал Первый ревзод («Да, мой мабрант, мощь армии по-прежнему незыблема»), столь ослабла, что она не может отловить бешеную собаку, успокоив таким образом бедных, изнывающих от жары и зноя горожан? Знает ли Олвис, что делают тогда, когда один воин не подчиняется приказу? Его казнят, но казнят не только его, а еще десять ни в чем не повинных воинов из того же отряда. И если кто-то и потом вздумает не подчиниться, то уже не будет необходимости в новой казни. Его разорвут свои же, ибо никто так не дорожит жизнью, как рабы, которым кажется, что они свободны. Что же касается Ферруго, бросившего вызов мабранту, то мабрант принимает этот вызов и становится беспощадным...»

По мере того как Гайский читал, Колбаско мучительно перебирал в памяти всех, кто когда-либо сколько-либо был ему должен... Вовец – шесть сорок... Дамменлибен – двадцать три восемьдесят и еще вчера пятьдесят копеек за сигареты... Это тридцать рублей семьдесят копеек... Мухославское издательство недодало ему сто четырнадцать рублей... Это сто сорок четыре семьдесят... Отец – восемьдесят... Нет. Это он отцу должен восемьдесят... Минуточку! А с Бестиевым они накатали на пони немецкую переводчицу на трид-

цать два рубля. Бестиев заплатил только двенадцать, сказав, что он на пони не катается... Но это его собачье дело... Четыре рубля Колбаско с него вырвет. Это сто сорок восемь семьдесят... Все? Неужели больше ему никто не должен?.. Вовец — шесть сорок... Вовца уже считал... А еще вспомнил Колбаско школу. В пятом классе за январь на завтраки он сдал четыре рубля, но ведь десять дней — каникулы, а деньги до сих пор не вернули!.. Сто пятьдесят два семьдесят... А наезднику Барабулину три рубля за то, что он подъедет на Конвейере... Хотя ипподром лучше не вспоминать... Но все-таки набегают...

Вдруг Вовец сказал:

— Он мне читает какую-то муру, а я его слушаю! Да вообще, если хотите знать, в России есть только один писатель! Мельников-Печерский! А все остальное — мура!.. Приползут еще!.. Белого коня пришлют!.. А я им вот покажу...

— Мура! Чистая мура! — согласился Гайский. — Я рад, что Вовец такого же мнения. Хотите, я вам лучше новый рассказ прочитаю? Я там здорово придумал: приходит Леонардо да Винчи в ресторан, а официантка, которая его плохо обслуживает, оказывается Моной Лизой...

Но поскольку, кроме рассказа о Леонардо да Винчи, ничего более крепкого уже не осталось, Вовец категорически затряс бородой, имитируя усталость и алкогольное опьянение. Колбаско, по-прежнему считая, что Индей Гордеевич зря ничего не скажет, стал уговаривать Гайского дать ему до утра тетрадь в черном кожаном переплете — не для себя, конечно, а для Людмилки, которая, по словам Колбаско, последние несколько месяцев выказывает некоторое безразличие к нему и два раза не ночевала дома. В конце концов Гайский уступил, взяв слово с Колбаско, что утром тот вернет тетрадь в целости и сохранности.

Они вышли от Вовца в третьем часу ночи. Гайский, по известной причине, которая начала его изрядно

волновать, едва успел добежать до дома. Колбаско же, определив за сегодняшний вечер, что государство и отдельные его граждане должны ему сто шестьдесят рублей двадцать копеек, возвратился домой в хорошем расположении духа, считая, что еще не все потеряно и жизнь не так уж плоха. И вскоре уже весь Мухославск спал, готовясь к очередному трудовому дню, а наиболее яркие его представители под утро даже видели сны, каждый, как говорят в таких случаях, в меру своей испорченности, образованности и интеллигентности.

Бестиеву снилось, что *они* бегут по огромной политической карте мира, покрытой свежезеленой, как в рассказе Брэдбери, травой. Бегут *они* плавно, словно в замедленном кино. *Они* бегут втроем, взявшись за руки. Бестиев в центре, справа от него — наш посол у них, слева — их посол у нас. Они бегут, улыбаясь, перепрыгивая через слаборазвитые страны, в джинсах по сто рублей и в розовых рубашках с воротником-стойкой по тридцать пять чеков.

— Мы тебя любим, — говорит Бестиеву наш посол у них.

— И мы тебя любим, — говорит их посол у нас.

Бестиев не понимает.

— Как это? — спрашивает он нашего посла у них. — Вы из какой системы?

— Из нашей, — отвечает наш посол у них и ласково треплет Бестиева по щеке.

— А вы из какой? — спрашивает Бестиев у их посла у нас.

— Из нашей, — отвечает их посол у нас и ласково треплет Бестиева по другой щеке.

— Как это? — силится понять Бестиев. — Ведь если *мы* меня любим, то *вы* меня не любите? Так?

— Любим, — говорят послы.

— Но ведь мы все из разных систем! — напрягается Бестиев.

- Гармония, — говорят послы.
- Это удалось только Бестиеву, — обращается наш посол у них к их послу у нас.
- Только Бестиеву это удалось, — обращается их посол у нас к нашему послу у них.
- А ведь у нас многие пытались, — говорит наш посол у них.
- И у нас многие пытались, — говорит их посол у нас.
- А куда мы бежим? — спрашивает Бестиев. — За нами гонятся?
- Туда, — отвечают послы и указывают в сторону горизонта.
- И там, у самого горизонта, Бестиев видит дымящуюся гору.
- Карраско? — спрашивает Бестиев.
- Карраско, Карраско, — кивают послы.
- А почему она дымит? — Бестиев нервничает. — Это символ?
- Единство — борьба противоположностей, — говорит наш посол у них.
- Как это? — Бестиев шумно выпускает сигаретный дым в лицо нашему послу у них. — Если это символ, то почему он дымит?
- Символ вулкана, — говорит их посол у нас.
- Вулкан символа, — говорит наш посол у них.
- Как это? — Бестиев недоумевает и отрывает пуговичку на рубашке их посла у нас. — А зачем мы туда бежим?
- А там конец, — отвечают послы.
- Как это? — Бестиеву становится страшно. — Конец чего?
- Конец — это начало начала, — говорит наш посол у них.
- Как это конец может быть началом? — Бестиев пытается остановиться. — Значит, начало может быть концом? — Бестиев пытается вырваться. — Не хочу

конца! — Бестиеву становится душно. — Не хочу начала! — Бестиеву нечем дышать. — Хочу продолжения!..

Но в это время на горизонте что-то взрывается со страшным грохотом, и Бестиев открывает глаза. Над Мухославском гремит гром и сверкают молнии.

«Начитаешься дерьма, — думает Бестиев, захлопывая окно, — потом спать не можешь...»

Вовцу снился абсолютно дивный сон — будто он выступает на своем творческом вечере на ликеро-водочном заводе. Он стоит на торжественно убранной сцене перед микрофоном и держит изданный в Лейпциге свой афоризм в двух томах. Он раскрывает тома и читает: «Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера». В зале вспыхивает овация. Вовец кланяется и хочет покинуть сцену. Но его не отпускают. Он снова читает с выражением: «Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера». Рабочие скандируют его имя. И он вынужден повторять еще и еще... Народ на руках выносит его и его бороду в производственный цех, и сон Вовца становится еще более дивным. Конвейерная лента, заполненная чистенькими прозрачными бутылками, причудливо извивается, образуя по форме афоризм «Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера».

— Это высшее признание! — улыбается Вовцу директор.

А над ним, словно кровеносные сосуды, переплетаются стеклянные трубы, и в них струится, журчит, переливается, манит, обещает, ласкает, дурманит, рассуждает, философствует, творит, зовет и ни в коем случае не конформирует не похожее на муру настоящее произведение. Вовец тянется к этому произведению душой и телом. Он хочет приникнуть к нему, влиться в него и раствориться в нем, подобно тому, как режиссер растворяется в актере, но в этот момент сон Вовца из дивного становится кошмарным, потому что директор поводит перед его носом указательным пальцем: мол, ни-ни! Ни в коем случае!.. Вовец в гневе выбегает из цеха.

— Позовут еще! — иступленно кричит он. — Белого коня пришлют!.. А вот я им покажу!..

— Покажешь, все им покажешь, — гладит его по горячей голове теща. — Не ори только.

Вовец садится на кровати.

— Где Зина? — спрашивает он, дико озираясь.

— Помилуй, — говорит теща. — Она уж две недели как в командировке.

Вовец засыпает сидя, а теща, укладывая его, бормочет: «И на кой хрен она вышла за писателя?..»

Поэту Колбаско всю ночь снились шесть тысяч четыреста двадцать восемь рублей, и он не хотел просыпаться до двенадцати часов дня, потому что никогда раньше таких денег не видел...

Гайскому в эту ночь ничего не снилось. Ему было не до сна. «Хорош бы я был, если б встретился сегодня с Ольгой Владимировной», — думал он.

XII

С-с-с... Алеко Никитич ждет Индея Гордеевича в вестибюле, еще не нервничая, потому что время пока есть, но уже выговаривая ему мысленно по поводу его безответственности. Индей Гордеевич вбегает в десять часов пять минут. Выглядит он ужасающе. Белки воспалены. Под глазами синеватые мешки. Он плохо выбрит и бесконечно зевает. Милиционер долго изучает пропуск Индея Гордеевича и тщательно сверяет фотографию на паспорте со стоящим тут же живым подлинником.

— В таком виде, — говорит Алеко Никитич, — он вообще имел право вас не пропускать. Помню, когда я работал в центральной газете, мне дали гостевой пропуск на Сессию. Ну, в перерыве зашел я в туалет. И вдруг появляется сами догадываетесь кто и, несмотря на то что я был занят делом, бросает мне между прочим: «Бриться надо, молодой человек!..» Похло-

пал меня по плечу, руки сполоснул и вышел. С тех пор, Индей Гордеевич, для меня каждое утро начинается с тщательнейшего выбривания... Закалка...

Индей Гордеевич виновато молчит. Глядя в зеркало лифта, он проводит ладонью по щекам, а потом спршивает с надеждой:

— А может, сойдет?

— Дай-то бог, как говорится. Вы же его знаете.

— Верите, всю ночь глаз не сомкнул...

Индей Гордеевич виновато улыбается.

— Я вам советую, — говорит Алеко Никитич, — перед тем, как войти в кабинет, отзевайтесь как следует в коридоре... У нас есть еще три минуты.

Индей Гордеевич, стоя лицом к окну, активно зевает до тех пор, пока Алеко Никитич, взглянув на часы, не делает ему знак.

— Доброе утро, Ариадночка, доброе утро, милая! — говорит Алеко Никитич, входя в приемную. Он целует Ариадне Викторовне руку. — Как здоровьице? Супруг как?

Ариадна Викторовна, не ответив Алеко Никитичу, поводит глазами в сторону кабинета и произносит поутреннему делово:

— Он вас ждет. Но учтите: он не в духе.

Алеко Никитич с тревогой смотрит на Индея Гордеевича, и оба осторожно входят в кабинет.

Н.Р. сидит за большим столом. В руках держит мелкий исписанный лист бумаги. Ноги под столом разуты. Полуботинки стоят рядом. Одна нога время от времени ласково поглаживает другую. И если смотреть только под стол и видеть исключительно ноги Н.Р., то они становятся похожими на двух странных, одетых в коричневые носки зверьков, которые ведут не зависящий от Н.Р. образ жизни. Они то ласкаются, то щекочут, то задираются, то расходятся и обиженно смотрят друг на друга, то снова сходятся и начинают драться. Но если перевести взгляд с ног Н.Р. на его лицо, а потом с лица на ноги, то можно усмотреть опре-

деленную зависимость поведения этих ног от выражения лица Н.Р. Вот лицо едва заметно ухмыльнулось, и правая нога уже пытается заигрывать с левой. Вот лицо нахмурилось, и левая нога прижимает правую к полу. Вот лицо разгневалось, и ноги разбежались в разные стороны. Кажется, еще немного — и они зашипят, словно два кота. Судя по тому, что сейчас ноги находятся на почтительном расстоянии друг от друга да еще угрожающе притоптывают, Алеко Никитич понимает: Н.Р. пребывает в состоянии крайнего раздражения.

— Доброе утроцо! — севшим голосом произносит Алеко Никитич. — Как здоровьице? Супруга как?

Н.Р. не реагирует на приветствие. Он занят мелко исписанным листком, и Алеко Никитич с Индеем Гордеевичем продолжают стоять в дверях.

Внезапно Н.Р. припечатывает листок к столу ударом правой руки, левой рукой придвигает к себе телефон, отодвигает от себя какую-то папку, поправляет стакан с хорошо заточенными цветными карандашами, отодвигает телефон, придвигает папку, задвигает на край стола стакан с чаем, опять поправляет стакан с карандашами, одновременно придвигая к себе телефон и пряча папку в ящик стола, кладет мелко исписанный листок в центр стола, отодвигает телефон, вынимает папку из ящика, поправляет стакан с карандашами, ищет глазами стакан с чаем, находит его и придвигает к себе, а на его место ставит телефон, переворачивает страницу настольного перекидного календаря, отодвигает стакан с чаем и придвигает к себе папку, кладет ее в ящик стола, перелистывает настольный календарь справа налево, возвращая его в исходное состояние, и ставит его на место телефона, затем вынимает папку из ящика, а листок кладет на край стола, как бы молча приглашая Алеко Никитича и Индея Гордеевича ознакомиться с его содержанием. Но едва они делают движение по направлению к столу, как Н.Р. накрывает листок правой рукой и придви-

гает его к себе, а на место листка идет стакан с хорошо заточенными цветными карандашами. Все эти манипуляции Н.Р. производит сосредоточенно, не поднимая головы, не обращая внимания на вошедших. Это напоминает Индею Гордеевичу пасьянсы, которые любит раскладывать Ригонда. Индей Гордеевич вздрагивает, вспоминая Ригонду, и нервно зевает, не в силах погасить не то стон, не то вой, идущий из груди. Алеко Никитич с тревогой смотрит на Индею Гордеевича, но, к счастью, Н.Р. занят своими думами. Он кладет папку в ящик, отодвигает телефон, придвигает к себе стакан с чаем, на мелко исписанный листок ставит стакан с хорошо заточенными цветными карандашами. Затем он достает из футляра очки, нацепляет их на нос, вынимает папку из ящика и, поставив телефон на правый край стола, снимает очки и прячет их в футляр, одновременно кладя папку в ящик стола. Все эти, на первый взгляд, бессистемные движения на самом деле графически отображают ход мыслей Н.Р., и те, кто хорошо его знает и часто с ним общается, прекрасно изучили маршруты настольных предметов и в зависимости от того, что, куда и зачем, могут получить ясное представление о внутреннем состоянии Н.Р. и о том, что кого ждет в ближайшем будущем. Вот придвигается телефон («Уволю!»). Отодвигается папка («Из партии выгоню!»), поправляется стакан с цветными карандашами («Дубины!»). Придвигается папка («Если не из партии, то выговор с занесением!»). Отодвигается телефон («Не уволю, но в должности понижу!»). Придвигается стакан чая («Что у вас вместо головы?»). Придвигается телефон («Уволю к чертовой матери!»). Кладется папка в ящик («И под суд отдам!»). Поправляется стакан с карандашами («Задница у вас вместо головы!»). Перелистывается календарь («Какое сегодня число?»). Вынимается папка из ящика («Под суд не отдам, а надо бы!»).

Алеко Никитич напряженно следит за причудливыми изгибами мыслительной кривой Н.Р., потому

что знает: если последним в этой серии перестановок будет стакан с хорошо заточенными цветными карандашами («Лошадиная задница у вас, а не голова!»), то все обойдется. Н.Р. поправляет стакан с карандашами, откидывается на спинку кресла, и Алеко Никитич облегченно вздыхает.

— Ну, хлябь вашу твердь! — не поднимая головы, грозно спрашивает Н.Р. — Что скажете? А?

— Да тут, понимаете, странную рукопись мы получили, — делая шаг вперед, говорит Алеко Никитич.

— А какой, интересно, день сегодня? — спрашивает Н.Р. по-прежнему грозно и по-прежнему не поднимая головы.

— С утра как будто среда была, — отвечает Алеко Никитич как можно более спокойно.

— А вы что по этому поводу думаете? — обращается Н.Р. уже к Индею Гордеевичу.

— Вообще... если по календарю... — зевает Индей Гордеевич.

— Я спрашиваю, сколько дней прошло с той ночи, — Н.Р. разворачивается на своем вертящемся кресле к окну, и руководители журнала видят теперь только его спину, — с той ночи, когда над городом висело это «неизвестночто»?

— Три? — не очень уверен Индей Гордеевич.

— Стало быть, какой сегодня день?

— Четвертый? — все еще не уверен Индей Гордеевич.

— То-то, хлябь вашу твердь!.. Вы сами видели?

— Как можно видеть то, чего не бывает? — хочет отшутиться Алеко Никитич. — В воскресенье по городу слонялось много нетрезвого населения... А в таком состоянии можно увидеть все что угодно... Мы уже заказали антиалкогольную статью академику...

— А я видел! — прерывает его Н.Р., ударив кулаком по подоконнику. Он сидит все еще спиной к посетителям. — Что же вы, хлябь вашу твердь, против меня заказали антиалкогольную статью?!

— Алеко Никитич! — осторожно встречает Индей Гордеевич. — Вы знаете — я спиритизмом не балуюсь, но я тоже видел...

«Продает! — тоскливо думает Алеко Никитич. — Сразу продает...»

Он начинает искать выход:

— Честно говоря, я тоже в окне видел какое-то свечение...

— Значит, и вы видели! — итожит Н.Р. и продолжает: — А теперь скажите мне, хлябь вашу твердь, если вы тоже видели, почему я получаю на четвертый день анонимные письма? Почему народ считает, что его обманывают, скрывая факты очевидного невероятного? Почему ваша газета до сих пор не выступила с научными доказательствами абсурдности того, что все, в том числе и мы с вами, видели? А? Почему, хлябь вашу твердь?! Кто редактор газеты? Вы или я? Если я, то уступите мне ваше кресло, а вы садитесь в мое и отвечайте на законные интересы трудящихся!..

— У нас в некотором роде журнал, а не газета, — мягко говорит Алеко Никитич, — периодическое издание... раз в месяц... Мы не можем столь оперативно...

Н.Р. разворачивается в кресле на сто восемьдесят градусов, поднимает голову и видит, что перед ним стоят Алеко Никитич и Индей Гордеевич. Сотрудники журнала «Поле-полюшко», хлябь их твердь!.. И он с достоинством исправляет положение:

— Вижу. Не слепой... Но газета какова?.. У Чепурного-то что вместо головы?

— По правде говоря, — Алеко Никитич оживает, — Чепурной хоть и неплохой журналист, но не для главного редактора такого оперативного органа, каким является газета...

«Продает! — думает Индей Гордеевич. — Сразу продает!»

«Закладывает, хлябь его твердь! — думает Н.Р. — Тут же закладывает!»

— Что же касается нашего журнала, — смеется Алеко Никитич, — то тут мы с Индеем Гордеевичем уже кое-что прикинули... Обстоятельный отпор дать, конечно, уже не успеем, но врезочку вразумительную тиснем...

— Да уж, это нужно, — разрешает Н.Р. — А у вас то что стряслось?

Алеко Никитич вынимает из портфеля рукопись и кладет ее на стол Н.Р. Индей Гордеевич некстати зеваает.

— Что это вы, хлябь вашу твердь, как драный кот? — смотрит Н.Р. на Индея Гордеевича.

— Объясню, все объясню, — извиняется он.

— Произведеньице нам тут подсунули, — докладывает Алеко Никитич. — Случай не совсем обычный. В другой-то раз так и черт с ним... Завернем — не обеднеем... У нас редакционный портфель переполнен... Но есть подозрение, что автор не совсем рядовой, а имеет отношение к... — Алеко Никитич многозначительно указывает пальцем и глазами на потолок...

— К чему имеет отношение? К тому, что на небе висело? — усмехается Н.Р.

Но когда Алеко Никитич озабочен, ему не до шуток.

— Если бы, — говорит он со вздохом. — Но тут берите выше... Автор, по некоторым сведениям, чей-то важный сын... А в таких случаях мы должны быть особенно ответственны и внимательны... Нельзя, понимаете, потакать, но опасно и травмировать... Тем более что не каждый день к нам обращаются на таком уровне... И для престижа журнала, а может быть, и всего города...

— Откуда вам известно, что он чей-то сын? — спрашивает Н.Р., и в голосе его звучит строгость.

— Мне лично неизвестно, — зевает Индей Гордеевич. — Я его не видел...

«Страхуется! — думает Алеко Никитич. — На всякий случай страхуется!»

— С одной стороны, есть сведения, — говорит он. — А с другой стороны, я его видел...

— Он что, паспорт вам предъявил? — спрашивает Н.Р.

— Нет. Но производит впечатление... Русский такой... Со светлыми глазами... У меня нюх собачий... Еще с центральной газеты... И взгляд у него уверенный... Нахальный...

— Это в каком смысле? — строго уточняет Н.Р.

— В хорошем смысле, — тут же перестраивается Алеко Никитич. — В смысле достоинства...

— Да! — вдохновенно произносит Н.Р. — Молодежь сейчас сильная подрастает, волевая! Такую молодежь надо поддерживать! Зеленую улицу! Открытые двери!..

— А если он не из той молодежи? — осторожничает Алеко Никитич.

— А скажи мне, Алеко, хлябь твою твердь! — Н.Р. встает из-за стола и в носках ходит по кабинету. — Кто хозяин журнала? Ты или я? Если я, то давай мне свое кресло, бери мое... И зарплату мою бери!.. И ответственность мою бери!.. А я к тебе буду приходить и вопросы задавать!.. А ты меня распекать будешь!.. «Что это у тебя, Н.Р., — скажешь ты, — в журнале творится?.. А? Хлябь твою твердь!.. Что это твой художник, как его, Бабенлюбен, что ли, рисовать себе позволяет? Мне тут звонят, понимаешь, солидные люди, уважаемые товарищи, возмущаются... Романтику совсем запустил!.. А где наши сегодняшние Ромео, хлябь вашу твердь?! Джульетты где?.. Где место подвигу, хлябь вашу твердь?! А?» — спросишь ты у меня!..

— Кстати, Алеко Никитич, — вмешивается, прикрывая зевок ладонью, Индей Гордеевич, — с Дамменлибеном пора кончать!

«Опять продает!» — думает Алеко Никитич.

— А вас вообще не спрашивают! — гаркает Н.Р. — Хоть вы и правы!.. Приходите на прием черт знает в каком виде! Небритый! Зеваете, хлябь вашу твердь! Как будто всю ночь дрова грузили!..

— Индей Гордеевич ретив стал не по годам, — многозначительно вставляет Алеко Никитич.

«Топит! — думает Индей Гордеевич. — Топит, подлец!»

— Я объясню, — оправдывается он. — Я все объясню...

— Объяснять буду я! — кричит Н.Р. — Для чего вы притащили мне эту вещь? — Он трясет рукописью перед носом Алеко Никитича. — Кто решает? Вы или я?.. Если вещь отвечает — печатайте! Если не отвечает — в корзину!.. Хотите переложить на меня ответственность?

— Нет. Но если автор вещи — чей-то сын, то...

— У него что, на лбу написано, что он чей-то сын?

— Вот мы и хотели вас просить... помочь кое-что выяснить... У вас связи, прямой выход...

— Выход? На кого?.. Как фамилия автора вещи?

— В том-то и дело, что фамилии нет...

Н.Р. садится в кресло, придвигает к себе телефон, отодвигает стакан с чаем, кладет папку в ящик стола, вынимает из футляра очки, перелистывает календарь, поправляет стакан с карандашами, достает папку из ящика, прячет очки в футляр, отодвигает телефон, придвигает стакан с чаем.

— С вами не соскучишься, хлябь вашу твердь! Автора нет! Фамилии нет, а Н.Р. должен выяснить?..

— Хотя бы приблизительно, — настаивает Алеко Никитич. — Узнать бы, у кого дети лет двадцати пяти... Девушки отпадают... Брюнеты и рыжие отпадают... Нацменьшинства отпадают... Посольские дети нас не интересуют — невелики шишки... Да и министерские — выборочно...

Н.Р. вновь придвигает настольные атрибуты руководителя, и ход мыслей его примерно таков: если автор чей-то сын и вещь выходит в журнале, а Н.Р. не в курсе, то главные купоны сострижет Алеко, хлябь его твердь! Если автор не чей-то сын, а вещь напечатана и скандала нет, то и бог с ней, но если вещь напечатана и возникает скандал, то главный удар обрушится

на Н.Р., даже при условии быстрого упредительного увольнения Алеко, хлябь его твердь. Если вещь не напечатана и автор просто автор, то и ладно. Перебьется. Но если вещь не напечатана, а автор чей-то сын, то получается, что Н.Р. либо перестраховщик, либо у него что-то личное по отношению к отцу автора, и никакое увольнение Алеко не поможет. Что же делать? Попытаться по своим каналам выяснить, чей же сын автор? Задача для сумасшедшего, конечно, но выхода нет. Нельзя только, чтобы инициатива предложения исходила от Алеко. Надо прийти к этому выводу самому...

Глядя, как Н.Р. играет настольными атрибутами руководителя, Алеко Никитич соображает: вот мы и подцепим Н.Р. к нашему составу в качестве паровозика... С-с-с... Ну, допустим, автор — сынок. Тиснули мы его произведеньце. Начинается «ура». Но кому «ура»? «Ура» сверху донизу по лесенке, а главное «ура» — Н.Р. Алеко Никитичу кричать «ура» не будут. Ему в лучшем случае «ура» пропищит на ушко Н.Р. Алеко Никитич знает, как это делается. А на черта ему сдалась эта похвала Н.Р.? Невелика шишка... Хорошо бы, конечно, его обойти, тиснуть произведеньце этого автора, а он и вправду оказывается сынком. Тут есть, конечно, шанс выиграть и успеть собрать основной урожай, оставив Н.Р., как говорит Колбаско, «за флагом»... Но такая ставка рискованна. Лошадка уж больно затемнена... А вдруг автор не сынок?.. А мы уже тиснули!.. И кое-кому не понравилось! А Н.Р. не был поставлен в известность! С-с-с... Что с ним будет, то с ним будет... Как говорится, его собачье дело... Но то, что Алеко Никитичу головы не сносить, — факт! Он знает, как это делается. Так что уж лучше, как говорит тот же Колбаско, «сыграть на фаворита — может, и не наваришь, но при своих останешься»... А ведь время, да и возраст таковы, что главное — остаться при своих... Вот пусть он и позвонит, и почешется. Мы его прицепим. Паровозик стоит —

и состав стоит. Паровозик тронулся — и вагончики за ним поехали. Доехали — хорошо. Крушеньице? Печально. Но ведь не вагончики виноваты. Их паровозик вез...

Индей Гордеевич зевает и несколько раз ловит себя на том, что засыпает. Прямо здесь, в кабинете Н.Р., стоя рядом с Алеко Никитичем перед Н.Р. Но в борьбе со сном он изо всех сил старается не пропустить основное... У Никитича игра своя, у Н.Р. — своя, а у Индея Гордеевича — своя. В случае выигрыша они с Индеем Гордеевичем делиться не будут. В случае скандала Никитич постарается сделать из него козла отпущения и с потрохами продаст его Н.Р. Так зачем, спрашивается, ему, Индею Гордеевичу, влезать в игру вообще? Поехали, Ригонда!.. Стоп! Не спать! Не спать!.. Не надо ему влезать в эту игру. У него своя аккомпанирующая партия... Пиано!.. Пиа-ниссимо!.. Не надо это печатать! Не надо!.. Это и будем напевать заранее на мотив «Пролога» из Леонкавалло... Играть, когда точно в бреду я... Ни слов своих и ни поступков не понимаю... Стоп! Не спать! Не петь! Стоять!.. Постараться зафиксировать свои сомнения... А стоит ли? А может, не надо?.. Ассоциации... Аллюзии... Зачем? Кому?.. Поехали, Ригуша! Стоп! Не спать! Стоять! Думать!.. Ну, вышла повесть. Ну, успех. Виноват. Недооценил... Казалось... Теперь вижу, что ошибался... Но ведь не со зла, а из лучших побуждений... Я ведь хотел как лучше... Я всегда хочу как лучше... Поехали, Ригуша!.. Стоп! Не спать! Стоять! Соображать!.. Ну, пожурят, пошутят... Козел ты, Индей Гордеевич... Но ведь на фоне общего успеха — несмертельно... А если скандал? Так я же заранее говорил, помните? Еще в кабинете Н.Р. И на редколлегии опасался... И Ригонда подтвердит... Стоп!.. Не спать! Стоять! Решать! Гнать! Держать! Слышать!.. Дышать!.. Терпеть... вертеть... смотреть... обидеть... ненавидеть... зависеть... Гнать всех!.. Терпеть всех!.. Ненавидеть всех... Зависеть ото всех!..

— Слушайте, хлябь вашу твердь! — бьет Н.Р. кулаком по столу. — Идите и спите дома! А мы здесь без вас разберемся!..

— Объясню!.. Все сейчас объясню! — возникает из небытия Индей Гордеевич. Настал его момент. Сейчас он выскажет Н.Р. свое мнение. Он зевает в последний раз. Сон как рукой сняло. Смелость необыкновенная! Легкость и эйфория. — Прошу прощения, но при крайнем физическом утомлении у меня совершенно ясная голова, и лично я считаю, что зря мы связываемся с этим произведением, какому бы автору оно ни принадлежало.

— Интересно, — говорит Н.Р.

— Весьма интересно, — подхватывает Алеко Никитич.

— Да, да, — продолжает Индей Гордеевич. — Журнал наш читаем всеми слоями населения — и школьников, и домохозяйками, и пенсионерами...

— Так это же прекрасно! — восклицает Алеко Никитич и, ища поддержки, смотрит на Н.Р.

— Прекрасно, — соглашается Индей Гордеевич, — но не совсем. Произведение оказывает определенное воздействие на некоторые аспекты человеческих взаимоотношений.

— Так это ж хорошо! — понимает Н.Р. — Вот почему вы зеваете!

— Это началось сразу после прочтения, — таинственно говорит Индей Гордеевич и продолжает: — Поэтому я и боюсь, что если произведение окажет такое же действие на школьников, на рабочий класс, на колхозников, то последствия могут быть непредсказуемы... Интеллигенция — черт с ней! Она нас не читает.

— Ну вот что! — Н.Р. встает из-за стола. — Я это прочту. — Он кладет руку на произведение. — Проверю. — Пододвигает телефон, отодвигает стакан с чаем. — Посоветуюсь с кем следует, и решим! — Достает из ящика папку и, отодвинув телефон, снова кладет ее в ящик. — А вы пока работайте, засылайте в набор, ил-

люстрируйте... Только Бабенлюбену не давайте, хлябь его твердь! Голову оторву!

Н.Р. придвигает телефон, втискивает ноги в туфли и, застегнув пиджак, набирает номер.

— Пельземуха Сергеевна? — ласково поет он в трубку. — Добрый день, дорогая... Как здоровье? Супруг как?.. Ну и отлично... Кланяйтесь ему... Пельземуха Сергеевна, сам у себя?.. Соедините меня с ним, как освободится... Спасибо, милая... — Н.Р. кладет трубку, выбирается из туфель, отодвигает телефон, придвигает стакан с карандашами, достает из кармана платок, разворачивает его, складывает вчетверо, прячет в карман, отодвигает стакан с карандашами и заканчивает сурово: — Так и передайте! И ему голову оторву, и вам, хлябь вашу твердь!

Н.Р. вяло машет рукой в сторону двери, и Алеко Никитич с Индеем Гордеевичем выходят из кабинета.

А Н.Р., держа руку на телефоне, наугад открывает рукопись и читает:

«Уже несколько дней и ночей Чикиннит Каело не покидал свою приемную террасу, составляя все новые и новые пламенные воззвания горожанам, и уже несколько дней и ночей не сводили глаз с приемной террасы четыре представителя службы молчаливого наблюдения, ожидая знака Чикиннита Каело, но любезный посетитель, бритоголовый бородач, не появлялся. А события принимали довольно скверную окраску... Па-па-па... Пе-пе-пе... Никогда еще великий мадрант и его страна не были так сильны, как сегодня. Никогда еще небо над нашими головами не было столь безоблачным. Людоеды из Страны Поганых Лиц... Па-па-па... Жалкие людоеды из Страны Поганых Лиц... пе-пе-пе... Презренные людоеды из Страны Поганых Лиц затеяли против мадранта Великий Поход... пе-пе-пе... поход, равносильный самоубийству. Все ближе к нашим берегам их неуклюжие тихоходные фрегаты. И каждая, даже самая ничтожная волна, и каждое, даже самое легкое дуновение ветра приближают... па-па-па... неотвратимо приближают их к неминуемой гибели... пе-пе-пе... неминуемо приближают их к не-

отвратимой гибели... па-па-па... неизбежно и неминуемо приближают их к неотвратимой... пе-пе-пе... Чикиннит Каело вытер пот... Небо! Взгляни, как устал несчастный Чикиннит Каело!.. Оцени, высокий мадрант, величайшую степень преданности тебе Чикиннита Каело!.. Пе-пе-пе... Но наше непобедимое, уверенное в своих силах воинство улыбается врагу всеми амбразурами своих укреплений. Оно встретит непрошеного пришельца смехом сабель и хохотом свинца!.. И уже слышится в воздухе знакомое «кляц-кляц-кляц». Это стучат от страха их поганые челюсти!.. Па-па-па... И уже раздается в воздухе знакомое «клоц-клоц-клоц». Это дробятся о священные камни их поганые желтые кости!.. И в этот радостный тяжелый час... Пе-пе-пе... Слишком сильно... И в эту радостную тяжелую минуту... находятся отдельные маловефы... па-па-па... находятся два-три маловефа, которые боятся некогда любимейшего пса нашего мадранта, а ныне взбесившееся собачье отродье, которое скачет по горам, вызывая законный смех и ненависть даже у женщин, стариков и детей своими безвредными злобными выходками!.. Чикиннит Каело сделал два глотка тонизирующего миндаго... И многим из этих двух-трех маловефов, которым наверняка мозги припекло временным солнечным переревом, представляется по ночам некий Ферруго, призывающий собак разорвать своих хозяев... пе-пе-пе... забыв, что подлинная собака готова жизнь отдать за своего хозяина... па-па-па... выдавая желаемое за действительное, кое-кому кажется, что кое-какие горожане и рыбаки, следуя призывам несуществующего Ферруго, уходят в горы и там обезоруживают армейские отряды, забывая о том... Что это? Неужели Чикиннит Каело почувствовал желание?... Жеггларда! Жеггларда!.. Так и есть!.. Будь проклято это воззвание!.. Чтобы именно сейчас... Жеггларда... Забывая о том... пе-пе-пе... что в действительности некоторые горожане и рыбаки... па-па-па... ох, Жеггларда... уходят в желанные горы и проводят там свободное время... Жеггларда... в тенистой прохладе скалистых гор и вершин... я спешу к тебе, Жеггларда... мирно общаясь с воинами мадранта, которые добровольно дают им поиграть своим оружи-

ем... па-па-па... пе-пе-пе... па-па-па... пе-пе-пе... обними меня, Жеггларда!.. И горожане в патриотическом порыве... крепче, Жеггларда... предлагают воинам своих жен, которые в томительном экстазе... я разрушаю тебя, Жеггларда-а-а... издают любовный крик... па-па-па...

...Чикинниту Каело стало легче... Прочь, Жеггларда! Нашла время будоражить Чикиннита Каело! Позор какой!.. Жара...

Пот градом лил с Чикиннита Каело... издают любовный крик, который кое-кем из малOVERов принимается за призывный клич обезумевшего животного...

Чикиннит Каело обрел прежнюю поступь... тем более что нет никакого Ферруго, потому что он просто не существует... пе-пе-пе... Но даже если бы и возник такой сумасброд, то каждый честный горожанин его выследит, схватит и бросит к ногам мадранта, за что будет произведен в ревзоды, о чем великий мадрант уже издал соответствующий указ, ибо стать ревзодом мечтает любой простой горожанин... па-па-па... Успокойся, Карраско! Умерь свой гнев! Завтра все горожане как один устрелятся к твоей пылающей от жажды вершине и в горстях принесут тебе драгоценную живительную воду, чтобы напоить и умиловать тебя, священная Карраско, и обратить твой гнев на несуществующего Ферруго, который накликал на нас небывалую временную жару и тем вызвал твое справедливое негодование!.. Па-па-па... Напоим же завтра Карраско, которая есть! Отловим сегодня Ферруго, которого нет! И ждут нас прохлада и счастье, которые нам подарит за это высокий и славный мадрант!..

И довольный созданным, Чикиннит Каело в изнеможении откинулся на спинку кресла.

Бритоголовый возник перед ним неожиданно, как из воздуха, значительно раньше условленного срока... Па-па-па... У Чикиннита Каело так заколотилось сердце, что стало казаться, будто бритоголовый слышит этот звук. Но бритоголовый, так же бесстрастно глядя на Чикиннита Каело своими зелеными глазами, протянул ему свернутый в трубочку лист дорогой бумаги. Ферруго благодарит хозяина

«Альманаха» за желтый камень и, ободренный, предлагает Чикинниту Каело новое творение, рассчитывая на удачу и доброе расположение... Пе-пе-пе... Несомненно, любезный посетитель, несомненно... Чикиннит Каело, тяжело дыша, с трудом подавляя волнение, поднялся и, подойдя к оконному проему, раздвинул вьющиеся живые занавеси, что являлось знаком для четырех представителей службы молчаливого наблюдения... Па-па-па... Конечно, любезный посетитель... Вот только душно сегодня, не правда ли?

А четыре представителя службы молчаливого наблюдения уже вышли из своих укрытий.

Чикиннит Каело дрожащей рукой взял у бритоголового листок дорогой бумаги и, еле передвигая ставшие вдруг свинцовыми ноги, вернулся на свое место... Пе-пе-пе... Сейчас, сейчас, любезный посетитель... О небо, па-па-па... как же трудно дышать старому Чикинниту Каело!

Но ему не стало легче даже после того, как на бритоголового набросили черный мешок и, перевязав цепями, выволокли на улицу.

Душно! Нет спасения от духоты!.. Пе-пе-пе... Чем-то тяжелым бьют Чикиннита Каело по затылку и по вискам. А написанное на дорогом листке бумаги расплывается, и буквы становятся красными и затевают какую-то невероятную пляску.. Па-па-па...

Раба свою жизнь проживает по-рабски в тоске по свободе.
Хвалит вчера, проклинает сегодня, надеясь

на завтра.

Но наступает его долгожданное завтра... И что же?

Он уже хвалит все то, что вчера предавалось

проклятью...

Он проклинает все то, что вчера ему было надеждой,

Снова надеясь на завтра, и завтра опять

наступает...

Только раба уже нет – он вчера перебрался в могилу,

Детям своим завещая надежду на новое завтра...

Что же рабу в его жизни проклятой тогда остается,

Если вчера шнур он никогда возвратит не сумеет,

*Если извечное за в т р а несчастный увидеть не сможет?
Только одно – утолить свою жажду свободы с е г о д н я!..*

Па-па-па... Пе-пе-пе... Кто же этот Ферруго?

Но Чикиннит Каело уже не узнает, кто такой Ферруго, он не поднимет голову, когда к нему войдет новый, взамен казненного, старший переписчик и увидит сидящего на своем месте Чикиннита Каело с листком дорогой бумаги в руках. На его лице застынет вопрос, на который он уже не получит ответа. И не услышит Чикиннит Каело нового мощного рыка священной Каффраско, и даже заметить не успеет Чикиннит Каело, что он уже умер».

Но странное дело. Ничего похожего на то, что говорил этот взбесившийся Индей, Н.Р. не испытал. В его воображении прошли все заслуживающие внимания женщины, но ни одна не затронула его больше, чем обычно... Ариадна Викторовна на пляже, грудью деформирующая лицо Демиса Руссоса на майке. Длинноногая мулатка с острова Фиджи, затанцевавшая его до сердечного приступа, до потери сознания, до падения с ушибом носа об ее крутое бедро. И всё. И лишь высказывание капитана пассажирского лайнера: «Чай вприкуску, мулатка – вприглядку». И только...

Ни даже товарищ Анчутикова из мордовского облсовпрофа со своими зазывными песнями и оленьими шкурами. Ноль. Пустой звук...

Раздался телефонный звонок, и Пельземуха Сергеевна бесстрастно произнесла: «Соединяю».

Н.Р. опять втиснулся в туфли и превратился во внимание...

XIII

Бестиев появляется в редакции, как всегда, неожиданно. Никто никогда не может сказать, в какой момент он явился. Не было, не было – и вдруг есть. Поправляет волосы, смотрится в зеркало. «Красив! Дьявольски красив!» Гладит ручку Ольге Владимировне.

– Ну что там?

- Где?
- Там. — Смотрится в зеркало. — С рукописью. — Ужасно нюхает собственные подмышки.
- По-моему, собираются печатать.
- Да? — Поправляет волосы, шумно затягивается. — А тебе нравится? — Пускает дым в Ольгу Владимировну.
- Нравится. — Ольга Владимировна отмахивается от дыма.
- Бестиев выходит от Ольги Владимировны.
- А что нравится? Скажи, что нравится? — спрашивает Бестиев у Зверцева, который все еще правит Сартра.
- Не знаю. Я правлю Сартра.
- Сартра? — Бестиев дымит в лицо Зверцеву. — А кто это? — Смотрится в зеркало. — Что-то я такого не слышал. Олдриджа знаю... Как ты говоришь? Сартра? — Грызет орехи. — Он кто?.. Философ?.. — Записывает Сартра в записную книжку. — А что это за стихи, если в них нет рифмы? — Это Бестиев отрывает пуговицу у Свища.
- Белые стихи. Гекзаметр.
- Как ты говоришь? Гекзаметр? — Записывает «гекзаметр» в записную книжку. — А про что? Скажи, про что?
- Не знаю. Ритмика... Пластика.
- Никто не знает! — Бестиев теребит Сверхщенского. — Про рабов? А кто такие рабы? — Бестиев смотрится в зеркало. Садится напротив Дамменлибена. — Смысл-то в чем?
- Б-б-ардак совсем зашиваюсь ты с Катюхой помирился? Она х-х-хорошая деваха слушай дай пятерку тебе на дачу перевезти...
- Вот вы умный человек. — Бестиев угощает Индея Гордеевича фирменными сигаретами. — Чего вы в нем нашли?
- Между нами говоря, я тоже против. Но это строго между нами.

— Я со всеми говорил. — Бестиев входит к Алеко Никитичу. — Никому не нравится. — Бестиев успевает посмотреться в зеркало. — Свищ плюется, Зверцев морщится. — Алеко Никитич втягивает носом воздух. Бестиев принюхивается к своим подмышкам. — Сверхщенский не понимает, Индей Гордеевич против! — Бестиев грызет орехи. — Одной Оле нравится, но она известная дурочка!..

— Слушайте, Бестиев, произведение спорное, но, безусловно, стоящее.

— Будут у вас неприятности! Вспомните меня! — Бестиев обкусывает яблоко. — Вместо того, чтобы своих печатать...

У Бестиева высокоразвитое чувство опасности. Он боится публикации этого проклятого произведения. Он чувствует, что будет шум. Всплывет новое имя. Зашебуршат критики. И о нем забудут... «Но мы еще посмотрим...»

АНОНИМНОЕ ПИСЬМО, ПОЛУЧЕННОЕ Н.Р.

«Уважаемый и дорогой товарищ Н.Р.!

Вынужден оторвать Вас от важных и полезных дел, коими Вы занимаетесь, не жалея ни сил, ни времени. События последних недель заставили меня обратиться прямо к Вам, зная Ваш честный и непримиримый подход к явлениям, безобразящим и порочащим нашу действительность. В обстановке напряженной идеологической борьбы, когда на нас клеветают с Запада и пытаются оболгать с Востока, недопустимым является факт появления произведений, которые фактически льют воду на ту и другую мельницы. Речь идет о готовящейся публикации в журнале «Поле-полюшко», том самом журнале, который снискал себе популярность и славу как у нас, так и у прогрессивных читателей за рубежом чистыми и свежими веяниями многих молодых писателей (Бестиев и др.), о публикации произведения, мягко говоря, вызывающего недоумение честного читателя, к каковому с полным основанием себя причисляю. Автор опуса неизвестен. Само, с позволения сказать, произведение написано на выдуманную тему. Время действия надуманно. Проблемы — несуществующие. Образы сомни-

тельные, пошлые и затасканные. Видна попытка осквернить русский язык и навевать насильственные ассоциации. «Произведение» напичкано сальностями и фривольностями. Главный герой — государственный деятель, узурпатор, палач, казнящий и топящий в крови собственное население за чтение каких-то непонятных и к тому же нерифмованных стихов. Согласитесь, все это пахнет сюрреализмом в самом мрачном его проявлении. И странную позицию заняло руководство журнала, которое, вопреки здравому смыслу, взяло под защиту это вредное графоманское творение. Что побуждает главного редактора п р о п и х и в а т ь (извините за грубое слово) выше-названное произведение? Взятка? Корыстный расчет? Не исключаю! Зависимость от распоясавшихся клеветников типа А. Гайского, погрязшего в разврате и спекуляциях, одаривающего дочь главного редактора янтарными ожерельями? Не исключаю! Кто защищает позорные страницы? Зав. отделом прозы Зверцев, в голове которого сидит некий Сартр? Не исключаю! А какие строчки приводят в восторг гр-на Свища из отдела Пегаса? «Раб свою жизнь проживает по-рабски в тоске по свободе. Хвалит вчера, проклинает сегодня, надеясь на завтра...» И он, малограмотный поэт и некомпетентный редактор, прикрывает свою шаткую позицию, называя эту подлую мазню гекзаметром? Не исключаю! Ну что в этих строчках? Ну скажите, что? Захлебывается от восторга, прочтя эту стряпню, редакционная машинистка — женщина без принципов и морали, откровенно сомнительного поведения! Им подпевают, надеясь на режим наибольшего благоприятствования, декадентствующий поэт Колбаско и спившийся публицист Вовец, печально знаменитый своими двусмысленными псевдоафоризмами. Заместитель главного редактора — единственный, кому откровенно не нравится этот наскоро испеченный поклеп. Но он вынужден молчать и соглашаться. Коррупция? Запугивание? Не исключаю! И в этом оголтелом хоре тонет честное большинство голосов тех, кому дороги чистота и ясность нашего литературного климата. Не хочу быть голословным, уважаемый и дорогой товарищ Н.Р., и снабжаю Вас отрывком из этой порочной пачкотни, по которому, я уверен, у Вас сложится должное и непредвзятое собственное отношение. Отрывок этот попался мне случайно, и я счел своим долгом ознакомить Вас с ним. Речь в этом отрывке идет о казни некоего шута, который, кстати сказать, является еще и гомосексуалистом! И э т о они хотят протащить на страницы журнала!

«Черный мешок с бритоголовым бросили к ногам Первого ревзода. А когда сняли цепи, вынули из мешка схваченного и поставили на ноги, Первый ревзод остолбенел – на него смотрел своими наглыми зелеными глазами, обнажив в гадкой улыбке кривые желтые зубы, шут мадранта...

Кого притащили, безмозглые олухи, Первому ревзоду?

Пусть успокоится миленький ревзодик, красивенький ревзодик, умненький ревзодик! Безмозглые олухи притащили ему того, кого надо, кто недавно приходил к старенькому Чикинниту Каело, того, на кого набросили черненький мешочек и сделали больно его нежному тельцу железными цепочками... Ох, и посмеемся мы сегодня с высоким мадрантам над Первым ревзодом! Ох, и пощекочет шут пяточки Первого ревзода! А Первый ревзодик будет делать вид, что ему тоже смешно и приятно, и пальчиком не посмеет он тронуть шута, потому что мадрант обожает своего шута и никому не позволит его обидеть!..

Да, шутовское отродье, ты прав! Первому ревзоду будет особенно смешно и особенно приятно, когда ты выдашь ему своего Ферруго или того негодяя, который скрывается под именем Ферруго.

Шут поджал одну ногу и принял позу цапли. Любопытство погубит когда-нибудь Первого ревзода, и все его бедняцкие женушки и детеныши слезами зальют могилку своего благоверного супруга и любящего отца... Клик-клок... На кого ты покинул нас, ненаглядный ревзодик?.. О, лучше б ты был глупеньким и тупеньким!.. Любопытство сгубило нашего ревзодика!.. И шут запричитал и стал кататься по земле в неутешном горе.

И тогда Первый ревзод велел поставить шута на ноги и привести в чувство ударом бамбуковой жерди. Нет, не праздное любопытство заставляет Первого ревзода терпеливо сносить дурацкие выходки, а единственное желание выдрать с корнем ядовитый сорняк и растоптать, чтобы никогда вредоносные семена не попали в благородную почву. И ты, шут, неведомо почему оказавшийся в услужении у выродка, искупишь свой грех перед страной и мадрантом, ука-

зав нам убежище Ферруго. И Первый ревзод обещает тебе, а Первый ревзод не бросает слов на ветер, что остаток своих дней – ведь ты не так уж и стар – ты проведешь в почете, богатстве и славе. Десять самых лучших женщин будут отданы тебе в жены, чтобы ласкать твои уши небесным песнопением, щекотать твои ноздри зовущими запахами, услаждать твою плоть бархатными телами, если ты назовешь нам Ферруго...

Удары посыпались один за другим. Плесните на него водой, и пусть встанет и внимательно посмотрит с этого холма на город. Где? В какой стороне Ферруго?..

Протри лицо шуту, Первый ревзод, слезы умиления застилают ему глаза... Сухой белой тканью шуту вытерли лицо, и, глядя на раскинувшийся внизу город, он протянул руку в направлении востока... Там Ферруго!.. Потом – в направлении юга... Нет, там Ферруго!.. Или не там... А может быть, там?..

У бедняги испортилось зрение? Стали плохо видеть его зеленые глаза? Так прогрейте ему очи! После этого он наверняка сможет разглядеть, где Ферруго!

Голову шута запрокинули так, чтобы стоявшее в центре неба солнце было прямо в глаза, веки его растянули вверх и вниз, и раскаленное светило стало опускаться все ниже и ниже... Все жарче, все горячее... Вот оно уже закрывает небо, и начинает выливаться в глазницы, и заполняет череп, и вытекает через уши, обжигая лицо, шею и плечи... И вдруг погасло, и наступила тьма. Тьма была и после того, как шута привели в сознание. Он облизнул сухие губы... Тьма, сплошная тьма, Первый ревзод! Как возможно в такой крошечной ночи отыскать Ферруго!.. И шут попытался улыбнуться.

Первый ревзод дал знак дворцовому палачу Басстио... А может быть, шут напряжет свой слух и в шуме города различит шаги Ферруго или распознает его голос, разносящий собачьи творения?..

Чья-то рука легла шуту на плечо, и он узнал знакомую шершавую ладонь палача Басстио.

Шут-шутнице! Это я, Басстио, твой старый друг. Ну что тебе дался какой-то Ферруго? Я же не хочу делать тебе больно, но я не могу послушаться Первого ревзода... Шут-шутнице! Я же хочу, чтобы все было хорошо. Я хочу болтать с тобой по вечерам и слушать твои смешные истории, после которых легче становится палачу Басстио... Шут-шутнице! Еще не поздно. Да пусть Первый ревзод подавится этим Ферруго! Неужели ты не слышишь, что говорит тебе твой старый друг Басстио?.. Шут-шутнице! Он приказывает... Ну что тебе стоит?.. Прости меня, шут... И дворцовый палач Басстио отсек шуту оба уха.

Первый ревзод терпеливо ждал, пока шута приводили в чувство.

Дворцовый палач Басстио плакал, опершись о топор.

Шут подполз к Басстио и прислонился спиной к его ноге, чтобы можно было сидеть... С этого бы и начинал, Первый ревзод, а не с каких-то нелепых, лживых обещаний... Мы поладим с тобой, Первый ревзод, мы найдем с тобой общий язык раньше, чем ты прикажешь выдрать мой язык из глотки. Сама судьба моими устами скажет тебе, кто такой Ферруго... Только очень хочется пить...

Первый ревзод кивнул, и шуту поднесли большую чашу прохладной воды.

Пусть принесут шуту тонкую соломинку – он хочет поиграть сначала в свою любимую игру.

Первый ревзод кивнул, и шуту принесли тонкую соломинку.

Шут склонил свое лицо над чашей, и кровь стала капать в нее и капала до тех пор, пока чаша не наполнилась до краев. Тогда шут взял в рот конец соломинки, а другой конец ее опустил в чашу... И взбурлил, и вспенил кровавую жижу остатками своего воздуха, и начал выдувать большие мутно-красные пузыри, и они поплыли над городом в неподвижном от зноя пространстве. И шут улыбался своей затее... Разве не нравится Первому ревзоду любимая игра шута? Видит ли он, куда летят мои пузыри? Они летят по прихоти неба, и там, где опустится последний из них, там и следует искать Ферруго... Не правда ли, веселая игра?.. А мутно-красно-

вавые пузыри все плыли и плыли в неподвижном воздухе и опускались на крыши домов и хижин, на городскую площадь, на обрыв Свободы. И дети изо всех сил дули на них, не давая опуститься на землю, а старшие испуганно молились, видя в этом дурное предзнаменование. И, достигнув все же земли или какой-либо крыши, они беззвучно лопались, оставляя после себя лишь мокрое красное кольцо... И последний из них медленно опустился на дворец мадранта. И тогда шут захохотал... Вот и вся моя игра, Первый ревзод! Вперед же, во дворец! К мадранту! И он скажет тебе, кто такой Ферруго!..

И Первый ревзод понял, что шут от боли и пыток лишился рассудка и нет в нем больше никакого проку. И дал он знак палачу Басстио, чтобы тот прикончил шута.

И палач Басстио сделал это.

И не стало больше на свете его лучшего друга шута-шутыща. Он прекратил свое существование в этом мире для того, чтобы потом снова возникнуть (когда только?) в другом облике (каком только?) и дурачить людей – или выпрыгивая из воды смеющимся дельфином, или страшно ухая по ночам филином, озадачивая всех своей тайной...»

Уважаемый и дорогой Н.Р.!

Умоляю Вас не считать мое искреннее, продиктованное болью в сердце письмо грязной анонимкой, против чего я решительно борюсь всю свою жизнь. Но я не ставлю свою фамилию, во-первых, чтобы не сложилось впечатления, будто я свожу личные счёты со своими неединомышленниками, а во-вторых, я просто боюсь быть подвергнутым гонениям и литературному остракизму.

С любовью и уважением

Читатель».

XIV

Алеко Никитич сидит у себя в кабинете, откинувшись на спинку кресла... С-с-с... Задачи перед ним возникли нелегкие. Н.Р. зря слов на ветер не бросает... Он не забудет того, что говорил тогда о подвиге, и не слезет

с Алеко Никитича до тех пор, пока не увидит в журнале соответствующий материал. Тут никакими врезками не отделаться... С-с-с... Кстати, надо получить от Колбаско разоблачительные стихи по поводу слухов о летающей тарелке... И этот австралийский Бедейкер приезжает... Совсем не вовремя... Алеко Никитич еще надеялся, что приезд фанберрских гостей отменится или по крайней мере перенесется. Но нет. Телеграмма, полученная утром, не оставила никаких надежд... С-с-с... Алеко Никитич автоматически перечитывает лежащую перед ним на столе телеграмму:

«Господин Бедейкер делегацией прибывает в Мухославск празднование годовщины побратимов Мухославска Фанберры двадцатого числа сего месяца. Обеспечить соответствующий уровень».

Н.Р. уже звонил по этому поводу. Он тоже в курсе... С-с-с... Алеко Никитич склоняется над столом и пишет основу будущего приказа.

- «1. Встреча в аэропорту. Отв. — А.Н.
2. Размещение в гостинице. Отв. — И.Г.
3. Посещение химкомбината. Отв. — А.Н.
4. Пресс-конференция в редакции. Отв. — А.Н. и И.Г.
5. Прием (банкет) в редакции. Отв. — А.Н., И.Г., Свищ. (Утрясти меню с Рапс. Мург.)»

Кого пригласить на прием — тоже проблема. Кто будет выступать и что будут говорить — еще какая проблема! Не дай бог, кто что ляпнет! Бедейкер хоть и левых взглядов, но австралиец... С-с-с... Основные темы разговоров: мир, дружба, окружающая среда...

Мысли Алеко Никитича прерываются стуком в дверь. Он прячет свои пометки в стол и разрешает войти.

Колбаско выглядит бледным и понурым. Он здоровается, открывает свой «дипломат» и кладет на стол лист с напечатанными строчками.

— Вот, — говорит он. — То, что вы просили.

— Садитесь, Колбаско, — приглашает Алеко Никитич. — Что с вами? Случилось что-нибудь?

Колбаско моргает, вздыхает:

— Лажа, Алеко Никитич... Семейная лажа...

— Не понимаю.

— Лажа. Людмила к матери ушла. Галопом в столб. Проскачка...

— Причины?

— Не знаю. Дал ей рукопись прочитать — она наутро ушла.

Алеко Никитич встревожен:

— Уверены, что из-за рукописи?

— Да, наверно, — отвечает Колбаско. — Накануне все было нормально.

Колбаско вздыхает.

— Говорили с ней? — спрашивает Алеко Никитич.

— По телефону.

— И что?

— Я, говорит, очнулась от страшного сна... Я, говорит, жила взаперти, я не понимала, что такое любовь... Знаете, Алеко Никитич, она очень впечатлительная... Когда я за ней ухаживал, я дал ей прочитать «Хижину дяди Тома»... Это произвело на нее сильное впечатление, и она вышла за меня замуж... Потом мы прекрасно жили, и она ничего, кроме моих стихов, не читала... Не надо мне было давать ей рукопись...

Колбаско тяжело вздыхает.

— Держите себя в руках, Колбаско, — успокаивает Алеко Никитич. — Поверьте мне: время — лучший лекарь... Одумается, поймет...

— Если честно сказать, — Колбаско переходит на доверительный тон, — я боюсь, что она за это время пристрастится к чтению и увидит, что есть лучше меня...

— Не наговаривайте на себя, Колбаско. — Алеко Никитич подходит к нему и по-отечески похлопывает по плечу. — Вы поэт даровитый, самобытный... А Пушкин рождается раз в тысячу лет... Все образуется... Давайте посмотрим, что вы там сочинили...

Он берет листок и читает вслух:

СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ ПО ПОВОДУ СЛУХОВ
О ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКЕ 24 ИЮЛЯ

Чушь болтают, будто нам порой ночью
На тарелке поднесли сюрприз...
Это просто я поссорился с женою —
Выбросил в окошко новенький сервиз.

— Ну что? — интересуется Колбаско.

— По-моему, неплохо, — про себя перечитывая написанное, говорит Алеко Никитич. — И образ есть, и игра ума...

— Мне тоже так кажется, — оживляется Колбаско.

— Только вот что я думаю. — Алеко Никитич садится в кресло. — Я думаю, не следует вам в вашей ситуации подставлять семейный борт. Зачем надо всем знать, что у вас конфликт? А?

— Я даже об этом не думал, — бормочет Колбаско и покрывается красными пятнами.

— Товарищ Фрейд сработал, — улыбается Алеко Никитич. — Давайте заменим... Пусть не вы, а кто-то поссорился с женою... Поищите что-нибудь интересное...

Колбаско напряженно ищет и вскоре находит.

— Есть! — кричит он. — «Это Агафон поссорился с женою!..» Агафон! Понимаете? И абстрактно, и в народном ключе!..

— Совсем другое дело! — радуется Алеко Никитич. — В этом варианте мы дадим стихи на обложку с карикатурой! — Он снимает трубку. — Теодор? Зайди-ка ко мне!..

Через минуту в кабинет входит Теодор Дамменлибен.

— П-п-привет Никитич зд-д-орово Колбаско жара что слышно? Бардак я такие рисунки сделал крик! Привет Колбаско вы с Людмилкой поцапались? Слушай ты мою Нелли знаешь она умная женщина нельзя так слушайте Никитич как вам нравится Боливия?

Бардак щенок всюду гадит Петенька сочинение на пять написал ваша Глория молодец бардак...

— Подождите, Теодор, отдохните, — перебивает его Алеко Никитич. — Тут Колбаско стихи неплохие принес. Надо к ним карикатуру и в номер на обложку...

Дамменлибен читает стихи и закатывается от хохота. Перечитывает и снова хохочет.

— Б-б-леск! — кричит он. — Б-б-леск!.. Я нарисую в окне Агафона и в небе сервиз, на котором написано «Ресторан»!.. Б-б-леск!

— Только прошу вас, Теодор, — предупреждает Алеко Никитич, — чтоб Агафон был похож на Агафона, а не на вашего тестя.

— Слушайте Никитич! — взрывается Теодор. — У нас на фронте все равны были и Агафон и мой тесть бардак Колбаско ты с Людмилкой помирись у меня Нелли умная женщина слушайте Никитич не дадите мне сотню? Мне надо машину выкупать бардак щенок всюду гадит...

— Позвоните Глории, — говорит Алеко Никитич, — если у нее есть, она вам не откажет.

— Б-б-леск! Б-б-леск! — повторяет Дамменлибен и, схватив стихи Колбаско, выходит из кабинета.

Колбаско некоторое время сидит, зачем-то открывает «дипломат», снова закрывает, наконец встает:

— Ну, я пойду, Алеко Никитич?

— Спасибо, Колбаско! — Алеко Никитич пожимает Колбаско руку. — Налаживайте семью, а заплатим мы хорошо — по два рубля за строчку.

Колбаско идет пятнами.

— По три, — говорит он.

— Не сходите с ума, — говорит Алеко Никитич. — Мы в свое время Твардовскому по два платили... А вам, уж бог с вами, по два пятьдесят натянем... За срочность.

— По три, — тихо произносит Колбаско, пытаясь смотреть в окно. — По три плюс аккордная оплата.

— Бухгалтерия не утвердит.

— Забираю стихи и несу на телевидение, — словно не Алеко Никитичу, а пролетающей за окном птичке говорит Колбаско.

— Только без угроз!.. По три, но без аккордной оплаты.

— Грабьте! — не может скрыть волнения Колбаско. — Идет!..

«Скушал по три, — думает Алеко Никитич, когда дверь за Колбаско закрывается. — Мог и по пять запросить... Пришлось бы на четыре соглашаться...»

«Так с ними! — думает Колбаско, когда дверь за ним закрывается. — Только так! Дурачка решил найти! По два платить! Не вышло! Колбаско не объедешь!.. Трижды четыре — двенадцать, и Вовец — шесть сорок... Не так уж плоха жизнь!..»

Вечером на ипподроме Колбаско поставит всю свою наличность, связав Сладенького из пятого заезда с Зубаткой (так он в быту называл Людмилку), но Сладенький уже с приема сделает гробовой сбой, а на Зубатке поедет другой наездник. Так что до конца испытаний поэт будет щелкать рубли у знакомых и незнакомых беговиков и время от времени кричать в сторону судейской ложи: «Жулики!» Но это будет вечером, а пока счастливый Колбаско выходит из редакции журнала «Поле-полюшко» и повторяет про себя: «Так с ними! Только так!»

XV

Потный и тучный Рапсод Мургабович появляется у Алеко Никитича после обеда. Он тяжело дышит и выпивает два стакана воды из сифона. При росте 163 см он весит 98 кг. Он в подвернутых джинсах и в рубашке «Меркурий» с закатанными рукавами. Под мышками синеют два влажных пятна. В левом кармане — две паркеровские авторучки. Часы «Сейко». На обеих руках. Два носовых платка. Один — под воротничком рубашки «Меркурий», другим Рапсод Мургабович обмахивается.

— Совсем с ума сошел с этой статьей, честный слово! — кричит он. — Клянусь мамой, никогда нэ сочинял! Легче народ накормить!..

— Я тут меню прикинул, — говорит Алеко Никитич. — Взгляни. Чего нет — вычеркни. Что упустил — добавь.

Рапсод Мургабович вынимает одну из паркеровских авторучек и склоняется над меню.

— Нэту, — вычеркивает он, — нэту... нэту... нэту... Слушай, колбаса-молбаса зачем выписал?.. Отравить австралийца хочешь?.. Лучше дам шесть банка югославской ветчины... Так? Цыплят венгерских дам... Тридцать штука... Так? Сервелат финский... Пять палка... Так?.. Компот вьетнамский... Пятнадцать банка... Так?

— А чего-нибудь нет национального? — спрашивает Алеко Никитич. — Под соки...

— Огурцов могу дать болгарских... Пару банка... Так?.. Пять белых соков, пять красных соков... Хватит?

— Добавь пяток виноградных... для дам...

Рапсод Мургабович что-то вписывает, бормочет под нос наименования каких-то товаров, что-то вычеркивает и протягивает листок Алеко Никитичу.

— Отпечатай, подпиши и печать нэ забудь... Я с собой заберу... — он выпивает еще один стакан воды. — Умираю, клянусь мамой!.. Слушай, пять ночей нэ спал! Все твое эсце-месце сочинял... С ума сошел!.. Машина специально купил! Жена говорит: «Э! Рапсоджан! Совсем с ума сошел?.. Ты что, гиган?.. Сароян, что ли?..»

— Посиди здесь, — говорит Алеко Никитич. — Я требование оформлю...

И он направляется по коридору в сторону кабинета машинистки Ольги Владимировны.

Рапсод Мургабович достает из заднего кармана джинсов «эсце» и обмахивается одновременно и «эсце», и носовым платком. Рапсод Мургабович слукавил, конечно, насчет пяти бессонных ночей... Саро-

ян он, что ли?.. Он просто взял последнюю передовую о работниках торговли из «Вечернего Мухославска» и придал ей свое личное отношение, навставляя где надо и не надо «я так думаю», «мне кажется», «это мое личное мнение»... Отличное получилось «эсце».

ЭСЦЕ

Работник торговли — торговый работник

С каждым годом растет благосостояние, как мне кажется, трудящихся. Выработанный курс на повышение эффективности, интенсификации производства требует от трудовых коллективов и в сфере торговли рачительного хозяйствования, я так думаю. Не меньшее значение имеет и постоянно растущий уровень требований к работнику советской торговли, но это мое личное мнение. Честность, профессионализм, психологический подход к покупателю — неотъемлемые черты советского, я так думаю, торгового работника, как мне кажется. На прошедшем недавно июньском заседании горисполкома я выступал, по-моему, с докладом «О дальнейшем улучшении работы предприятий розничной торговли в нашем городе». Выступившие в прениях товарищи прямо заявили о дальнейшем росте уровня обслуживания покупателей в целом ряде продовольственных магазинов города, я думаю.

Вместе с тем имеются еще в большом количестве отдельные случаи наплевательского отношения к потребителю, по моему убеждению, в виде обвешивания, обслуживания из-под прилавка, снабжения с черного хода, мне кажется. Проблема очередей в продовольственных магазинах является первоочередной проблемой в большом, как мне кажется, торговом хозяйстве.

Городской исполком, по моему глубокому убеждению, одобрил инициативу гастронома № 2 работать честно. «Каждый украденный грамм — это грамм, украденный у народа!» — сказал в своем выступлении продавец мясного отдела А.В. Васильчук. Широкую поддержку следует оказывать движению пенсионеров Рыбного переулкa за развитие всестороннего самообслуживания: «Сам отрежь, сам взвесь, сам заплати».

Вместе с тем в гастрономе № 4, куда меня привели, как мне кажется, холодильные установки не работали. В одной камере рядом с кондитерскими изделиями стояли две бочки осетинского сыра на обмен, который уже испортился, и от него исходил неприятный, по моему глубокому убеждению, запах. Тут же лежало 23 килограмма, по-моему, колбасы вареной, которая тоже уже покрылась плесенью и завоняла. Но это мое личное мнение.

Покупатель, как мне кажется, не должен покупать испорченные и гнилые продукты. Наоборот. Его, по-моему, всегда интересуют свежие товары.

В то же время до сих пор на одном из складов сыпучих и мучных товаров хранится замечательная рисовая каша в эстетически приятной упаковке, но негодная к реализации, я так думаю, потому что в ней завелись мучные черви, по моему глубокому убеждению.

Товарищи! Я нарочно сгущаю краски, как сказал в своей речи председатель горторга т. Мякишев, если не ошибаюсь. Но мы все — и покупатели, и продавцы — советские люди. Это мое личное мнение. И от того, какой продукт съест человек сегодня, зависит и то, какую продукцию он выдаст завтра. Процесс производства неотделим от процесса потребления, по-моему.

Огромно, но еще совершенно недостаточен приток в торговую сеть молодых интересных кадров. Пока еще, я так думаю, юноши и девушки стремятся за прилавки для удовлетворения своих постоянно растущих требований. Когда потребители перестанут ненавидеть и подозревать продавцов, как мне кажется, в нечестности, когда наступит обратная картина, тогда за прилавки встанет по-настоящему сознательная молодежь, по-моему, которая придет не ради жадности наживы, а исключительно потому, что не мыслит свою жизнь без мяса, без молока и, как мне кажется, без других продуктов питания.

Эссе, которое я пишу, если не ошибаюсь, — результат глубоких и трудных размышлений, по-моему. Оно не является догмой. Это мое личное мнение. Но этим, по моему глубокому убеждению, я так думаю, хотелось бы открыть на страницах журнала дискуссию, в которой бы приняли участие все заинтересованные в дальнейшем подъеме нашей торговли, как мне кажется, читатели.

В заключение, если не ошибаюсь, разрешите выразить, как мне кажется, глубокую благодарность и, это мое личное убеждение, признательность руководству журнала «Поле-по-

люшко» за то, что оно предоставило, я так думаю, возможность поделиться наболевшим. Милости просим всех работников редакции в магазины и торговые точки нашего города. Помоему.

Р.М. Тбилисян, директор гастронома
«Центральный», бывший призер областной
спартакиады по вольной борьбе,
аспирант.

В ожидании Алеко Никитича Рапсод Мургабович, не находя себе места от духоты, расхаживал по его кабинету, отдувался, обмахивался, фыркал, прикладывал платок к потному лицу, вытирал шею и в конце концов в изнеможении плюхнулся в кресло главного редактора. И тут он увидел лежавшую на столе рукопись с пометками Алеко Никитича. На столе разбросано было много разных записей, бумаг и рисунков, но внимание Рапсода Мургабовича, помимо его воли, сконцентрировалось именно на этой — с пометками Алеко. Рапсод Мургабович не имел обыкновения совать нос в чужие дела, а тем более бумаги. Он попытался смотреть в окно, затем подошел к шкафу, в котором стояли все номера «Поля-полюшка», вышедшие за семь лет. Начал считать. Досчитал до сорока девяти и снова сел в кресло Алеко Никитича, уже не в силах оторваться от разложенных на столе листов. Шевеля губами, он склонился над шестьдесят второй страницей, той самой, на которой была раскрыта папка с рукописью...

«Да, мадрант, ты можешь верить Первому ревзоду. Именно шута схватили по знаку Чикиннита Каело, именно он оказался тем бритоголовым бородачом. И, не желая беспокоить тебя, мы сами произвели дознание. Но бедняга помешался в ходе следствия, и нам пришлось его прикончить, чтобы он не издевался над нами и никогда больше не произносил слов, которые Первый ревзод не в состоянии повторить в присутствии высокого мадранта... Нет-нет! Скорее земля разверзнется подо мной, чем я повторю слова этого безумца!.. Он сказал, перед тем как умереть, что высочий мадрант знает, кто такой Ферруго...»

Мадрант вскинул правую бровь и засмеялся, отчего холодок пробежал по спине Первого ревзода... Ну что ж, кем бы ни был несчастный для Ферруго, но мы воздадим ему посмертные почести, ибо он был славным шутком мадранта и умер как подобает шуту...

Да будет твоя воля священна, высокий мадрант, но Совет ревзодов связывает гнев Карраско, появление Ферруго, Великий Поход Поганных Лиц и беспорядки в стране с одним-единственным днем – днем появления во дворце твоей чужеземки, мадрант... И Первый ревзод готов сейчас же заплатить жизнью за слова, которые он передал мадранту от имени Совета ревзодов: чужеземная женщина должна исчезнуть, и тогда смилостивится Карраско, волны поглотят армаду Страны Поганных Лиц, сгинет Ферруго и упокоятся горожане...

И ревзод втянул голову в свои покатые плечи, словно боясь, что мадрант сейчас ударит его.

Мадрант встал. Судьба чужеземки, как и всех остальных в этой стране, находится в руках мадранта. Что же касается Ферруго, то если до Новой луны он не будет схвачен, мадрант клянется напоить изнывающий от жажды город кровью, и ни один из не выполнивших приказа мадранта не станет исключением, даже Первый ревзод, который может убираться, и чем быстрее, тем лучше, потому что времени у него не так много...»

Рапсод Мургабович проглотил липкую, вязкую слюну... «Это про меня и про мой магазин! — подумал он. — Кто-то сводит счета, но боится назвать имена. Какой-то подлец решил от меня избавиться...»

Рапсод Мургабович знал, что подчиненные за спиной называют его «диктатором», «Наполеоном», «зверем» за то, что все в магазине в его воле и власти. Он — хозяин. Он сам живет хорошо, но и другим дает жить. Тем, кто заслуживает. За это его ненавидят, завидуют, хотя делают вид, что любят, именно те, которых он держит... Собаки! Продажные шкуры!.. Но кто? Кто же из них все это расписал... Заместитель? Завскладом?.. Бухгалтер?.. Кто?.. И на что наме-

кает неизвестный гад? На месьть? На расплату?.. На национальное происхождение? Так они все у него не очень... Кроме завскладом. Но тот и двух слов связать не может... Не то чтобы создать такой хитро-художественный поклеп... И Рапсод Мургабович яростно стукнул по столу увесистым кулаком...

«Из дворцового окна Олвис могла видеть бесконечно длинную вереницу горожан, поднимавшихся по склону расцветшей Карраско. Подгоняемые воинами, горожане пытались удерживать в своих ладонях воду, которой они должны были напоить Карраско и тем умиловить ее («Глупость какая! Кто это мог выдумать?»). А священная Карраско и вправду разбушевала не на шутку. Из утробы ее время от времени исходил громоподобный рык, от которого содрогалось все вокруг и в ужасе переглядывались люди. Дым, выходящий из пасти, стал совершенно черным и образовал над головой Карраско зловещую гигантскую шапку. Карраско шипела и плевалась раскаленными докрасна камнями, разбрызгивая огненную слюну. («Красиво, черт побери, но страшно. Ведь это похоже на извержение, мадрант! Надо смыываться, а?»)

Но мадранта, казалось, ничего не интересовало. Он почти все время проводил в черном зале и выходил оттуда вроде бы только для того, чтобы взглянуть на Карраско. Он долгу стоял у окна и вслушивался во что-то, а потом, как бы очнувшись, улыбался Олвис. Не страшно ли принцессе?..

Нет, мой мадрант. Принцесса настолько предана тебе и так верит в твою силу, что ей не страшно ни капельки. («А смотаться не мешало бы, пока не поздно».)

Сейчас мадрант неожиданно обнял ее за плечи, и она прорывисто прижалась к нему, передав этим прикосновением желание его телу.

Возьми меня, сумасшедший человек! Мне наплевать, кто ты – мадрант или Ферруго. Я не хочу больше ждать, пока кто-то из вас победит. Ты одинок. Я развею твое одиночество. Со мной ты забудешь про походы и казни, ты ни разу не вспомнишь отвратительного ревзода. Я обещаю тебе... Так возьми же меня! Губы мои пересохли, и голова кружится...

Господи!.. И Олвис почувствовала приближение божественной судороги, и пальцы ее рук впились в спину мадранта.

Но в этот момент священную Карраско вырвало, и огненно-красное содержимое полилось свирепым потоком вниз по склону, превращая в тлен все живое и неживое. Горожане, поднимавшиеся вверх, с воплями устремились назад, поднимая и топчя друг друга, и лишь немногим удалось добежать до города.

И теперь не боится принцесса озверевшей Карраско?

Нет, она не боится, мадрант, но Карраско в своем гневе причиняет людям страдания и горе!

Мадрант может умиловать Карраско, но для этого он должен убить принцессу. Ты слышишь, Олвис, мадрант должен убить тебя...

Так убей меня, мадрант! Только сначала возьми! Я твоя, мадрант! Возьми и убей!

Нет, Олвис, мадрант не сделает этого, потому что мадрант не раб! Он свободен так же, как свободен Ферруго. Пусть все будет так, как предсказала старая, слепая Герфинда. Мадрант любит тебя, Олвис, но у него есть власть. У Ферруго нет власти над тобой, но это не значит, что он достоин твоей любви меньше, чем мадрант. С твоей смертью погибнет и Ферруго, но горько и позорно будет мадранту от такой победы. Поэтому только мадрант может убить Ферруго и только Ферруго может убить мадранта!..»

Рапсод Мургабович зарычал. И об этой истории вспомнили, сволочи! Конечно, про Валечку идет речь. Про девчонку из торгового техникума, клянусь мамой... Так что же, Рапсод Мургабович не может полюбить девчонку из торгового техникума?.. Он не соблазнял ее, не спаивал, не угрожал. Он просто превращался в виноградное желе, когда ее видел... Да, он хотел, чтобы ее оставили работать в его магазине, и он сделал все, чтобы ее оставили... Да, он дарил ей дорогие подарки, но не потому, что покупал ее, а потому что хотел. Хотел делать — и делал! И не какие-нибудь дешевые колготки, а французские духи за 80 руб.! И не плитку вонючего лежалого шоколада, а золотое колеч-

ко с камнем!.. И не в заплыванный «Парус» приглашал ее ужинать, а в Сочи с ней на субботу и воскресенье!.. И, кабы не жена с ребенком и не должность, женился бы! И плевал бы на разницу в возрасте!.. Но не Валечка же решила накатать все это!.. А может быть, ее паренек? Двадцатилетний сопляк, которого однажды Рапсод Мургабович вынужден был просто побить... Вполне возможно!.. Ух, гнилое поколение! Крикуны недоделанные! Топтуны вокально-инструментальные! Волосатики бритоголовые!.. И Рапсод Мургабович аж передернулся, когда представил, что может быть, если про историю с Валечкой узнает Гаяне...

«Палач Басстио и его помощники работали не покладая рук, а воины доставляли из города все новых и новых задержанных. Первый ревзод лично учинял допрос каждому, прежде чем передать его в руки палача. Одни из горожан целовали ноги Первого ревзода и плакали, утверждая, что никогда в жизни не видели и не знали никакого Ферруго, другие принимали смерть молча, как нечто неотвратимое и должное, третьи успевали крикнуть: «Да здравствует Ферруго!» или «Смерть мадранту!» – но никто из них, и это Первый ревзод чувствовал, действительно не имел отношения к Ферруго. Двое рыбаков приволокли связанного сумасшедшего старика и, ссылаясь на указ мадранта, потребовали произвести их в ревзоды, утверждая, что связанный старик и есть Ферруго. Но когда старика развязали, он стал мочиться прямо на Первого ревзода и произносить непристойности. Его обезглавили, а простодушных рыбаков, перед тем как прикончить, заставили пить кровь казненного сумасшедшего. Тогда по приказу Первого ревзода по всему городу появились воззвания, в которых именем мадранта обещались жизнь и свобода Ферруго, если он добровольно предстанет перед глазами мадранта. И к середине дня перед мадрантом уже стояли двадцать горожан, каждый из которых утверждал, что именно он и есть Ферруго. Мадрант с нескрываемым презрением оглядел всех и каждому посмотрел в глаза, но ни один из них не выдержал его взгляда... Понимали они, что в лучшем случае девятнадцать из двадцати

лгут, и чем докажет тот единственный двадцатый, что именно он Ферруго?..

И самозванцы по очереди произносили вслух творения Ферруго, вкладывая возможно большую страсть и ненависть. И мадрант улыбался, слушая их, а Первый ревзод, стоявший рядом, уже рад был бы любого признать как Ферруго, потому что времени до Новой луны оставалось все меньше и меньше...

Ну что же, если Первому ревзоду кажется, что именно пятый, или двенадцатый, или восьмой действительно Ферруго, то пусть Ферруго порадует нас новыми творениями, которые еще неизвестны Первому ревзоду и мадранту. Ведь Ферруго нечего бояться. Слово мадранта – закон. Ферруго ждут жизнь и свобода.

Но пятый, и двенадцатый, и восьмой только мычали что-то невразумительное.

А потому пусть поторопится Первый ревзод в поисках настоящего Ферруго. Двадцать лжецов, обманувших мадранта и решивших купить себе славу, жизнь и свободу чужими словами, должны быть повешены, и на спине у каждого следует написать красными буквами: «Я предал Ферруго тем, что я не Ферруго».

И когда украсили городскую площадь телами самозванцев, горожане ликовали, ибо это означало, что Ферруго жив и на свободе. И молча взирал на страшную гирлянду лишь Первый ревзод.

К исходу дня казни прекратились, потому что казнить было некого. Последние горожане покидали город и уходили в горы, посылая проклятья в сторону дворца и с тревогой поглядывая на вершину священной Кафраско, почти совсем скрытую большим черным облаком, которое время от времени вспарывали острые ослепляющие молнии. Воинские кордоны уже не в состоянии были остановить этот великий исход и присоединились к горожанам. Тех же, кто пытался проявить остатки преданности мадранту, убивали на месте. Люди размахивали синими знаменами, в центре каждого из которых красовалась белая голова собаки. К ночи в погрузившемся во мрак опустевшем городе оставались только

ревзоды, мадрант и небольшой отряд его личной охраны. Совет ревзодов уже много часов подряд пытался и все никак не мог принять решения.

Именно сейчас Первому ревзоду был необходим Ферруго, уже не ради сохранения собственной жизни, а ради спасения страны и всего того, чему свято служили и он, и его предки в течение почти двенадцати столетий. Войти в контакт с Ферруго, выяснить, чего он хочет, вселяя в горожан смуту своими творениями, и попытаться направить весь гнев этого собачьего движения против мадранта и затем с помощью ревзодов убить мадранта, вылив таким образом умиротворяющее масло в бушующее море. А затем предложить Ферруго занять дворец мадранта и стать мадрантом. И пусть Ферруго не называет себя мадрантом. Пусть назовет себя кем угодно и пусть ревзоды перестанут именоваться ревзодами... Первый ревзод нечестолюбив. Он никогда не завидовал мадранту и не представлял себя на его месте. Кому быть мадрантом, в конце концов решает небо. Он же должен оставаться Первым ревзодом при любом из них. И Ферруго, не имея опыта и осведомленности в государственных делах, будет нуждаться в советах и помощи Первого ревзода, и мудрый, хитрый Первый ревзод очень скоро сделает так, что Ферруго сперва поверит ему, а потом себе, и постепенно убедится в том, что он не зря занимает дворец мадранта, а обожание, с каким горожане относятся к Ферруго, позволит делать с ними все, что заблагорассудится. Им же будет казаться, что они добились своего, возвратив себе «гордое имя – Собака», избавившись от одного и избрав себе другого мадранта. Так уже было однажды в истории страны, и нынешний мадрант сам происходит от появившегося семьсот лет назад смутяна, в то время как родословная Первого ревзода чиста с незапамятных времен до сегодняшнего дня...

И пока Первый ревзод думал о своем, рассеянно слушая предложения остальных ревзодов, горы вспыхнули неожиданно тысячами костров и факелов, посыпалась горохом на город сухая дробь воинственных барабанов и донеслись до ушей ревзодов призывные боевые кличи. И показалось Перво-

му ревзоду, что повис над городом, вытягивая кишки, широко вибрирующий вой бешеного мадрантового пса.

И когда мадрант из своего окна увидел, что огни пришли в движение и поплыли вниз по направлению к городу, с каждой минутой делая ночь все светлее, он понял, что воля и власть мадранта, его суровые указы и великодушные одаривания, топоры Басстио и зубы священнных куймонов, наконец, безграничная любовь и преданность ему горожан оказались слабее двух десятков слов, рожденных свободным Ферруго, и почти звериный крик, выражавший и радость, и ненависть одновременно, вырвался из его груди...»

На этом месте вошел Алеко Никитич и протянул Рапсоду Мургабовичу по всем правилам оформленное требование. Рапсод Мургабович спрятал требование в карман, встал с кресла и, указав на рукопись, спросил мрачно:

— Напечатаешь?

— Пока все идет к тому, — ответил Алеко Никитич.

— Руки нэ подам! — сказал Рапсод Мургабович. — Прокляну!... Детям накажу! Внукам!.. Вечным врагом будешь.

Алеко Никитич опешил:

— Что с тобой, Рапсод?

— Клянусь мамой! — кричал Рапсод Мургабович, делаясь красным. — Плевать в твою сторону буду!.. Застрелюсь!.. В тюрьму сяду, а позора нэ потерплю!.. Ты мой друг! Я твой друг!.. Тебе икра нужна — бери икру! Рыба красный нужна — бэри рыбу! Апэлсины — апэлсины бери! Рапсод другу никогда не откажет! Рапсод, напиши эсце — Рапсод ночей не спит, с ума сходит — эсце пишет! Рапсод понимает: один раз живем, друзьям помогать надо!.. Я к тебе за помощью нэ обращался! Мне твоя помощь нэ нужна! Я гордый. Я могу весь твой журнал купить и туалетной бумагой обмотать! И я нэ обеднею!.. Но когда Рапсоду на ногу наступают, в Рапсоду звер просыпается!..

— Слушай, Рапсод, дорогой, да что, наконец, происходит? — не понимает Алеко Никитич.

— Нэ понимаешь, да?

— Не понимаю.

— Вот так и знай! Напечатаешь — имя Рапсода забудешь!

— Ты освежись, дорогой, — говорит Алеко Никитич и кладет руку на плечо Рапсоду Мургабовичу, — и потом спокойно все объяснишь... Главное, чтоб с банкетом все было нормально...

Рапсод Мургабович сбрасывает руку друга с плеча.

— Имя Рапсода забудешь! Так и знай! — выкрикивает Рапсод Мургабович и, пыхтя, выкатывается из кабинета.

...С-с-с... Все спятили... То ли перегрелись, то ли действительно от летающей тарелки, то ли это... Алеко Никитич опасливо косится на рукопись... Может, прав Индей Гордеевич?.. С-с-с... Сегодня утром Алеко Никитич все же решился. Он нашел в старой записной книжке телефон и позвонил. Он сразу узнал Симинову мать и удивился столь молодожаво звучащему голосу. Алеко Никитич поздоровался и, откашлявшись, представился... После паузы он услышал: «Подонков попросу больше не звонить...» Так и заявила... Дело, конечно, хозяйское, но уж что-что, а подонком Алеко Никитич никогда не был и таковым себя не считал... Просто все спятили... С-с-с...

XVI

Господин Бедейкер с супругой и сопровождающей его свитой, официально именуемой «делегацией из австралийского города-побратима Фанберры», прибыл в Мухославск в пятницу в одиннадцать часов утра. Ритуал встречи был продуман и утвержден заранее. Алеко Никитич хотел, чтобы встреча в Мухославском аэропорту и дальнейшее следование кортежа по центральной улице транслировались по телевидению, но Н.Р. сообщил, что Москва этого не утвердила, ибо никакого политического значения приезд не должен иметь. Отменены были исполнение гимнов, почетный караул, ковровая

дорожка от самолета до здания аэровокзала и эскорт мотоциклистов. Разрешены были краткие приветственные речи, тексты которых заготовили заранее, и упредительный «газик» мухославской ГАИ.

Встречать господина Бедейкера решено было всем коллективом. В помещении редакции по банкетно-хозяйственным делам остались только машинистка Ольга Владимировна, вахтерша Аня и жена Свища. Среди встречающих также были делегации спичечной фабрики и химкомбината. У всех в руках были флажки с гербом города Фанберры и цветные воздушные шарик. Как только самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, объединенный духовой оркестр производственно-технических училищ № 2 и № 7 грянул припев английской солдатской песни «Типерери» и играл этот припев до тех пор, пока серебристый лайнер не подрулил к стоянке и официально встречающие лица не двинулись. Впереди медленно шагали Н.Р., Алеко Никитич с супругой и переводчица. Чуть сзади шествовали Индей Гордеевич, директора спичечной фабрики и химкомбината, Бестиев и Сверщенко. Далее — все остальные. Идти до самолета предстояло метров пять—десять, и встречающие переговаривались между собой, как водится в таких случаях, вполголоса. Но так как говорить было не о чем, то разговор шел о погоде.

— Повезло ему с погодой, — сказал Н.Р.

— Да уж, — откликнулся Алеко Никитич.

— А интересно, какая погода в Фанберре? — полубопытствовала Глория.

— Там сейчас зима, — вставил сзади Индей Гордеевич.

— Погода, надо сказать, замечательная, — сказал Н.Р.

— Исключительная погода, — согласился Алеко Никитич.

В этот момент Индей Гордеевич с ужасом прошипел в спину Н.Р.:

— Хлеб-соль!

— Хлеб-соль где? — процедил Н.Р. Алеко Никитичу.

– Хлеб-соль! Хлеб-соль! – пронеслось среди встречающих.

Свищ стремглав бросился к зданию аэровокзала. Через минуту оттуда выбежала жена начальника аэропорта в расписном переднике, держа на вытянутых руках каравай и солонку из ресторана. Она успела как раз к тому времени, когда подали трап и дверца фюзеляжа открылась. Появившаяся стюардесса некоторое время пыталась кого-то не выпускать, но ее оттолкнули, и по трапу сбежали пятнадцать темномастных мужчин, кричавших что-то на своем языке и оживленно жестикулировавших.

Жена начальника аэропорта бросилась было к ним с хлебом-солью, но стюардесса закричала:

– Это не им! Они не делегация! Это свои! Привезли фрукты на рынок!..

Зато потом все было нормально. На трап ступил господин Бедейкер – огромный полный мужчина. Он приподнял свою ковбойскую шляпу и замахал свободной рукой. Встречающие в ответ тоже замахали руками и флажками. Жена начальника аэропорта с хлебом-солью уже стояла у трапа.

Бедейкер отломил кусок хлеба, обмакнул его в соль и жадно съел. Все ждали, пока он прожует. Бедейкер прожевал, проглотил, опять замахал руками и неожиданно отломил еще кусок.

– Их не кормили? – шепотом спросила Глория.

– Пусть ест, – буркнул Н.Р.

Наконец Бедейкер уплел весь каравай, спрятал в сумку вышитое полотенце и сделал шаг в направлении встречающих.

– Целовать? – тихо спросил Алеко Никитич.

– Целуете только вы, – деловито ответил Н.Р., – и однократно.

– Но это не по-русски...

– Однократно! – тоном, не вызывающим возражений, повторил Н.Р.

— Чарльз! — закричал Алеко Никитич. — Привет, дорогой! С приездом!

И, обняв Бедейкера, он нанес ему в еще соленые губы затяжной дружеский поцелуй.

Когда все пережали друг другу руки, Н.Р. сделал шаг вперед и произнес:

— Добро пожаловать, господин Бедейкер, на гостеприимную древнюю землю солнечного Мухославска!..

Раздались аплодисменты, после которых Н.Р. достал из кармана приветственную речь.

— Дорогой господин Чарльз Бедейкер! — прочитал Н.Р. — Дорогие господа, члены делегации из далекого австралийского города-побратима Фанберры! Как вы только что сказали в своей приветственной речи...

Переводчица начала переводить на ухо Бедейкеру, и тот сделал изумленное лицо.

— Он еще не выступал, — вполголоса сказал Алеко Никитич, улыбаясь, будто ничего не произошло.

Н.Р. и бровью не повел. Он сложил вчетверо свою речь, спрятал ее в карман и широким жестом пригласил Бедейкера к микрофону.

— Слушаем вас, господин Бедейкер! — сказал он.

Бедейкер тоже достал из кармана свою речь и стал читать:

— Уважаемый господин Н.Р.! Уважаемый Алеко Никитич! Как вы только что сказали в своей приветственной речи, разногласия в политических взглядах между нашими странами не должны омрачать дружбу и взаимосимпатию между нашими народами...

— Я еще ничего не говорил! — испугался Алеко Никитич.

— Скажете! — тихо произнес Н.Р. — Пусть продолжает.

«На аэродроме г-н Бедейкер обратился к встречающим с ответной теплой речью».

(Из газеты «Вечерний Мухославск»)

До гостиницы кортеж, состоявший из «газика» начальника мухославской ГАИ и двух черных «Волг», проследовал по главной улице города вдоль живого коридора выстроившихся работников спичечной фабрики и химкомбината. Сзади кортеж сопровождал мотоцикл с коляской, ведомый тестем художника Дамменлибена, бывшим заместителем начальника мухославской ГАИ. В коляске в вечернем платье, с каской на голове величественно сидела теща художника Дамменлибена. Она широко улыбалась стоявшим по пути мухославцам, приветливо делала им ручкой и повторяла то и дело: «Здравствуйте, здравствуйте, товарищи!» В сопровождении Алеко Никитича и переводчицы господин Бедейкер поднялся в специально подготовленный для него трехкомнатный «люкс» на втором этаже. Алеко Никитич пожелал ему хорошо отдохнуть с дороги и спустился в холл, где его ожидал Н.Р., которому не годилось провожать господина Бедейкера в номер.

XVII

Прием господина Бедейкера в редакции журнала «Поле-полюшко» состоялся в 17.30 того же дня. К этому времени фанберрского гостя уже ждали все сотрудники редакции и приглашенные. В последний момент стало известно, что не приедет Н.Р. Многие облегченно вздохнули, полагая, что отсутствие Н.Р. создаст во время приема и банкета непринужденную обстановку. Все толпились в конференц-зале, украдкой поглядывая на расставленные в виде буквы «Т» столы с угощениями и напитками.

— Теперь так, — приставал к Индею Гордеевичу известный в Мухославске писатель-почвенник Ефим Дынин, — а ежели я, к примеру, спрошу его про Общий рынок? Запросто спрошу, напрямик. Тогда что?

— О чем угодно, — советовал Индей Гордеевич, — только не об Общем рынке.

Публицист Вовец, успевший к этому времени потихому опрокинуть бокал сока под болгарский огурчик, встрял с шуткой:

— А вы его спросите, почем помидоры на Общем рынке, так?

— Какие помидоры? — не понял шутку Дынин.

— Да это шутка, так? — захохотал Вовец. — Шутка!

— С шутками тоже поосторожнее, — строго заметил Индей Гордеевич.

— А если я, к примеру, спрошу, как у них с крупным рогатым скотом? Запросто, напрямки, а?

— У них хорошо с крупным рогатым скотом, — скрывая раздражение, ответил Индей Гордеевич. — А если не о чем спрашивать, то лучше помолчать.

Художник Дамменлибен только что повесил на стену игривый коллаж-монтаж и, стоя рядом, наблюдал, какое впечатление коллаж-монтаж производил на присутствующих. Затея Дамменлибена представляла собой красочное панно на темы «Вальпургиевой ночи» в воображении художника. Лица сотрудников и писателей, вырезанные из фотографий, были приклеены к мужским и женским телам, взятым из полупорнографических журналов. В самом центре панно плотоядно улыбающийся Алеко Никитич с телом культуриста-производителя взирал на Глорию с ярко выраженными русалочьими бедрами. Образы не соответствовали оригиналам, и все спрашивали у Дамменлибена, что он хотел этим сказать.

— Б-б-леск! — хохотал Дамменлибен. — Дико смешно!

— Ты все-таки, Теодор, зад Глории заклей, — советовал Индей Гордеевич, — она может обидеться.

— Ч-че-п-п-уха! — кричал Дамменлибен. — Вы мою Нелли знаете она умная женщина все свои люди а как Ригонда?

— Ригонда ничего, — довольно ответил Индей Гордеевич, ища глазами Ригонду, которая кокетничала в углу с Бестиевым.

Тело Ригонды было взято из рекламы женских колготок из французского журнала «Она». Поэт Колбаско и Людмила были изображены под роскошным одеялом, изо рта у Колбаско торчал пузырь с надписью «Ку-ку!».

Группа развратных фигур с головами Ольги Владимировны, вахтерши Ани, жены Свища и жены Зверцева танцевала вокруг сатирика Аркана Гайского, у которого на самом интересном месте висел большой амбарный замок.

Почвенник Ефим Дынин после долгих поисков нашел наконец свое лицо, смонтированное с конской фигурой, снабженной всеми конскими деталями.

— Не похоже, Теодор, — корил он Дамменлибена, — совсем не похоже.

— Д-да б-б-рость ты Фимуля! — кричал художник. — Ты же т-т-талантливый писатель!

Публицист Вовец, пользуясь неразберихой, хватнул еще бокал сока и хотел уже было наполнить следующий, как в конференц-зал вбежал возбужденный Свищ и прошептал таинственно:

— Приехали!

Все присутствующие, в том числе и недовольный Вовец, направились к дверям встречать господина Бедейкера.

Улыбающийся, хорошо пахнущий, в шикарном темно-синем костюме, господин Бедейкер вошел в редакцию в сопровождении Алеко Никитича в строгом черном костюме и Глории в вишневого цвета бархатном платье. Алеко Никитич представил Бедейкеру собравшихся, и все проследовали в конференц-зал.

— О-о! — обрадовался Бедейкер, увидев коллаж-монтаж. — Русский эротик!

Алеко Никитич, для которого панно явилось полнейшей неожиданностью, гневно взглянул на Дамменлибена и, улыбаясь, сказал Бедейкеру:

— Домашнее баловство в узком кругу...

— О-о! — закричал Бедейкер, узнав на панно Глорию. — Грандиозно! — Он сравнил изображение с Глорией. — Фэнтэстик! Завидую! — Последнее уже относилось к Алеко Никитичу.

— Шутливая гипербола, — нараспев произнес Алеко Никитич.

— О-о! — изумился Бедейкер, обнаружив Ефима Дынина с конской фигурой. — Кентавр!

— Очень приятно, — смущенно поклонился Дынин. — Ефим Дынин, почвенник...

— Наш крупный прозаик, — представил его Алеко Никитич. — Земной художник, пахарь...

— Это видно! — сказал Бедейкер, указывая на конскую фигуру писателя-почвенника. — Эротическая тема... Наш журнал серьезно изучает этот вопрос...

— Мы тоже, — сказал Алеко Никитич, уничтожая взглядом Дамменлибена. — А вот и автор!

— О-о! — обрадовался Бедейкер. — И давно это у вас?

— Мы, господин Бедейкер, — гордо и неожиданно четко сказал Дамменлибен, — когда на территорию Германии вошли, немцы не трогали...

— Господин Бедейкер, — пригласил Алеко Никитич, — прошу за стол! Чем богаты, тем и рады!

За горизонтальную часть Т-образно составленных столов сели господин Бедейкер, Глория, Алеко Никитич, Ригонда и Индей Гордеевич. В непосредственной близости от них за вертикальной частью расположились сотрудники редакции и гости первой гильдии. В самом конце устроились машинистка Ольга Владимировна, вахтерша Аня и гости второй гильдии. Столы ломились от еды и разноцветных соков, разлитых по кувшинчикам и графинам.

— Попрошу наполнить! — встал Алеко Никитич.

— А кто уже наполнил? — пошутил Вовец.

— Того попрошу помолчать! — не понял шутки Алеко Никитич.

Вовец недовольно хрустнул болгарским огурцом, и наступила тишина.

— Уважаемый господин Бедейкер! — провозгласил Алеко Никитич. — Дорогой Чарльз! Год назад в далекой, но теперь уже близкой нам Фанберре ты изъявил желание продолжить нашу дружбу в Мухославске. Сегодня твое желание сбылось. Это еще раз говорит о том, что при наличии доброй воли и непредвзятого отношения к существующей действительности нет никаких преград на пути к взаимопониманию и взаимопроникновению на основе взаимодоверия и взаимоуважения. Жители Мухославска с пристальным вниманием и глубоким интересом следят за развитием австралийской литературы, а в книжных магазинах Фанберры произведения наших мухославских авторов не залеживаются. У вас есть что посмотреть, а у нас есть что показать. Наши взаиморазногласия разделяет экватор, но наши взаимосимпатии соединяет меридиан. Успехов тебе, Чарльз! Процветания твоему журналу! Мир твоему дому!

«С ответной речью выступил г-н Бедейкер. Речи руководителей двух журналов были выслушаны с большим вниманием и неоднократно прерывались аплодисментами».

(Из газеты «Вечерний Мухославск»)

Банкет продолжал развиваться по присущим ему законам, и уже через полчаса все вдруг разом громко заговорили. Каждый брал слово и, пытаясь перекричать остальных, говорил о своем. Бедейкер оказался большим любителем соков и закусок. Вскоре один свой глаз он положил на Ольгу Владимировну, а другим бесконечно подмигивал жене Свища, которая, посчитав это правилом хорошего тона, тоже стала подмигивать Бедейкеру. Сам же Свищ, полагая, что Бедейкер дружески подмигивает ему, начал отвечать тем же, чем вызвал у Бедейкера нехорошие подозрения. Подозрения усугубились еще и тостом, с которым Свищу удалось прорваться.

— Друзья мои! — сказал Свищ, излучая ласку. — Предлагаю выпить за нашего наставника, которого мы между собой величаем Никитичем, и за его обаятельную женушку! Им мы обязаны журналом нашим замечательным, яствами сегодняшними неопишескими, гостем нашим ласковым! Урашеньки! Гип-гип-урашеньки! — и Свищ, пригубив бокал с соком, подмигнул Бедейкеру.

«Дамы пьют стоя, мужчины — на коленях, так?» — пошутил с другого конца стола Вовец».

(Из анонимной записки на имя Н.Р.)

— Скажите ему, чтобы прекратил! — прошептал Алеко Никитич Индею Гордеевичу.

— Слушай, Бедейкер! — неожиданно возник Ефим Дынин. — Вот я тебя запросто спрошу, напрямки: почему ты почвенников не печатаешь?

Переводчица, схватившая было кусок холодца, положила его обратно на блюдо и перевела вопрос Бедейкеру.

А Дынин настаивал:

— Мне твои шиллинги не нужны. У меня, слава богу, коровенка есть и свинки бегают, но почему ты почвенников не переводишь?

Бедейкер постучал вилкой по бокалу. Алеко Никитич сделал то же самое. Наступила относительная тишина, в которой повисла фраза Ольги Владимировны: «А он мне нравится!»

— Господа! — с трудом поднялся Бедейкер. — У вас, как я слышал, лежит интересное произведение, которое может иметь успех у нашего читателя... Дорогой Алеко! Пользуюсь случаем и большим количеством людей и прошу тебя передать в мой журнал эту рукопись.

— Слушай, Бедейкер! — хлопнул его по плечу Ефим Дынин. — А ты мне на вопрос не ответил. Почему ты почвенников не печатаешь?

— Во-первых, Чарльз, — с дипломатическим дружелюбием сказал Алеко Никитич, — нехорошо выведывать редакционные тайны, а во-вторых, вопрос с публикацией этого произведения еще не решен...

— Это чудо, господин Бедейкер! — буквально зашла Глория. — Австралия будет в восторге!

Алеко Никитич под столом наступил ей на ногу и продолжал:

— У нас и без того много талантливых писателей. Бестиев, к примеру, сейчас закончил интересную повесть...

— Спасибо! — сказал Бедейкер. — Наш читатель знает имя Бестиев...

— Могу взять псевдоним! — подскочил Бестиев. — Волков... Чем плохо? А? Ну чем плохо-то?

— Как волков ни корми, он все в лес смотрит! — сострил Колбаско.

— Пошли танцевать, господин Бедейкер! — вдруг вскочила со своего места Ольга Владимировна. — «Я цыганочку свою работать не заста-а-авлю...»

И, тряся плечами и грудью, Ольга Владимировна стала надвигаться на Бедейкера.

Алеко Никитич захлопал в ладоши, отметив находчивость редакционной машинистки, и еще раз мысленно пообещал ей поспособствовать в вопросе отдельной квартиры.

Все хлопали до тех пор, пока Ольга Владимировна вконец не затанцевала господина Бедейкера. И когда он, обливаясь потом, приложился к ее руке, она неожиданно притянула его за уши и впиалась отчаянным длительным поцелуем одинокой женщины.

— За простых работников журнала! — заверещал Аркан Гайский. — Без них мы ничто! За Ольгу Владимировну!

А Ольга Владимировна внезапно побледнела и выбежала из конференц-зала. Включили магнитофон, и начались танцы. Жена Свища выбрала Алеко Ники-

тича. Свищ — Глорию. Индей Гордеевич пошел с Ригондой. Остальные — кто с кем.

— Прижми меня, Индюша, — прошептала Ригонда.

Но, странное дело, Индей Гордеевич почувствовал прежнюю индифферентность по отношению к супруге. Он танцевал с ней, смотрел на нее совершенно спокойно, прижимал по ее просьбе, но никаких возбуждающих токов не получал, да и, очевидно, не продуцировал.

— Труп! — сказала Ригонда и освободила его от обязанности партнера.

Индей Гордеевич сел опять за стол, пожевал цыплячью ножку и начал тупо наблюдать за вихрем невероятнейших сексапильных па, которые Ригонда выделяла с Бестиевым. Но Индея Гордеевича это вовсе не волновало.

«Вот и опять», — подумал он.

Свищ наярывал вприсядку под Тома Джонса.

Прием по случаю приезда господина Бедейкера постепенно обрел непринужденность. Самого высокого гостя атаковали хозяева.

«У вас легко, — говорил Гайский, — у вас все можно. А у нас сатирикам трудно. Душат. Завидуют. Надо иметь большое гражданское мужество».

(Из анонимной записки на имя Н.Р.)

— А у меня, — Вовец опрокинул рюмку, — есть некие претензии к вашему Кортасару.

— Кортасар не их, — сказала переводчица, — Кортасар — латиноамериканец.

Бедейкер кивнул.

Колбаско воровато гладил под столом руку переводчицы и взрывался каламбурами.

Вахтерша Аня внесла из подсобки раскаленный самовар и стала обносить гостей чаем, ошпаривая и обливая танцующих.

— А-а-а! — доносилось из коридора. — А-а-а!

— Ольга Владимировна лишнее перетанцевала. Надо ее успокоить, — доверительно сказал Алеко Никитич жене Свища.

— Я ее отвезу домой! — обрадовался Аркан Гайский и выскочил в коридор.

Через короткое время опять из коридора раздалось душераздирающее «А-а-а!» и в конференц-зал вбежал красный Гайский.

— Кусается, стерва! — сказал он, рассматривая следы зубов Ольги Владимировны на своем левом предплечье.

— Теодор, — обратился Алеко Никитич к Дамменлибену, — уложите ее в моем кабинете.

Господин Бедейкер вдруг встал и попытался направиться к выходу.

Бестиев подскочил к нему и, взяв под руку, повел в сторону туалета.

— Его надо отправить в гостиницу, — сказала переводчица. — Он устал.

— Я тоже так думаю, — зевнул Алеко Никитич, обращаясь к Индею Гордеевичу. — Берите Ригонду, проводим Чарльза, а потом мы с Глорией подбросим вас домой.

Ведя господина Бедейкера из туалета, Бестиев снял с себя маленький медный крестик, купленный им за двадцать крон в Праге, и почти насильно надел его на шею дорогого гостя.

— Мой презент! — говорил он. — Память! Чистое золото! Мы все — христиане.

Когда они вошли в конференц-зал, Бедейкер бросился к своему объемистому портфелю и вынул из него красивую, довольно большую коробку.

— Мой презент! — Бедейкер протянул Бестиеву коробку. — Магнитофон! Четыре скорости! Мы все — христиане!

— Ну, спасибо, — сиял Бестиев. — Надо же! Ну, спасибо! Я-то ему золотой крестик просто так подарил, а он... Надо же!

— Бестиев такой же христианин, как я — Римский Папа! — сказал Аркан Гайский на ухо Вовцу, но так, чтобы слышали все остальные.

Предприимчивый Колбаско мгновенно снял с руки часы «Слава» и защелкнул их на правом запястье Бедейкера.

— Мой презент! — он поднял руку Бедейкера с подаренными часами так, как поднимает рефери на ринге руку победителя. — На двадцати семи камнях!

Индей Гордеевич сбегал в свой кабинет и приволок большой бюст Горького.

— Мой презент! — сказал он и поставил Алексея Максимовича к ногам Бедейкера.

— Это редакционный бюст, — уточнил Алеко Никитич.

— Наш презент! — поправился Индей Гордеевич, глядя на портфель австралийца.

Свищ отцепил от жены брошь и приколот ее на лацкан господину Бедейкеру.

— Наш презент! — поцеловал он гостя. — Супруженьке.

«А, хрен с ним! — крикнул Ефим Дынин и преподнес господину Бедейкеру вынутую из кармана пиджака небольшую икону XVI века. — Молись, брат, да помни почвенников!»

(Из анонимной записки на имя Н.Р.)

Растроганный Бедейкер улыбался и кланялся, принимая эти проявления искренней дружбы и расположения, повторяя бесконечно: «Спасибо, спасибо», — но из своего портфеля больше ничего не доставал.

— В таком случае поехали, — сказал Алеко Никитич переводчице.

Бедейкер и переводчица сели в выделенную гостью «Волгу», а Алеко Никитич с Глорией — в «Волгу» редакционную. Минут через пять появился Индей Гордеевич.

— Ригонда еще потанцует, — сказал он, усаживаясь. — Ее Бестиев проводит.

Прошел приблизительно час. Бедейкера благополучно сопроводили до гостиницы и завезли домой Индея Гордеевича.

— Ты отдыхай, — задумчиво сказал Алеко Никитич Глории, — а я заеду в редакцию, молодежь разгоню...

Конференц-зал опустел. За столом ел и пил Вовец, полемизируя с разомлевшим Колбаско.

— Мне твои подачи не нужны, — говорил Вовец. — Я прекрасно помню, что должен тебе шесть сорок. И я их к зиме тебе отдам.

— Кому должен — прощаю! — отвечал Колбаско.

— Унижения не терплю! — говорил Вовец. — К зиме все отдам до копейки!

— Кому должен — прощаю! — отвечал Колбаско.

— А за это могу и по роже! — говорил Вовец.

— Кому должен — прощаю! — отвечал Колбаско.

— Почему вы не идете домой? — спросил Алеко Никитич, сдирая со стены коллаж-монтаж Дамменлибена.

— Мы отпустили Аню, — сказал Вовец, — и остались на ночное дежурство, чтобы ничего не случилось...

— Ступайте домой! — почти приказал Алеко Никитич. — Несотрудникам запрещено находиться в помещении редакции в нерабочее время!

Колбаско, пошатываясь, встал.

— Я не могу идти домой, Алеко Никитич... Мне все там... напоминает об утраченном счастье...

— Не распускайте нюни, Колбаско! Проявите такое же мужество в жизни, какое вы проявляете в поэзии. Позвоните Людмилке и не валяйте дурака... Давайте я наберу номер...

Они прошли в незакрытый кабинет Индея Гордеевича.

Когда в трубке послышался сонный женский голос, Алеко Никитич передал трубку Колбаско и шепнул:

— С богом!

— Людмила! — сбивчиво заговорил Колбаско. — Это я... Это я, Людмила!.. Я!.. Я сейчас приеду и заберу тебя!.. Людмила?.. Это я!.. Я абсолютно трезв!.. Мы с Алеко Никитичем принимали Бедейкера из Фанберры... Спешу к тебе!.. Спе-шу!..

Колбаско положил трубку.

— Ну? — нетерпеливо спросил Алеко Никитич.

— Вы ее не знаете, — захныкал Колбаско. — Она гордая... Она ни за что не вернется...

— Женщины любят силу, Колбаско. Оторвите ее от матери...

— Прямо сейчас?

— Да. Прямо сейчас. Поезжайте и оторвите.

Алеко Никитич привел Колбаско в конференц-зал. Вовец ел и пил, получая несказанное удовольствие.

— Не желаете? — предложил он Алеко Никитичу тонном хозяина.

— Вовец, помогите Колбаско добраться до Людмилики, — сказал Алеко Никитич.

— Унижаться? — спросил Вовец, явно не желая вылезать из-за стола.

— Это их дело. Давайте, Вовец.

Вовец нехотя встал.

— Ну что? Посошок? — тоскливо сказал он.

— Никаких посошков! Марш домой!

— Ах, так! — оскорбился Вовец. — Ноги моей больше не будет в этом доме! Позовете еще! Белого коня пришлете! А я вам вот покажу!

— Позовем, позовем, — говорил Алеко Никитич, подталкивая обоих к выходу. — И коня белого пришлем...

— А вот я вам покажу! — кричал Вовец.

— А вы нам вот покажете, — соглашался Алеко Никитич.

Решив объявить вахтерше Ане выговор в приказе за самовольную отлучку, он направился в подсобку по-

смотреть, выключены ли краны газовой плиты. Проходя мимо своего кабинета, он захотел удостовериться в том, что кабинет заперт, но дверь неожиданно поддавалась, и когда Алеко Никитич щелкнул выключателем, то увидел картину, поразившую его в самом сердце, заставившую разочароваться коренным образом в таких понятиях, как «дружба», «благодарность», «человеческое отношение», и предрешившую в конце концов его дальнейшую судьбу главного редактора журнала «Поле-полюшко».

На черном кожаном диване, рядом с глубоко спящей машинисткой Ольгой Владимировной, храпел в одних трусах, но при пиджаке с галстуком, художник Теодор Дамменлибен, положив волосатую ногу на стол Алеко Никитича.

С-с-с... Вот оно что! Друг семьи!.. На редакционном кожаном диване!.. Используя опьянение!.. По-воровски!.. Эх, Ольга Владимировна!.. И это в тот момент, когда вам по-отечески уже почти поставили вопрос о предоставлении отдельной квартиры!.. С-с-с... В кабинете старого дурака Алеко! А если бы заглянул сюда господин Бедейкер!.. Вот уж достойный материал для белогвардейской газетенки!..

И, не помня себя от гнева, брезгливости и разочарования, Алеко Никитич закричал:

— Вон отсюда!

Теодор Дамменлибен вскочил и почему-то первым делом стал причесываться.

— Вон отсюда! — снова закричал Алеко Никитич.

Ольга Владимировна шевельнулась, но не проснулась.

— Слушайте Никитич по-моему у Бестиева с Ригондой трали-вали, — спешно одевался Дамменлибен, — Петеньку завтра к теще на дачу везти бардак австралиец хороший мужик жара...

— Чтобы через пять минут ни вас, ни этой женщины в редакции не было! — сорванным голосом прокричал Алеко Никитич.

— Никитич это вы з-з-ря Олюхин хорошая девушка одинокая, — уже вслед вышедшему главному редактору говорил Дамменлибен.

Алеко Никитич сел на лавочку в садике перед зданием редакции и стал ждать, пока они выйдут. Первым появился Дамменлибен. За ним, еле передвигая ноги, Ольга Владимировна.

— Спать хочу! — ныла она. — Спать хочу! Домой хочу!..

— Слушай Олюхин, — сказал Дамменлибен, — п-п-поймаем такси завезешь меня и поедешь бардак с утра Петеньку на дачу в-в-везти у Нелли расширение вен она умная женщина...

— Спать хочу! — капризно повторяла Ольга Владимировна. — Спать хочу!..

Дождавшись, пока они погрузятся в такси, Алеко Никитич прошел в свой кабинет, еще раз с отвращением взглянул на черный кожаный диван, погасил свет, запер дверь и проследовал в конференц-зал. Там он налил стакан сока и впервые в жизни выпил его варварским способом — залпом.

«Всех уволю! — думал он, раскачиваясь на стуле, сонно оглядывая поле недавней банкетной битвы. — Аню уволю! Машинистку уволю! Дамменлибена уволю!.. А рукопись напечатаю! Назло всем!.. Без иллюстраций!.. Рапсод — сволочь! Цыплят недодал, фрукты недодал!..»

Алеко Никитич уже совсем не помнил, что еще полчаса назад хотел заглянуть в подсобку. Он вышел из редакции, долго искал ключом замочную скважину двери, наконец нашел ее и, увольняя всех подряд, направился к машине.

Шофер редакционной машины, который и потом остался шофером редакционной машины и возил других главных редакторов, говорил впоследствии, что никогда не видел Алеко Никитича в таком состоянии, как в ту ночь.

— Гроза, видать, опять будет, — сказал шофер для рождения разговора, на что Алеко Никитич, не отличавшийся крепостью выражений, рявкнул:

— Ну и хлябь ее твердь!..

Многие жители Мухославска проснулись в ночь с пятницы на субботу от сильного взрыва, который поначалу приняли за удар грома, тем более что над городом снова свирепствовала гроза. В некоторых домах вылетели стекла. А вскоре на городские улицы и крыши зданий начали падать крупные и мелкие обгоревшие обрывки бумаги с машинописным и типографским шрифтом. В один двор упала не вскрытая банка югославской ветчины, а публицист Вовец, очнувшийся после вчерашнего и пребывавший от этого в тоске и естественном физическом затруднении, с удовлетворением обнаружил на подушке болгарский маринованный огурец, что и воспринял как справедливый дар судьбы.

К середине дня уже весь город знал, что произошло ночью.

«По халатности сотрудников, усугубленной нарушением норм общественной жизни, краны газовой плиты в подсобном помещении редакции были оставлены незакрытыми, что привело к утечке газа с последующим его накоплением в редакционных помещениях. Взрыв произошел либо в результате попадания молнии во время грозы, либо по иной причине. Вероятность террористического акта чрезвычайно мала, хотя и не исключается. Человеческих жертв нет. Материальный ущерб, причиненный редакции и соседним зданиям, подсчитывается».

(Из материалов расследования)

XVIII

В понедельник к беспощадному сатирику Аркану Гайскому приехала из Владивостока девочка, которой два года назад он пообещал жениться, познакомившись

с ней на пляже курортного города Ялты. И, решив принять ее по-царски, Гайский часов в пять дня зашел на городской рынок купить полкило слив. Базарный день заканчивался, и темномастные были уступчивы. Торговец скрутил для слив два обгоревших по краям листа бумаги в клеточку с каким-то написанным текстом. Когда Гайский, придя домой, выложил перед девочкой царское угощение, он решил полюбопытствовать, что написано на кульке, и прочитал:

«...Раб свою жизнь проживает по-рабски в тоске по свободе...

...он сбросил с себя одежду и вошел в покои Олвис. Она ждала его, она проснулась от его крика и ждала его, стоя на коленях. Она сейчас впервые увидела, что рука, когда-то ударившая ее, отсечена по локоть.

Мадрант задернул шторы. Пусть знает Олвис, что победил Ферруго и скоро его собаки ворвутся сюда и перегрызут глотку ей и мадранту.

Она протянула к нему руки. Я ненавижу мадранта! Я люблю тебя, Ферруго! Я ждала тебя, Ферруго!

Дрожая всем телом, он сделал шаг по направлению к ложу. Он чувствовал, что она говорит правду, потому что нет больше ничего, достойного лжи, нет власти, нет богатства, нет зависимости. А это и есть та минута, когда желание становится водой и воздухом, без коих немислима жизнь...

Хвалит вчера, проклинает сегодня, надеясь на завтра. Но наступает его долгожданное завтра... И что же?

...широко расставив руки, словно прикрывая вход в здание Совета, вооруженную озверевшую толпу встретил Первый ревзод... Где Ферруго? Покажите мне Ферруго! Первый ревзод должен поговорить с Ферруго!.. Но вместо Ферруго двое горожан поставили перед ним дворцового палача Басстио. И, взглянув друг на друга, оба поняли, почему они оказались рядом. Взмахнув большой кривой саблей, Басстио не

сразу, а в два приема, потому что руки ослабли от страха, отделил от туловища Первого ревзода его голову, которую тот успел все-таки втянуть в свои покатые плечи. А потом самого Басстио потащили к водоему со священными куймонами, и те так же бесстрастно приняли палача, как прежде – его жертв...

**Он уже хвалит все то, что вчера предавалось
проклятью...**

...я люблю тебя, Ферруго! Я ждала тебя, Ферруго!.. Покои Олвис озарились пламенем вспыхнувшего здания Совета ревзодов... Они не посмеют убить тебя, Ферруго! Я не хочу этого, Ферруго! Ты скажешь им, что ты Ферруго! Они не могут убить тебя твоим именем!..

Нет, Олвис, мадрант никогда не прибежит к милости этих собак!

Они сохраняют нам жизнь, когда узнают, что ты Ферруго! Они вышлют нас на маленький остров, и только я буду с тобой! Я люблю тебя, Ферруго! Я ждала тебя, Ферруго!

Нет, Олвис, мадрант никогда не станет рабом у раба, и его тайна останется в нем, ибо иначе исчезнет Ферруго, а ты останешься с ненавистным тебе мадрантом!

Я люблю тебя, Ферруго, и я сама скажу им все ради твоей жизни. («И ради себя, в конце концов. Вот глупость-то!»)

**Он проклинаяет все то, что вчера ему было надеждой,
Снова надеясь на завтра, и завтра опять наступает...**

...последние крики воинов, возгласы горожан и ляг оружия уже проникли в покои мадранта, и тогда Олвис, вырвавшись из объятий, бросилась к дверям, но мадрант успел схватить ее левой рукой и снова бросил на ложе... Мадрант любит Олвис, но она не сделает этого... Не сможет... Не успеет...

Я же люблю тебя, глупый... Ферруго!..

Он сжимал ее горло до тех пор, пока она не затихла, а потом упал, закрыв ее своим телом...

**Только раба уже нет – он вчера перебрался в могилу,
Детям своим завещая надежду на новое за в т р а...**

...сидя на полу своей хижинки, Герфинда смотрела куда-то через стену вдаль пустыми глазницами и слышала нарастающий вой подземного огня и грохот несущейся ему навстречу исполинской волны. И когда почувствовала, как между лопаток прошел в нее обжигающий меч и, несколько раз повернувшись в груди, разорвал на части сердце, она поняла, что сын ее в эту минуту стал мертвым и что не родится он когда-нибудь крысой, как и не был ею тысячи лет назад...

Что же рабу в его жизни проклятой тогда остается...

Они не знали, что Олвис мертва, и пронзили их обоих одним мечом, повернув его еще несколько раз для верности, но потом сокрушались, что сразу прикончили и суку, не отдавая мадрантова лакомства. А потом их обоих привязали друг к другу, предварительно придав телам развратную любовную позу, и вывесили за окно покоев, чтобы все могли убедиться, что нет больше мадранта и его суки... Да здравствует Ферруго! Мы возвратили себе «гордое имя – Собака!».

...Если вчера ш не е он никогда возвратит не сумеет...

...этой ночью должна была появиться Новая луна, но небо закрылось сплошным мрачно-черным покрывалом. Они бродили по городским улицам, опьяненные победой, вином и свободой... «И утолить свою жажду хозяйской кровью, и отшвырнуть эту пададь поганым шакалам...» И они не знали, что же теперь делать дальше... Да здравствует Ферруго!.. Но по-прежнему никто не видел Ферруго. Один из них захватил черный зал мадранта и, окружив себя вооруженными друзьями, заявил, что он, лично убивший мадранта, будет теперь править городом и страной. Но его вместе с друзьями мгновенно растерзали остальные, так как право на черный зал имел только

один Ферруго, а его все не было и не было... Да здоровствует Ферруго!..

В женатиуме между ними возникла страшная резня из-за сладкой добычи. Женщин мадранта разбирали и раздирали на части, вмешавшиеся в бойню жены горожан делали ее еще кровожаднее. И остановить их мог только один Ферруго, а его все не было и не было... Да здоровствует Ферруго!..

Уже по всем признакам ожидался рассвет, но он все не наступал. И в этой длинной ночи под окнами дворца, подняв морду туда, где висели тела мадранта и Олвис, все выла и выла огромная собака. Все тоскливее и тоскливее... Да здоровствует Ферруго!.. А его все не было и не было...

...Если извечное за в т р а несчастный увидетъ не сможет?

...И вдруг сильный, возникший словно бы из ничего ветер распахнул над городом черное покрывало, и они увидели Новую луну, и закричали от радости, и воздели к ней руки, встречая новое начало. И раскололась, оглушив их небывалым грохотом, Каффаско, разломив пополам землю. И вырвался из пролома столб пламени до самых небес, ослепив их своим светом, и накрыла все это невиданная, пришедшая с моря волна...

Прочитав эти письма, Аркан Гайский почувствовал знакомые острые схватки в нижней части живота и, успев крикнуть девочке: «Осторожней со сливами!» — кинулся вон из комнаты.

XIX

Спустя семь месяцев после злосчастного ночного взрыва задвинутый на пенсию Алеко Никитич пас в городском парке Мухославска свою внучку Машеньку. Он выглядел сильно постаревшим, или, как любят говорить в таких случаях, сдавшим, и лицо его было отмечено печатью не такой уж далекой встречи с таинственным и печальным продолжением общего биологического процесса, именуемым смертью. Время

уже было собираться домой, когда к нему обратился неизвестно откуда взявшийся человек в легком для ранней весны пальтишке. Он был худ, тощ, без шапки. Ветер трепал его густые темные волосы.

— Скажите, Алеко Никитич, — произнес тощий, — а рукопись так и сгорела во время взрыва?

Бывший главный редактор вздрогнул от неожиданного вопроса и внимательно посмотрел на тощего. Голубые, чуть навывкате глаза, наполовину отсутствующий взгляд и какая-то безапелляционность. Алеко Никитич имел хорошую зрительную память. Да, этот взгляд он уже видел. В тот самый жаркий день, когда в его кабинет вошел незнакомец и положил на стол тетрадь в черном кожаном переплете. Но тогда он был значительно ниже ростом, шире в плечах и белобрыс. Брат?

— А вы имеете отношение к рукописи или к ее автору? — спросил Алеко Никитич.

— Возможно, — ответил тощий. — И тетрадочка сгорела в черном кожаном переплете?

— Несчастный случай, — сказал Алеко Никитич. — Но почему вас интересует судьба рукописи? Вы же не хотите сказать, что вы... Во всяком случае, тот человек был ниже вас и совершенно другой масти.

— Возможно. — Тощий вынул из кармана пальто большую конфету в ярко-красной обертке и протянул ее Машеньке. — Авторы нынче подвержены особой акселерации.

— После обеда, Машенька! — строго сказал Алеко Никитич и спрятал конфету.

— Тоже правильно, — безразлично согласился тощий.

— И тем не менее кто вы? — настаивал Алеко Никитич. — Мне все-таки кажется, что я вас где-то видел.

— И мне так кажется, — глядя куда-то в сторону, сказал тощий.

— Давно?

— Очень. Может быть, пять... Может быть, десять тысяч лет назад... Вам не жаль?

— Чего? — не понял Алеко Никитич.

— Того, что произошло.

— В какой-то степени.

— Благодарю вас, — поклонился тощий и вдруг, сделав нос Машеньке, нелепо подпрыгнул и побежал прочь, скуля, словно собака, в которую попали камнем.

Машенька рассмеялась.

— Пойдем! — сказал Алеко Никитич и потянул внучку за собой.

У самого выхода из парка он незаметно от Машеньки выбросил в урну большую конфету в ярко-красной обертке.

XX

В новом здании редакции журнала «Колоски» (так переименовали журнал «Поле-полюшко») в своем кабинете новый главный редактор Рапсод Мургабович правил новую статью критика Сверхщенского, когда дверь неожиданно открылась и вошел нескладный, тощий человек с голубыми, чуть навывкате глазами и положил на стол тетрадку в ярко-красном кожаном переплете.

«Я с ума сойду с этим журналом! — подумал Рапсод Мургабович. — Клянусь мамой! Почему без стука? Что это за красная тетрадь? Рукопись? Надоели, честное слово! Я рукописи не читаю! На это есть Зверцев!..»

— Я с ума сойду, честный слово! — сказал он. — Клянусь мамой! Почему без стука? Что это за красный тетрадь? Рукопись?.. Надоели, честный слово! Я рукописи не читаю! На это есть Зверцев!.. Ты был у Зверцева?

— Зверцев правит Сартра, — бесстрастно произнес тощий.

— Сартра-мартра, — буркнул Рапсод Мургабович. — Делать ему нечего, клянусь мамой!..

Тощий пожал плечами, поклонился и вышел.

«В печенках они у меня со своей литературой!» – подумал Рапсод Мургабович, машинально раскрыл тетрадь в красном кожаном переплете и прочитал:

«В помещении редакции журнала «Поле-полюшко» частенько пахло газом...»

– Газом-мазом! – недовольно сказал Рапсод Мургабович и со злостью бросил в свой портфель тетрадь в красном кожаном переплете.

ПРОШЛО
ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ...

ЯГНЕНОК В ПАСТИ ОСЕТРА

(полное эпиложество)

I

С того самого времени, когда в помещении редакции знаменитого некогда журнала «Поле-полюшко» прогремел взрыв, выражаясь языком штатных романистов, «пронеслись годы». Мухославск и его жители постепенно втянулись в перестройку. Оставшиеся в живых оказались в постсоветском капитализме, не зная, радоваться этому обстоятельству или проклинать все на свете, поминая добрыми словами недавнее темное прошлое. Город, однако, расстроился. Не распечалился, а расстроился в полном смысле этого слова, хотя и расстроился тоже — в смысле «распечалился». Знаменитый мухославский стадион запестрел шатрами, ларьками, прилавками и превратился в гигантскую барахолку, которую средства массовой информации называли ярмаркой. На этой ярмарке можно было купить и продать все: от капсул с отходами уранового производства до самонадевающих презервативов с игривым названием «Светлячок». Дело в том, что эти резиновые борцы со СПИДом завозились из Китая, где их внешние поверхности обрабатывались каким-то флюоресцирующим раствором, который в темноте давал таинственное голубовато-красное свечение. Изделия первоначально предназначались для жителей Заполярья с учетом длинных полярных ночей, но Заполярное бюро Партии Зеленых организовало массовые акции протеста, так как мигающее голубовато-красное свечение в период длинных зимних ночей нарушало работу ученых-астрологов, нередко

принимавших это сексуальное пиршество красок за северное сияние. Поэтому «светлячки» осели в Мухославске, где возымели огромную популярность, скрашивая ночной досуг обитателей города.

Почти в каждом кафе и в пивных установили игральные автоматы и открыли семнадцать казино. Городские власти не препятствовали расцвету игорного бизнеса. Во-первых, он давал приличный доход, а во-вторых, зарплату почти на всех бюджетных предприятиях и пенсии можно было выдавать фишками, которые имели хождение во всех магазинах и на ярмарке. На центральной площади города выросло двадцатипятиэтажное здание из стекла и бетона с неоновой надписью «Мухославбанк». Банк принимал от населения срочные вклады на период 50 лет, по прошествии которых гарантировал 1000 процентов. Вклады принимались в любом выражении: в рублях, в валюте, в фишках, в мебели, в обуви и одежде, сохранивших товарный вид, в алкогольных напитках и продуктах питания с длительным сроком сохранности. Для поддержания среднего уровня жизни банк ежедневно выбрасывал на рынок принятые вклады в их товарном виде. Таким образом, каждый вкладчик мог в случае необходимости приобрести за наличный расчет размещенные накануне вклады и обставить свою квартиру своей же мебелью или нарядиться в свою же шубу, доплатив всего 25 процентов стоимости вклада. Некоторые оборотистые хитрецы повторно вкладывали приобретенные товары в «Мухославбанк» на тех же льготных условиях. Поэт Колбаско был ярым поборником этой грандиозной системы народного обогащения и сочинил рекламу, которая каждые пять минут шла по местному телевидению. Реклама была простой и доступной. Ее одинаково любили и ненавидели.

Кто не хочет жить как панк,
Свою шубу вложит в банк!

А полвека лишь пройдет —
Тыщу шуб приобретет!

Сам Колбаско покупал и вкладывал свою знаменитую розовую шубу из искусственного козла шесть раз. На седьмую акцию у него не хватило денег. Очередную зиму Колбаско встретил в теплом нижнем белье, которое выдавал за спортивный костюм «адидас», и согревался единственной идеей, как через пятьдесят лет он получит в банке шесть тысяч шуб и откроет меховой магазин. Тревожила, правда, одна мысль, что к моменту открытия мехового магазина самому владельцу стукнет уже девяносто шесть лет, но Колбаско тут же прогонял ее, повторяя про себя: «Доживу! Что я, хуже Джамбула?»

На том месте, где стояло разрушенное взрывом здание журнала «Поле-полюшко», как-то незаметно вырос особняк в стиле «китч-модерн». Особняк имел три этажа. Первый этаж был выполнен с кавказским акцентом в духе изящного примитивизма. Парадная дверь состояла из двух полусфер, продольно раскрашенных зелеными и желтыми полосами. В закрытом положении она символизировала арбуз. Когда полусферы открывались, перед посетителем возникала вторая дверь ярко-красного цвета с коричневыми вкраплениями, что должно было напоминать мякоть и семечки. Окна окаймляли сделанные из мрамора виноградные кисти, а стены украшала лепнина на темы «Витязя в тигровой шкуре». Над козырьком висел огромный герб с изображением лица кавказской национальности с вороватыми глазами и с надписью «Ш. Руставели. XIII век». Второй этаж был желтого цвета с круглыми дырками окон. По мнению авторов проекта, второй этаж должен был напоминать голландский сыр, а вся идея выражала народные представления об изобилии: на бронзовых цепях висели огромные буханки хлеба, колбасные кольца и бутылки с этикетка-

ми «Водочка». Сытный орнамент завершал афоризм «Больше еды — меньше беды». Авторство афоризма принадлежало поэту Колбаско и публицисту Вовцу, правда, никто из них не мог с достоверностью сказать, кто и какую часть этого произведения придумал... Третий этаж имел фармацевтический оттенок. Окон третий этаж не имел вообще, а глухая стена была вся залеплена таблетками, капсулами, шприцами, пузырьками, из которых, если отойти на почтительное расстояние, можно было прочесть оптимистическое напутствие: «Лечение отдалает смерть».

На крыше особняка игриво сверкали разноцветные буквы — «РАПСОД-ХОЛДИНГ-ЦЕНТР».

Президентом холдинга являлся Рапсод Мургабович Тбилисян. Три этажа представляли три структуры холдинга. Первый этаж — офис издательства «Солнце», второй этаж — офис продовольственной компании «Воздух» и третий этаж — офис аптечного синдиката «Вода». Все три названия символизировали, по мысли Рапсода Мургабовича, три основных источника жизни, хозяином которой и был Рапсод Мургабович Тбилисян. Издательство «Солнце» выпускало рекламную продукцию, визитные карточки и шикарные плакаты с ликами любимейшей поп-звезды Мухославска — лучезарного и ослепительного Руслана Людмилава, который после освобождения из тюрьмы ежедневно давал красочное шоу в зале мухославского Дворца спорта. По субботам Руслан давал два шоу, по воскресеньям и праздникам — три. Ходить на шоу Руслана Людмилава считалось в Мухославске делом престижным, почетным и чуть ли не религиозным. Его песни все знали наизусть и со слезами радости и умиления подпевали ему на его шоу. Шоу к тому же разошлось на компакт-дисках и видеокассетах общим тиражом в 500 000 экземпляров, так что каждый житель Мухославска имел возможность купить шоу по 10–12 штук в одни руки. Но не красоч-

ные плакаты с видами песнопевца составляли гордость издательства «Солнце» и лично Рапсода Мургабовича... Дело в том, что с обретением свободы слова и духа все мухославское население разделилось на два лагеря по политическим пристрастиям. Политическая борьба в городе за места в городской Думе, за должность мэра города велась между двумя партиями. Одна партия называлась КСД — Коммунисты, Сочувствующие Демократам. Вторая партия имела название ДСК — Демократы, Сочувствующие Коммунистам. Во главе КСД стоял бывший первый секретарь горкома, сохранивший партийный билет, но тайно переживавший, что не сжег его в надлежащее время, а во главе партии ДСК стоял бывший второй секретарь горкома, сжегший в надлежащее время партийный билет и тайно переживавший, что не сохранил его. Обе партии выражали народные чаяния, но одна партия звала к социализму с человеческим лицом, а другая — к капитализму, но тоже с человеческим лицом. Единственное, в чем сходились обе партии, так это в том, что человеческое лицо не должно быть лицом кавказской или, не дай бог, еврейской национальности. Первоначально каждая партия выпускала свою газету. Газета Коммунистов, Сочувствующих Демократам, называлась «Накося!». Газета Демократов, Сочувствующих Коммунистам, выходила под названием «Выкуси!». Обе газеты нещадно поливали друг друга и звали мухославский народ к светлому будущему.

Однажды Рапсоду Мургабовичу пришла в голову «гениальная» мысль... «Накося-шмакося, выкуси-шмыкуси! — подумал он. — У людей туалетной бумаги нэт, а они газеты выпускают!.. Натравливают народ дружка против дружка... Дэнги в два кармана уплывают...» И Рапсод Мургабович купил обе газеты и стал выпускать одну — «Накося—Выкуси!». По четным дням название печаталось красными буквами, и газета имела направленность КСД, а по нечетным дням заголо-

вок печатался синими буквами, и газета ориентировалась на ДСК. Стоимость газеты, естественно, возросла вдвое, и все «дэнги» полплыли в один карман. Кроме всего прочего, это позволяло Рапсоду Мургабовичу, как хозяину газеты, оставаться, как он говорил, «над схватками», что давало ему серьезные шансы в борьбе за должность мэра...

II

На первом этаже «РАПСОД-ХОЛДИНГ-ЦЕНТРА» (как войдете — направо) — застекленная каморка с надписью «Бюро пропусков». В каморке, словно в стеклянной клетке, сидит откровенно старый, высохший мужчина, в котором с большим трудом можно узнать бывшего главного редактора бывшего журнала «Поле-полюшко». Вскоре после того знаменитого взрыва Алеко Никитич перенес средней тяжести инсульт, после которого он слегка приволакивал правую ногу, ощущал большую слабость в правой руке и имел заметный, хотя и не слишком, перекося рта в правую сторону. Ясность ума, которую он сохранил практически полностью, позволяла ему размышлять о прошлом, оценивать настоящее и предвосхищать будущее. Когда-то его жизнь четко делилась на две части: «до войны» и «после войны». Взрыв и последовавшая вскоре перестройка со всеми вытекающими последствиями поделили его жизнь заново: «до перестройки» и «после перестройки». Все, что было «до», осталось в какой-то серой дымке, сквозь которую время от времени прорезывались полуреальные очертания щемяще приятных событий, конкретных личностей, которые сегодня все без исключения казались совершенно замечательными, добрыми и порядочными. Все, что было «после», напоминало гигантский вокзал военных времен с обезумевшими от бесконечного ожидания обещанных поездов пассажирами. Людей, котомок, мешков, чемоданов, тележек все больше и больше, а поездов все нет и нет. И народ согласен уже взять

штурмом любой состав в любом направлении. Лишь бы поехать. Куда-нибудь. Но поехать. Будущее Алеко Никитичу никак не представлялось, потому что с каждым прошедшим днем оно превращалось в прошлое. А настоящее казалось бесконечностью и пугало все больше и больше...

Алеко Никитич смотрит на стену. Часы показывают половину восьмого. Через пятнадцать минут можно закрывать клетку и шкандыбать домой. Уйти, конечно, можно и в пять — поток визитеров иссякал обычно к четырем. Но дисциплина должна быть дисциплиной. Без четверти восемь — значит, без четверти восемь. Работает телевизор. Идет шоу Руслана Людмилава. Кумир поет любимый шлягер мухославцев «Телочка моя», скрытый смысл которого, несмотря на ясность ума, так и не доходит до Алеко Никитича...

Ах, ты, моя нежная телочка!
Глажу я рукой твою челочку.
Взгляд моей любви не потух.
Я в тебя влюбленный пастух.

«Одно из двух, — думает Алеко Никитич. — Либо это преданность пастуха своей профессии, либо речь идет о завуалированном скотоложестве». На Руслане красное трико, торс его обнажен, а на плечах развевающийся зеленый прозрачный халат. В проигрышах кумир прыгает на прямых ногах, не всегда попадая в такт, а в момент обозначения неполного шпагата в промежности у него взрывается какое-то устройство, распыляя во все стороны разноцветные искры бенгальского огня. «Хотел бы я на него посмотреть в свое время, — думает Алеко Никитич, — если бы он позволил себе нечто подобное, исполняя песню «Ленин всегда живой»...» Припев про телочку Людмилав повторял восемнадцать раз (Алеко Никитич сам считал) и заканчивал шоу бесконечными воздушными по-

целуями и криками «Я люблю вас, родные мои!». Вот и сейчас на сцену повалили мухославцы с детьми и цветами, а на экране снизу вверх поползли титры благодарностей спонсорам мирового шоу — «РАПСОД-ХОЛДИНГ-ЦЕНТРУ», «Мухославбанку», фирме «Самсун», мухославскому РУБОПу и городской налоговой инспекции. Затем на экране возникла самодовольная баба в очень дорогой шубе и произнесла почему-то с бердичевским акцентом:

Кто не хочет жить как панк,
Свою шубу вложит в банк!
А полвека лишь пройдет —
Тыщу шуб приобретет!

После рекламы экран заняла популярная телеведущая Банана Хлопстоз. Банана была негритянкой из Анголы, которая после того, как ее отчислили из мухпедучилища, попросила политического убежища и стала тайной фавориткой мухославского авторитета по кличке Кабан, который был женат на дочери начальника местного РУБОПа. «Кабан ее спонсирует», — говорили жители города, а поэт Колбаско даже сострил: кто ее спонсирует, тот ее и пальпирует... Банана вела политические новости, экономические вести, прогноз погоды, аэробику и четыре ток-шоу, из которых самым лакомым была ночная передача «Любовь с первого раза» о вреде и пользе случайных связей... На сей раз Банана томно взглянула на Алеко Никитича и задушевно произнесла: «По многочисленным заявкам наших телезрителей мы повторяем только что показанное великолепное шоу лученосного Руслана Людмилава “Телочка моя”»...

Часы на стене показывают без четверти восемь. Алеко Никитич выключает телевизор, свет и выходит из стеклянной клетки. С-с-с. Рабочий день окончен... Он отдает ключи одному из двух здоровенных охранников в костюмах тифлисских кинто с автома-

тами Калашникова в руках. «Пока, Никитич, — говорит один из них, — супруга истосковалась». Оба хохочут. «Наглость, как и песня, не знает границ!» — про себя отбрасывает их Алеко Никитич и выходит на свежий воздух...

Он медленно идет домой, целиком предаваясь своим мыслям. Они скачут в его голове, повышая и без того повышенное кровяное давление. Они прыгают с места на место, отгалкивая друг друга, суется, выскакивая на первый план и тут же исчезая в темной бездне измученной памяти, чтобы вдруг возникнуть, как новенькие, противореча и дразнясь, подобно киплингеским бандерлогам... Он медленно идет домой... Он размышляет... Странное наступило время, раздерганное, неуважительное. Ему, Алеко Никитичу, бывшему главному редактору популярного и культурного журнала, «тычут» неотесанные молодые рапсодовские охранники. В бытность не позволял себе такого даже Н.Р. Даже сам Н.Р. Кто следует! А ведь Н.Р. и обматерить имел право... «Что ж это вы, хлябь вашу твердь, Алеко Никитич?!» «Выкал», а не «тыкал!» Уважал! Ценил человеческое достоинство!.. Скверное время наступило... Время Рапсоды... Как он выплыл?! Магазищик, безграмотный торговец! Оборотистый, конечно... Способный... А ведь как лебезил, как заискивал... Денег у него, правда, и тогда было много, но чтоб так взлететь!.. Все, видно, не просто. Почему это после того проклятого взрыва вызвал Алеко Никитича к себе Н.Р. и вытолкнул на пенсию? «Вот что, хлябь твою твердь! (Твою или вашу?.. Вашу, конечно, вашу.) Идите-ка вы на пенсию подобру-поздорову! Пора дать дорогу молодым!» И кто стал главным в «Колосках»? Рапсод Мургабович Тбилисян! Магазищик, безграмотный торговец! Оборотистый, конечно... Способный... А ведь как лебезил... (об этом я уже думал). Президент «РАПСОД-ХОЛДИНГ-ЦЕНТРА». Сам у себя президент... Это ж какие надо иметь день-

ги?! Может, он кому-то дал? Или ему кто-то дал?.. Н.Р.? Но у него-то откуда деньги? Ответственный человек, партийный работник, идеологически непогрязный... Он-то почему стал президентом «Мухославбанка»? Кому-то дал? Но ведь это какие надо иметь деньги?! Может, ему кто-то дал? А может, он у кого-то взял и кому-то дал? У кого? У Рапсода? Кому? Рапсоду?.. С-с-с... Наступило время Рапсода. Не забыл, конечно... Позвонил... «Алеко, дорогой! Мне ценные люди нужны... Пойдешь ко мне в холдинг начальником бюро пропусков? Что твоя пэнсия-мэнсия? У меня кошка больше получает... Или на базар пойдешь кэфир-мэфир продавать?» Не забыл, конечно... Позвонил... Но как унизил! Начальником бюро пропусков! Не консультантом, не советником, не главным редактором издательства «Солнце»! В бюро пропусков!.. Конечно, инсульт... Давление... Но голова-то ясная!.. Спасибо, конечно, что позвонил... Не забыл... На зарплату по нынешним временам жаловаться не приходится. Не бог весть что, разумеется, но больше, чем у Глории в школе... Держат ее еще... Опытный преподаватель, мудрая женщина... Но ей вообще ничего не платят! Они бастуют... Бастуют — значит, не работают. Не работают — значит, ничего не получают... Работают — тоже ничего не получают. Замкнутый круг... Спасибо, конечно, что позвонил... Не забыл... С-с-с... Время Рапсода... Магазищик! Безграмотный торговец... А ведь как лебезил... И все-таки, откуда у него такие деньги?.. Может, у кого-то взял? (Что я опять об этом думаю?..) Все бы ничего... Вот только бы запретил охранникам «тыкать», приказал бы им уважать Алеко Никитича... А Леонид негодяй! Скрипач талантливый, слов нет, но негодяй... Взял его Спиваков в свой оркестр... Спиваков, конечно, тоже скрипач талантливый... А Леонид негодяй! Забрал Наденьку, Машеньку и купил дом в Испании... Понятно, что деньги у него есть... Гастроли, солидные оклады, валюта... А вот у Рапсода откуда деньги?

(Опять Рапсод!..) Негодяй Леонид, негодяй... Каждый Новый год присылает открытки с видами Испании... Спасибо, конечно, но открытки на базаре не продашь... О себе не говорю, сам зарабатываю. Но Глория! Глория, которая буквально вынырнула Машеньку и поставила ее на ноги! И Наденька с ним заодно!

А ведь как ее любил Дамменлибен!.. Хороший, конечно, художник, но побирушка. В этом смысле Наденька правильно вышла за Леонида, но ведь они же практически эмигрировали из страны, которая их воспитала и дала образование! В прошлое время за такое родство Алеко Никитича давно бы выгнали из журнала и работал бы он в лучшем случае где-нибудь в бюро пропусков... Впрочем, сейчас он и работает в бюро пропусков... Тогда, может, и хорошо, что дочь с зятем живут в Испании? Машенька учится в Лондоне, учителя там не бастуют... Леонид работает у Спивакова, у них дом, хороший оклад, валюта... Но, с другой стороны, Рапсод никуда не эмигрировал, а у него тоже хороший оклад, валюта... Алеко Никитич никуда не эмигрировал, но у него нет валюты, хотя зарплата по сегодняшним меркам нормальная... Значительно больше, чем у Глории, которой вообще ничего не платят... С-с-с... Странное время... Время Рапсода... Жук он, конечно, первостатейный... Магазищик! Безграмотный торговец! И откуда у него такие деньги? (Хватит!..) Спасибо, что не забыл... Позвонил...

Алеко Никитич входит в квартиру. Глория машет ему рукой. Она проверяет сочинения... Нет. Ужинать он не будет. В животе тяжесть. Во рту все еще вкус подозрительного грибного супа, который давали на обед в холдинговском буфете... Алеко Никитич тяжело опускается на диван и берет в руки газету «Накося—Выкуси!». Заголовок набран красными буквами. Значит, сегодня четный день... День Коммунистов, Сочувствующих Демократам...

С-с-с... Посмотрим, что пишут Коммунисты, Сочувствующие Демократам, которым сочувствует Алеко Никитич...

Его внимание привлекает передовица с броским названием «Порхатые!». Почему «порхатые»? Если от слова «порхать», то «порхающие». Если это намек на национальную принадлежность, то «пАрхатые»... Алеко Никитич морщится. Зачем оскорблять национальное достоинство? Зачем называть людей «армяшками», «чурками», «черножопыми», «косыми»?.. Плохие люди встречаются не только среди армяшек и чурок... Он вспоминает детскую наивную присказку: «Не говори «жид» — долго будет жить. Говори «еврей» — умрет скорей». Он вспоминает Симу-Симочку-Симулю, лань длинноногую, ненаглядную, сгнувшую в конце сороковых во время борьбы с космополитизмом... Правильная была борьба, но партия никогда не позволяла себе оскорблений... Скверное время... Время Рапсода... «Порхатые»... И он углубляется в чтение передовицы.

ПОРХАТЫЕ!

Если бы я был лягушкой, я бы прежде всего вступил в Партию Зеленых. Я бы требовал защиты любого болота от окружающей среды. Я бы боролся за увеличение количества ряски, а производство комаров объявил бы приоритетной отраслью и пригласил иностранных инвесторов из высокоразвитых водоемов тропических регионов на основе взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела.

Если бы я был лягушкой, то считал бы, что все беды и напасти от цапель. И не надо нам тыкать всякий раз, что цапли такие же представители животного мира, как и мы, что у них на лапах такие же перепонки! А эти длинные носы! Эта наглая походочка! Эта ненасытная жадность!.. Спросите у любой патристически настроенной лягушки из любого истинно народного застойного водоема: кто твой враг? И она ответит: цапля!..

Они всё узурпировали: власть, культуру, телевидение! Они осквернили даже такую традиционно нашу передачу, как «В мире животных»! Посмотрите заставку этой передачи. Найдете вы там хоть одного представителя подлинно земновод-

ных? Шиш с маслом! Зато туда и сюда порхают и порхают эти длинноносые, жирнокрылые, обогранные кровью наших головастики, наших младенцев!.. А нашу борьбу они презрительно называют «квасным патриотизмом»! За что? За то, что в слове «квасной» присутствует наше древнее первородное «ква»?

А посмотрите на правительство! Да, внешне многие из них похожи на нас. Но приглядитесь, и вы обнаружите все ту же длинноносость! Даже в парламент, где большинство является истинными приверженцами болота, проникли цапельные!

И хватит спорить о Конституции! Мы живем в болоте, и Конституция должна закрепить это наше право.

Если бы я был лягушкой, я предложил бы свой лягушачий проект Основного Закона, отражающего интересы зеленого большинства.

НАШ ЗАКОН

1. Цапли! Убирайтесь вон с нашего болота!
2. Головастики — наши дети!
3. Жабы — наши братья!
4. Каждая лягушка — царица!
5. Каждый житель болота имеет право на «ква» и на материальное обеспечение в старости!
6. Комары и мухи объявляются всенародным достоянием, а личинки, яички и опарыши — стратегическим сырьем!
7. Французы и другие народы, употребляющие нас в пищу, считаются хуже цапель!
8. Надувание нас детьми через задний проход посредством соломинки считается оскорблением чести и достоинства и карается по закону!
9. Проведение на лягушках медицинских, биологических и электрических опытов является геноцидом. Для этого есть собаки, мыши и те же цапли!
10. Наша цивилизация — древнейшая. Наш путь — особый!
11. Мы не рыбы!
12. Но мы и не мясо!
13. Жизнь в болоте — священное право каждого из нас!
14. Продолжение рода является нашей священной обязанностью и осуществляется в массовом порядке во время каждой очередной сессии парламента. Спикер обслуживается вне очереди!
15. Лягушарики всех стран, соединяйтесь!

Гайнан Арский

Алеко Никитич знает, кто скрывается под псевдонимом Гайнан Арский. Это беспощадный сатирик Аркан Гайский... Не Бог весть какая игра ума, конечно, но ловко устроился — по четным дням он гневно клеймит в газете «Накося—Выкуси!» демократов, сочувствующих коммунистам. Под псевдонимом. А по нечетным дням, когда газета выходит с синим названием и принадлежит демократам, он гневно клеймит коммунистов. Но под своим именем... А где убеждения, где принципы?.. Дурное время... Разве Алеко Никитич изменял когда-нибудь своим убеждениям? Да, он вынужден был откреститься от Симы-Симочки-Симули. *Вынужден!* Ибо всегда считал космополитизм явлением разрушительным и позорным. Считайте, что он сдал, предал свою лань трепетную... Но принципы сохранил в неприкосновенности! Да и не предательство это было. Предают ведь не просто так, а ради получения личной выгоды. А какую личную выгоду получил он, потеряв Симу-Симочку? Одни страдания, бессонные ночи, ледяные волны сладких воспоминаний и депрессию, которую преодолел только благодаря Глории... Она все понимает. И тоже не изменяет своим принципам... Продолжает работать в школе. Практически бесплатно. Любит подрастающее поколение, хотя нет уже ни октябрат, ни пионеров, ни комсомольцев... «Кто такой Ленин?» — спросила Глория в третьем классе «Б». «Ленин — это то, что лежит в мавзолее», — ответил мальчик. Позор!.. Кто такой Пушкин? Пушкин — негр. Позор!.. Кто такой Чайковский? Чайковский — гомосексуалист (это в третьем-то классе!)... Стыд! Позор! Куда смотрят родители? Да за это в свое время немедленно бы исключили из пионеров!.. Скверные времена... Даже исключить неоткуда... С-с-с... Что-то давит на голову, и спать хочется... Спать... Но садится рядом с ним Глория и раскрывает школьную тетрадь... «Мы сейчас приступили к Пушкину, и я попросила детишек сочинить собственные стихи с использованием пушкинских цитат. Это моя но-

вая методика. Развивает память и самостоятельность мышления... Послушай, милый, что написала Танечка Ясенева. Ее родители — бизнесмены». И Глория начинает читать с учительским выражением, и каждое слово опускается тяжелым молотом на голову Алеко Никитича...

Я помню чудное мгновенье —
Передо мной явился он,
Как мимолетное виденье,
В руке сжимая телефон.
Такая маленькая штука...
Но, Боже мой, какая сука!
Болтает папа день и ночь,
Забыв про маму и про дочь...
И я вздыхаю про себя:
Когда же черт возьмет тебя?

Алеко Никитич морщится. Девочка, конечно, способная, но как можно родного отца, даже если он бизнесмен, называть «сукой»? Вот она, безнравственность нынешнего поколения... Но Глория убеждена, что девочка просто пропустила букву «к» в слове «скака»... Глория — добрая женщина. Она всегда дает детям шанс оставаться глубоко нравственными... Так думает Алеко Никитич. Но недолго. Мысли его путаются, голова опускается на грудь, нижняя челюсть отвисает, и он начинает похрапывать. Глория откладывает тетрадь в сторону и приглушает телевизор. Не выключает, а лишь приглушает... Заканчивается шоу Руслана Людмилава, и по экрану ползут титры:... «АНХЕЛИТА — ДИТЯ ПАНЕЛИ»... 282-я серия... Глория застывает... Через мгновенье ее уже нет... Она отлетает в цветной мир безумных страстей, страстных безумий, коварной преданности и чистосердечного вероломства... *Камера панорамирует в пурпурном пространстве раскинувшейся безбрежной равнины. Проясняются, профрезываясь в предрассветном режиме первые признаки*

равнодушно развалившейся бразильской природы. Под развесистой чинаритой, раскинув, как троллейбусные штанги, безгранично длинные ноги, дремлет Анхелита. Камера панорамирует по ее крутому бедру через голень к лодыжке и выхватывает жилистую мужскую ладонь, осторожно ползущую от лодыжки через голень к бедру Анхелиты. Рука аккуратно отодвигает край легкой шелковой юбки, все более обнажая персикового цвета тело девушки. Камера панорамирует по чуть впалому животу через возбужденно дышащую грудь и слегка пульсирующую подключичную ямку, остановившись на губах, что-то бессвязно шепчущих, пересохших, но увлажняющихся едва заметным движением кончика девичьего языка. Камера следит за второй мужской рукой, нервно расстегивающей zipper на истертых джинсах. Крупно возникает лицо мужчины с пышными плотоядными усами. Левую щеку пересекает угрожающий шрам, захватывающий левую, жадно подергивающуюся ноздрю. Черные глаза горят лукавым и злобным сексуальным блеском. Еще мгновение – и толстые мужские губы впиваются в тонкие губы Анхелиты. Камера панорамирует по спине мужчины и фиксируется на ритмично двигающихся вверх-вниз ягодицах, едва прикрытых полуспушенными джинсами.

Теперь видно, что это Мигель Варгас Крузейро, пытающийся коварно и насильно овладеть Анхелитой. Девушка постанывает от распространившейся по всему телу истомы. Глаза ее закрыты. Она еще дремлет и не осознает нависшей над ней унижительной опасности. В затуманенном сознании возникает расплывчатое лицо ее возлюбленного Хосе Рамона Кошмарьо. Его голубые глаза полны непорочной чистоты, а сквозь повязанную на голове зеленую бандану просачиваются на слегка удивленно приподнятый лоб нежно-русые волосы. Его красиво очерченные губы шепчут: «Я люблю тебя, Анхелита...» Лицо Хосе Рамона Кошмарьо растворяется и исчезает, а на его месте во весь экран возникает лицо Мигеля Варгаса Крузейро. Крупные капли пота стекают по ложбине зловещего шрама. Мигель Варгас Крузейро тяжело сопит. Анхелита продолжает стонать, ничего не подозревая... С губ ее срываются слова, полные нежности...

– О! Хосе Рамон Кошмаро! Возьми, возьми свою куклку Анхелиту! Я сделаю тебе все, что ты пожелаешь! Бери меня, бери, Хосе Рамон Кошмаро! Я люблю тебя! Я твоя!

– Бери, бери тебя, моя куклка! – хрипит, оскалась от удовольствия, Мигель Варгас Крузейро.

Камера останавливается на внезапно открывшихся глазах Анхелиты. В их карей глубине отражаются ужас и нелепость происходящего. Анхелита пытается выползти из-под навалившегося на нее Мигеля Варгаса Крузейро.

– Негодяй! Ты воспользовался моей беспомощностью, чтобы овладеть мною! Но я не люблю тебя, Мигель Варгас Крузейро! Я люблю Хосе Рамона Кошмаро и жду от него ребенка!

– Теперь ты будешь ждать ребенка и от меня, – ухмыляется Мигель Варгас Крузейро, поднимаясь с девушки. – А ребенок Хосе Рамона Кошмаро останется сиротой!

– Откуда ты знаешь?!

Мигель Варгас Крузейро протягивает руку в направлении выходящего из прерии солнца. Камера панорамирует с руки на распростертое в зарослях сельвы бездыханное тело Хосе Рамона Кошмаро и фиксируется на его закрытых глазах, один из которых слегка приоткрывается. Лицо юноши искажает гримаса боли, ненависти и ожидания скорой мести...

Картинка исчезает. Звучит знакомая музыка. Глория морщится – в самом интересном месте они всегда делают рекламу... По зеленому мультипликационному полю бежит мультипликационный мальчик, чем-то похожий на Хосе Рамона Кошмаро. Он гонится за мультипликационной девочкой. А в воздухе порхают презервативчики с веселыми глазками. Мальчик догоняет девочку, целует и затаскивает в кусты. Слышны любовные «ахи» и «охи». Из кустиков выходит мальчик. Он плачет. И слышит грудной женский голос:

Мальчик девочку любил,
«Светлячок» надеть забыл...

Девочка теперь болеет,
Мальчик обо всем жалеет...

Выбегают новые мальчик и девочка. Заливаясь счастливым смехом, они ловят «светлячки», набивают ими карманы и скрываются в кустиках. Потом они веселые и радостные выбегают из кустиков...

А у Вани и у Мани
«Светлячки» всегда в кармане!!!

Алеко Никитич дышит тяжело и прерывисто. Он одновременно и далеко, и близко. Он здесь и не здесь. Он слышит и не видит. Он видит и не слышит... Он еще не спит, но уже не бодрствует... Кто-то ему говорил, что это называется терминальным состоянием... Он сидит на зеленом поле, прислонясь к большому холодному камню. Его пугает темный лес на горизонте. Он слышит голос полицейского комиссара Фуэнтеса...

– Я слушаю тебя, Анхелита...

– Сеньор Фуэнтес, у меня нет другого выхода. Я должна прибегнуть к вашей помощи... Мигель Варгас Крузейро убил моего возлюбленного и на его глазах зверски овладел мною...

– Откуда ты знаешь, девочка моя?

– Я видела это, сеньор Фуэнтес... Я понимаю, как вам тяжело это слышать... Ведь Мигель Варгас Крузейро – ваш сын... Но прошу вас... Ради всего, что было...

Камера панорамирует по кабинету комиссара Фуэнтеса, по столу, уставленному телефонами, по жилистым рукам, обхватившим седую голову пожилого человека, и останавливается на глазах, полных слез, воспоминаний и позднего раскаяния... Из темноты возникает ясный солнечный день в прохладной заросшей банановой роще... Беззаботно смеется молодая красивая девушка. Камера панорамирует по ее крутому бедру через голень к лодыжке и выхватывает жилистую мужскую ладонь, осторожно ползущую через голень к бедру. Рука аккуратно отодвигает край легкой шел-

ковой юбки, все более обнажая персикового цвета тело девушки...

– Я люблю тебя, Анхелита... Я хочу тебя! Я сгораю в твоём пламени...

– Не надо, сеньор Фуэнтес... Умоляю... У вас жена и ребенок, а я еще... девушка.

– Но ведь ты тоже любишь меня...

– Я люблю вас, сеньор Фуэнтес, но подумайте, что будет со мной... Ведь вы бросите меня!

– Ради тебя я готов на все! Ради тебя я убью жену и сына!

– Ради бога, только не это! Делайте со мной, что хотите... Я люблю вас, сеньор Фуэнтес... О-о-о!

Камера следит за двумя бьющимися в экстазе сплетенными телами Анхелиты и сеньора Фуэнтеса...

...Глория вздыхает... Бедняжка Анхелита... Скольких наивных девушек подстерегают духовные и физические испытания!.. Она косится на Алеко Никитича... Пусть дремлет... Закончится сериал, она приготовит постель... А из леса выходит сеньор Фуэнтес. У него пышные плетоядные усы, черные глаза горят лукавым и злобным блеском... «Бардак, сеньор Фуэнтес! Бардак и разврат!» – говорит Алеко Никитич. «Какой бардак? Какой разврат?» – спрашивает сеньор Фуэнтес почему-то с грузинским акцентом. И Алеко Никитич вдруг понимает, что сеньор Фуэнтес – это товарищ Сталин! Оцепенев от страха и почтения, Алеко Никитич говорит: «Здравствуйте, товарищ Стулин!»... Почему он сказал «Стулин»? Ведь Алеко Никитич знает, что фамилия товарища Сталина «Сталин», а не «Стулин»... Он хочет встать и вытянуться в струнку, но не в силах. Он словно прирос спиной к холодному камню... «Здравствуй, Алеко!» – ласково говорит товарищ Сталин. «Здравствуйте, товарищ Стулин». Почему опять Стулин?!.. «Вот ты, Алеко, говоришь бардак, разврат... А какой бардак? Где бардак?» – «В стране бардак, товарищ Стулин». Снова Стулин! Господи, какой стыд!.. Слезы текут из черных глаз товарища Сталина, и, всхлипнув, он

произносит: «Верно, Алеко. Бардак в стране... А кто сотворствовал этому бардаку? Ты! Ты, Алеко...»

Слезы текут из черных глаз сеньора Фуэнтеса...

– Прости меня, Анхелита! Это из-за меня ты стала дитем панели... Я выведу этого негодяя на чистую воду! Только прости меня!

– Аллах вас простит, сеньор Фуэнтес...

– Ты мусульманка, Анхелита?

– Жизнь заставила меня стать исламисткой, сеньор Фуэнтес.

– Нам трудно будет засадить Мигеля Варгаса Крузейро за решетку... Я не сказал тебе главного... Он наркобарон! У него много денег...

«У тебя много денег, Алеко!» – говорит товарищ Сталин, смахивая слезу со щеки. «Откуда у меня деньги, товарищ Стулин? Я работаю в бюро пропусков в холдинге у Рапсода!» – «А почему у Рапсода много денег? – спрашивает товарищ Сталин и сам отвечает: – Потому что бардак... Вот ты, Алеко, и подумай, почему в стране бардак, если у тебя нет денег, а у Рапсода много денег?» – «Я и сам все время об этом думаю! – кричит Алеко Никитич. – Но я еще подумую!»

На бескрайнем поле трудятся в поте лица чернокожие рабы, собирая криминальный урожай героина. Камера панорамирует к большому камню, к которому привязан молодой агент наркополиции. Его голубые глаза полны непорочной чистоты и презрительного мужества, а сквозь повязанную на голове красную бандану просачиваются на слегка удивленно приподнятый лоб нежно-русые волосы.

– На кого ты работаешь? – спрашивает агента Мигель Варгас Крузейро, перевернув автомат Калашникова.

– Не знаю, – отвечает агент и плюет на Мигеля Варгаса Крузейро.

– А ты подумай!

– Подумай лучше ты, скольким людям ты приносишь героиную смерть!

– Нет, это ты подумай! Да поскорей! Недалго тебе осталось думать! Сейчас я вышибу из тебя мозги!

Камера панорамирует с головы юного агента на автомат Калашникова, а товарищ Сталин повторяет: «Подумай, Алеко. Хорошо подумай... Недолго тебе осталось думать. Сейчас я вышибу из тебя мозги...» И товарищ Сталин передергивает автомат Калашникова. Алеко Никитич чувствует, что все происходящее – это жуткий сон, но в то же время автомат Калашникова в руках товарища Сталина представляется ему не менее жуткой реальностью. Он понимает, что должен сейчас же проснуться, иначе товарищ Сталин вышибет из него мозги... Но мозги уже не в силах управлять одеревеневшим телом. Они лишь истошно зовут на помощь Симу-Симочку, Глорию, Наденьку, художника Дамменлибена, Рапсода, у которого так много денег... Но никто не идет на помощь Алеко Никитичу, а проснуться он не в состоянии... Между тем товарищ Сталин снова передергивает автомат Калашникова и приставляет дуло к мокрому холодному лбу Алеко Никитича... И пересохшими губами он пытается прошептать: «За что, товарищ Сту...»

Лицо Мигеля Варгаса Крузейро искажает гримаса ненависти, по угрожающему шраму на левой щеке скатываются крупные капли пота, и он стреляет в юного агента до тех пор, пока бездыханное тело не перестает дергаться... Камера следит за все увеличивающейся лужей крови, которая просачивается в высохшую землю, увлажняя и удобряя героинное поле смерти... Звучит аргентинское танго, на фоне которого снизу вверх ползут финальные титры...

Авторы сценария – Игнасио Перельштейн и Хулио Нисембойм.

Режиссер – Игнасио...

Глория выключает телевизор...

III

С утра большое зеркало в бронзовой оправе, в которое обычно смотрелись посетители, перед тем как направить свои стопы в «РАПСОД-ХОЛДИНГ-ЦЕНТР», завесили тяжелым темно-синим плюшем. На стеклян-

ную клетку бюро пропусков скотчем прилепили большую фотографию Алеко Никитича в черном окаймлении. В одиннадцать часов из морга мухославской больницы доставили красный гроб с телом покойного, лихо подгримированного и в силу этого помолодевшего. На застывшем лице нельзя было обнаружить следов каких-либо мук и страданий. Однако приподнятые брови создавали выражение вопроса, словно перед окончательным уходом усопший спросил кого-то: «За что?» К двенадцати часам стали подтягиваться люди, желающие принять участие в панихиде. Все происходило в вестибюле холдинга. Метрах в двух от изголовья усадили одетую в черное Глорию. За ее спиной стояли мальчики и девочки. Все в красных галстуках. «Он так любил пионеров...» — вполголоса произносила Глория всякий раз, когда кто-нибудь подходил к ней выразить соболезнование. Присутствовавшие переговаривались тихо, соблюдая скорбное выражение лица. Два здоровых охранника в костюмах кинто на сей раз пропускали всех без предъявления документов и без ощупывательного досмотра...

— Не знаешь, отчего Никитич гикнул? — спросил один охранник другого.

— Да, говорят, телек смотрел, потом уснул и гикнулся, — ответил другой.

— Значит, не мучался... Ты, кстати, последнюю серию «Ангелиты» зырил? Чего там было? А то я в тот вечер отрубился...

— Короче, там такой базар начался! Мигель трахнул Ангелиту и замочил Кошмарика, но вроде не до конца... Она пошла к комиссару, а он, оказывается, отец Мигеля и вдобавок когда-то Ангелите целку сломал... Ну и вроде бы заперезживал... А она беременна.

— От комиссара?

— От Кошмарика! Короче, от Мигеля тоже залетела...

— Ну?

— А Мигель комиссарова агента тоже замочил.

— Круто!.. А когда продолжение?

— Сегодня, бля, понял?! В полпервого! А тут Никитич! Рапсод велел телек выключить...

Появился художник Дамменлибен, возбужденный и недовольный, будто его оторвали от важного дела.

— З-дд-орово, о-орлы, — поздоровался он с охранниками и продолжил пулеметно-заикающейся очередью: — Ра-рапсод пришел? Ба-ба-рдак! Д-два гла-гладиолуса куп-пил т-тридцатку отдал ба-ба-рдак по-погодка н-ни хрена себе хороший был па-парняга ба-ба-рдак два цветочка три-три-дцатка!

И, с досады плюнув на пол, он подошел к гробу, положил к ногам два гладиолуса и направился к Глории. Поцеловал ей руку и спросил:

— На-на-надька не приехала?

— Телеграмму прислала, — как бы оправдываясь, сказала Глория. — Она с Леонидом на гастролях в Мексике...

— Мо-могла и при-прилететь А-алеко ее так лю-любил...

— Он так любил пионеров, — сказала Глория и погладила по голове одну из стоящих рядом девочек. — Он и вас любил... Он всех так любил...

— Бе-бе-регите себя сейчас г-г-грипп сви-сви-сви-репствует...

Дамменлибен еще раз поцеловал Глории руку и поспешил к присутствующим...

Появился поэт Колбаско и, увидев курящего поодаль публициста Вовца, подсеменил к нему.

— Здорово, Вовец, — сказал Колбаско и сунул Вовцу вялую руку.

— Привет, — буркнул Вовец.

— Что новенького?

— Что новенького?! — вылупил глаза Вовец. — Алеко Никитич умер! Вот что новенького!

— Это я вижу, — ответил Колбаско. — Я спрашиваю, вообще что новенького?

— А я тебе говорю: Алеко Никитич умер! И вообще умер, и в частности!

— Я себя тоже омерзительно чувствую, — жалобно сказал Колбаско и поморщился не то от внезапно возникшей боли, не то от того, что он себя омерзительно чувствует...

— Ты всех нас переживешь.

— Мажем, что не переживу!

— И в том, и в другом случае денег все равно не получишь: либо тебя не будет, либо меня.

Колбаско напряженно заморгал, пытаясь понять, почему он не сможет получить деньги за выигранный спор. Потом понял.

— Переживу — так переживу, — согласился он.

— Ну, спасибо! Утешил! — захохотал Вовец, но тут же опомнился и стал опять скорбеть...

Народ продолжал подваливать. Появился Бестиев, воровато понюхал свои подмышки, недовольно покачал головой, достал сигарету, щелкнул зажигалкой и судорожно затянулся.

— Покойник не любил, когда при нем курят, — произнес почвенник Ефим Дынин. — Уважать надо.

— Стилистическая неточность, — огрызнулся Бестиев. — Или не любил, когда при нем *курили*, или не любит, когда при нем *курят*...

— Он всех вас очень любил, — вздохнула Глория. — И вас, Бестиев, и особенно вас, Ефим...

У изголовья стоял Гайский и, тупо глядя на Алеко Никитича, предавался своим мечтам: «У меня будет больше народу. Все придут, и все поймут, кого они потеряли... Даже после смерти завидовать будут... И коммунисты поганые, и демократы вонючие... «Центральная площадь, на которой установлен гроб с телом любимого сатирика, не смогла вместить всех желающих. Скорбные читатели повсюду — на крышах, на деревьях, на фонарных столбах... Свифт, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Гайский отныне стоят в одном ряду. Звучат траурные мелодии. На лафете про-

возьят бессмертные творения... Он прожил трудную жизнь. Его зажимали, его не печатали, ему завидовали, но не могли не любить, ибо его талант был подобен животворному дождю, щедро оросившему иссохшие человеческие души...»

— Слово для прощания имеет Рапсод Мургабович Тбилисян.

Гайский вернулся на землю.

— Уважаемые дамы и господа, — произнес Рапсод Мургабович как можно печальнее. — Алеко Никитич не любил слова «господа». Он любил слово «товарищи», но всей своей самой крайней плотью и сердцем он делал все, чтобы сегодня мы могли говорить друг другу честно и открыто «господа»...

— Он всех любил, — всхлипнула Глория.

— Уважаемые дамы и господа, — продолжал Рапсод Мургабович. — Дорогая Глория Мундиевна... У нас на Кавказе говорят: плохой человек — мертвый человек, хотя и живой. Хороший человек — живой человек, хотя и мертвый... Сегодня мы хороним живого человека, я так думаю... Из гнилого ручья и шакал нэ пьет, из свежего ручья и змея напьется. Алеко Никитич был свежий ручей...

Камера панорамирует с застывшего лица Алеко Никитича на Рапсода Мургабовича, на Глорию, на детектива Серхио, стоящего у изголовья лежащего в гробу седовласого сеньора Бертильдо, на обезумевшую от горя Анхелиту, на притаившегося в углу черноглазого мулата в зеленой бандане. «Какое горе! — кричит Анхелита. — Ты слышишь, няня Розария, какое горе! Нет больше с нами сеньора Бертильдо — моего любимого отца!..

— И вот его нет больше с нами, — продолжает Рапсод Мургабович, — но с нами его дети, живущие в Лондоне под руководством великого скрипача, гэньального скрипача Спивакова, я так думаю...

— Мы отомстим за твоего отца, Анхелита! — говорит детектив Серхио, пронзая взглядом черноглазого мулата в зеленой бандане.

– Настало время раскрыть тайну, – всхлипывает няня Розария. – Я любила твоего отца сеньора Бертильдо... Ты плод нашей любви, сеньора Анхелита! Ты моя дочь!..

– Но мы не оставим тебя, сеньора Глория, – продолжает Рапсод Мургабович и вдруг кричит в сторону проходной. – Выключите телевизор, честный слово! Нашли время для сэриала, мамой клянусь!.. Но мы не оставим вас, дорогая Глория Мундиевна, и в этот торжественный, хотя и печальный день позвольте от нашей компании «РАПСОД-ХОЛДИНГ-ЦЕНТР» преподнести вам скромный презент – уникальный телевизор, с ума можно сойти, честный слово! Экран полтора метра на метр пятьдесят, цветное изображение, стереофонический живой звук! Как в жизни, мамой клянусь! Внесите приз!..

Четверо молодых коротко стриженных парней в камуфляжной форме, раздвигая собравшихся, приволокли скромный презент и поставили его у изголовья гроба. Вдова разрыдалась, и кто-то помахал перед ее носом ваткой с нашатырем... В этот момент к гробу приблизился тощий мужчина с бритой головой и глазами слегка навывкате. В руках его была телекамера, объектив которой держался на длинном основании, напоминавшем слоновый хобот.

– Уважаемый, а вы какую компанию представляете? – тихо спросил Рапсод Мургабович.

– Хорошую, – ответил тощий, не глядя на него.

– Городскую?

– И не только... Мы с покойным знали друг друга. Верно, Алеко Никитич?

Тощий внимательно посмотрел в лицо покойника и сам себе ответил: Верно...

Затем пошли слова прощания. Говорил почвенник Дынин, отмечая вклад усопшего в дело утверждения почвенной литературы в обстановке нравственной бездуховности и политической безответственности.

Выступил бывший заводделом поэзии бывшего журнала «Поле-полюшко» Свищ. Ни прошедшие годы, ни экономические нововведения не повлияли на его сюсюкающую манеру говорить.

— Еще при жизни нашего незабвенного Алекушки, — запричитал Свищ, — я сочинил ему эпитафию. Сегодня я считаю своим долгом ее зачитать... «Дорогой ты наш Алеко! Ты ушел. Прощай, прощай. Ты дороге человеку на том свете освещай! Слава не пройдет земная. Так прописано в судьбе — скоро Глория родная, знаю я, придет к тебе!»... Дорогая Глорюшка! Долгих вам лет жизни всем нам на радость...

Потом зачитали телеграмму из Лондона от Нади, Леонида и Машеньки.

Последнее слово отчеканил Н.Р.:

— По своей жизни Алеко Никитич сделал много ответственных шагов, и ни один шаг он не совершил прежде, чем не взвесив все обстоятельства, чтобы не оступиться. И раз он решил уйти из жизни, значит, так надо. Значит, время пришло. А нам с вами ничего не остается, кроме как продолжать разрубать этот гордый узел добра и зла...

...Когда приехали и пришли на кладбище, заморосил дождь, и запасливые защелкали и зашуршали зонтиками. Вовец и Колбаско по дороге скинулись на бутылку «Гжелки» и, стоя на краю свежерытой могилы, налили по пластмассовому стаканчику.

— Помянем, — деловито шепнул Колбаско и, морщась и борясь с рвотным рефлексом, в четыре глотка опорожнил стаканчик. А так как пьянел он, как говорят врачи, «на кончике иглы», то обвел ошалелым взглядом собравшихся, нелепо взмахнул руками, ноги его разъехались на скользкой глине, и он рухнул в могилу, вызвав у всех общих «а-ах!!». Два землекопа вытащили его из могилы и прислонили к соседней ограде, бормочущего: «На старые дрожжи взяло...»

— Что ж это вы, Колбаско, поперед батьки в пекло лезете? — сказал тощий, повернув в его сторону объектив на хоботе. — Не время еще...

— Да он всех переживет, — язвительно хихикнул Вовец. — Где Пушкин, так? Где Чайковский? Где Ломоносов-Лавуазье, так? А он жив! Он и нас с вами переживет!

— Вас, возможно, и переживет, — спокойно заметил тощий...

Когда могильщики насыпали и подровняли лопатами могильный холмик, Рапсод Мургабович прокричал:

— Все, у кого пригласительные билеты, милости прошу на поминки в ресторан «У ангела».

Вовец выронил из рук пластмассовый стаканчик.

— У тебя есть пригласительный билет? — угрожающе спросил он у Колбаско.

— И так протыримся, — вякнул Колбаско.

Вовец дико завращал глазами и зашипел:

— В гробу я видел эти поминки! Белого коня пришлют! В именном конверте! Иначе ноги моей больше не будет на их похоронах!..

Постепенно кладбище опустело, а к могиле подошли два бомжеватого вида человека. Пожилой мужчина в некогда адидасовском спортивном костюме и не менее пожилая женщина в некогда кроссовках и в некогда вязаной вытянувшейся кофте. В руках у них были авоськи с пустыми бутылками, а на спинах — трухлявые, некогда брезентовые рюкзаки с торчащими сквозь дыры такими же пустыми бутылками. Женщина положила на холмик полуувядшую каллу, а мужчина деловито собрал с могилы все розы и связал из них вполне приличный букет вынутой из кармана бечевкой.

— Прощай, Алеко, и прости, — пробормотал мужчина. — Ты — уже, а нам еще жить надо...

И они поспешили к выходу...

...Пока Ригонда сдавала тару в супермаркете «Полная чаша», Индей Гордеевич успел у Дворца бракосочетаний им. Жанны д'Арк толкнуть за три сотни букет роз опаздывавшему на церемонию какому-то свидетелю со стороны какого-то жениха...

IV

Каждое утро вертикально расположенные извилины Бестиева приходят в движение и подают импульсы, которые немедленно трансформируются в вопросы. Вопросы эти доминируют в зависимости от погоды. В солнечные дни Бестиев пытается понять сущность конфликта между косовскими албанцами и сербами. Ведь если Косово — албанская территория, то при чем тут сербы? А если Косово — сербская территория, то при чем тут албанцы?

Если албанец убил серба на сербской территории, то он не прав. Если серб убил албанца на албанской территории, то он тоже не прав. А если серб убил албанца на сербской территории? Что тогда? Тогда серб прав в том случае, если албанец проник на сербскую территорию с целью убить серба на его же территории. А если албанец — турист или он пришел на сербскую территорию, чтобы убить на этой территории своего же албанца? Серб вправе убить албанца, если застукал свою жену с албанцем на сербской территории. По крайней мере, ясна мотивация. Но если жена серба, которую он застукал на сербской территории с албанцем, сама является албанкой? Ведь не стал бы серб убивать серба, если бы застукал его со своей женой-албанкой на албанской территории! Тем более албанец не стал бы убивать албанца, если бы застукал его с женой серба где-нибудь в Черногории... Так же как и жена серба не стала бы убивать албанца на территории Боснии, если бы застукала его там с другим албанцем...

Странная логика... Птичка насрала на кошку. Кошка насрала мне в тапочек. Я выбрасываю оба тапочка

в помойку, хотя они ни в чем не виноваты. Особенно второй тапочек... Вот они, безжалостные реалии на рубеже тысячелетий — все срут друг на друга, а виноваты сербы и албанцы! Хотя все очень просто: ведь если Косово — албанская территория, то при чем тут сербы? А если Косово — сербская территория, то при чем тут албанцы?..

На этом круг замыкается, импульсы пропадают, вертикальные извилины застывают, и Бестиев рвет недописанное письмо в Организацию Объединенных Наций с собственными предложениями по урегулированию Балканского кризиса...

V

На следующий день после похорон Алеко Никитича в Изумрудном зале «РАПСОД-ХОЛДИНГ-ЦЕНТРА» состоялась долгожданная, заранее разрекламированная общегородская тусовка в честь трехлетия совместной мухославско-австралийской компании «Акбар».

Идея создания «Акбара» за четыре года до этого праздника пришла в голову директору мухославского животноводческого совхоза Фариду Соломоновичу Билялетдинеру, который поделился ею с Рапсодом Мургабовичем. Идея Рапсоду показалась очень креативной, и через два месяца Фарид Соломонович Билялетдинер был найден в подъезде своего дома с трижды простреленной татарско-еврейской головой. А еще через десять месяцев прошла пышная презентация новой компании с загадочным логотипом «Акбар».

Во вступительном слове глава компании от мухославской стороны Рапсод Мургабович Тбилисян представил главу компании от австралийской стороны — некоего господина Бедейкера, с которым Тбилисяна связывала «крэпкая многовэковая мужская дружба»...

В тот же день мухославская общественность узнала, что скрывается за этой аббревиатурой с ислам-

ским колоритом «Акбар» — Австралийская Кондиционная Баранина.

Со следующего дня истосковавшиеся по баранине мухославцы и жители окрестных городов, сел и деревень стали покупать ее на всех рынках и во всех супермаркетах с единственной маркировкой «Акбар»...

За что же поплатился гениальный евро-татарин своей трижды простреленной головой? Об этом спустя год после презентации ляпнул в газете «Накося!» племянник убитого. Всем производителям бараньего мяса в мухославском округе заткнули рты приличными по местным понятиям денежными кляпами. За это производители перестали поставлять баранье мясо на мухославский рынок, создав дефицит... Определенная структура скупала по дешевке всю баранину и отправляла в Австралию. По накладным баранина проходила как художественная литература для истосковавшей по родному слову русской эмиграции. Местная таможня давала добро, за что и получала добро. А через полгода, вылежав в австралийских холодильниках, баранина поступала на российские рынки с маркировкой «Акбар» — Австралийская Кондиционная Баранина. По тройной цене...

История эта, красочно изложенная племянником, вызвала большой шум. А спустя два дня после шума племянник был найден в подъезде своего дома с трижды простреленной головой... После этого дальнейший шум прекратился. Правда, была еще одна, скорее всего неосознанная попытка принизить достоинства «Акбара». На обеде в честь поступления дочери Рапсода Мургабовича Дездемоны в Оксфордский университет один приглашенный из Санкт-Петербурга чиновник сказал, что, по его мнению, наша баранина ничуть не уступает австралийской и надо дать ей дорогу на российский рынок...

По возвращении в Санкт-Петербург чиновник был найден в подъезде своего дома с трижды прострелен-

ной головой. С того момента уже ни у кого не было сомнений в том, баранина «Акбар» — самая кондиционная баранина в мире...

Ровно без десяти семь к подъезду «РАПСОД-ХОЛДИНГ-ЦЕНТРА» под звуки австралийского гимна подкатила русская телега, запряженная тройкой австралийских кенгуру, привезенных из московского зоопарка. Кенгуру были красного, белого и голубого цвета. В телеге сидел улыбающийся Бедейкер и раздавал мухославцам воздушные поцелуи. Позади Бедейкера стояли четыре охранника почему-то в шотландских юбках и хищными взглядами обстреливали толпу. Рапсод Мургабович в бурке в сопровождении четырех стриптизерш в бикини из ночного клуба «Ягодичка» преподнес высокому гостю каравай хлеба в форме австралийского континента. Из динамиков раздались стихи, специально написанные поэтом Колбаско:

Хорошо мы все живем
И баранину жуем!
Это словно божий дар,
Коль на всех столах «Акбар»!

Из толпы взметнулись десятки рук, и послышались крики: «Аллах акбар! Аллах акбар!» Это чеченская диаспора уловила в последних строчках родное звуко сочетание. Но стоявшие в толпе омоновцы объяснили возбудившимся чеченцам, что в данном случае речь идет о баранине, а не о свинине, и чеченцы, поглаживая бороды, успокоились...

Бедейкер и важные городские персоны во главе с Рапсодом Мургабовичем торжественно проследовали в здание, и через десять минут охранники стали пропускать остальных приглашенных почетных гостей. Каждый предъявлял пригласительный билет и удостоверение личности. Затем его обшаривали

с головы до ног, и любые обнаруженные металлические предметы почетный гость должен был бросить в большой ящик. Часы, мобильные телефоны, ключи от машин и квартир, запонки образовали в ящике огромную кучу. «Не забудьте на выходе найти только свои предметы!» — то и дело повторял начальник охраны. После этого почетный гость снимал обувь и проходил через рамку. Если не звенел, то следовал в зал. Если звенел, то возвращался и снова проходил через рамку. Писателя-почвенника Ефима Дынина проводили одиннадцать раз, и только на двенадцатый, заглянув ему в рот, охранники поняли, что звенят четыре передних металлических зуба, после чего прозаика пропустили.

Как ни убеждал Индей Гордеевич охрану, что он личный друг Тбилисяна и Н.Р.Ктоследует, что принимал господина Бедейкера еще в советское время в журнале «Поле-полюшко», ни его, ни Ригонду не пропустили, так как ни пригласительных билетов, ни других документов у них с собой не было. «Мы хотели вручить цветы господину Бедейкеру», — умоляла Ригонда. «Оставьте здесь! — отрезал начальник охраны. — Я передам». Но принесенные с очередных похорон кладбищенские цветы супруги оставить не решились и, вздохнув, поплелись к вокзалу в надежде толкнуть их какому-нибудь отъезжающему.

В центре овального стола разлегся полутораметровый осетр. Пасть его была открыта, и из нее торчала голова маленького ягненка, отчего осетровая морда перекосилась, один глаз полузакрылся, и впечатление складывалось такое, будто осетр ненавидел всех. По периметру осетра стояли арбузные и дынные полусферы, освобожденные от мякоти. В арбузах бликовала красная икра, в дынях подмигивала черная. Следующую окружность составляли рябчики и перепелки, на спинках которых безразлично сидели маленькие

грустные киви. Дальше шел ширпотреб – устрицы, улитки, крабики, осьминожки. Функции тарелок выполняли разрубленные надвое панцири небольших морских черепах. Вместо ложек предлагались бумеранги, а вместо ножей и вилок – иглы дикобраза и миниатюрные томагавки...

За центральным столом стояли особо важные персоны – Бедейкер с переводчиком, Тбилисян, Н.Р.Ктоследует, начальник РУБОПа с супругой, его зять – известный городской авторитет по кличке Кабан с женой, прокурор, знаменитый мухославский проктолог, начальник тюрьмы, хозяйка модного салона с топ-моделями на выбор и ее муж – начальник мухославской налоговой полиции. Обещал подъехать Руслан Людмилов, но пока не появился. От интеллигенции были допущены к главному столу почвенник Ефим Дынин и художник Дамменлибен для выполнения мгновенных портретов на память. Остальные гости толпились вдоль стен перед длинным узким столом с пирожками с капустой и водкой, *а камера панорамирует с пирожков на тело осетра, плывя от хвоста к ненавидящей голове, затем медленно, словно облизывая каждую икринку, скользит по рукам важных персон и застывает на пальцах, выламывающих осетровый бок и засовывающих этот кусок в рот, подробно разглядывая быстро жующее лицо художника Дамменлибена, и снова – на ненавидящую осетровую морду, а с нее плавно – на лицо Рапсода Мургабовича, который собрался произнести первый тост...*

– Дорогие друзья! Дорогой господин Бедейкер! Только что мне сообщили о важном историческом событии нашего президента...

При этих словах Бестиев выскочил на середину зала и закричал:

– Я знал, что Чечню отпустят на все четыре стороны!

– Нэ лезь поперек батьки в пэтлю, – спокойно сказал Рапсод Мургабович, – когда будешь президентом, тогда и отпустишь Чечню на все четыре стороны...

Друзья! Президент сделал важное историческое заявление! В знак протеста против того, что народ России, несмотря ни на что, живет нэ очень хорошо, наш президент объявил голодовку!..

Гости заплодировали, а Рапсод продолжил:

— Давайте откликнемся на эту заботу и начнем жить еще лучше, чтобы нэ дать погибнуть нашему президенту голодной смертью! Наш «Акбар» во главе с господином Бедейкером и вашей покорной слугой оплодотворит всю Россию!

Все гости закричали «ура!», выпили и набросились на еду.

Н.Р. наклонился к рисовавшему его Дамменлибену и вполголоса сказал:

— У Рапсода совсем крыша поехала... Забыл, кто ему первые деньги дал, кто за границу выпустил, кто таможду обеспечил...

Дамменлибен привстал на носки и зашептал на ухо Н.Р.:

— Го-го-внюк он... го-го-внюк... А вы ге-гений... В-вам надо б-брать де-дело в свои ру-руки... Вы ге-гений...

Он снял со спинки рябчика маленькую грустную киви, затолкал ее себе в рот вместе с перышками и поцеловал в щеку жену Н.Р.

— Кра-красавица! — восхищенно сказал он, темпераментно пережевывая экзотическую птичку.

Тут к нему подошел охранник и шепнул:

— Шеф просил перестать жрать и заняться делом...

Дамменлибен, едва не подавившись, схватил со стола фломастеры, листы ватмана, наколол на прощанье на иглу дикобраза пять осьминожков и, затолкнув их в рот, передислоцировался, заняв место рядом с Рапсодом...

— Ты гостя рисуй, а не этого бывшего коммуняка! — строго зашипел Тбилисян. — Совсем у него крыша поехала... Забыл, кто его прикрыл, когда коммунок гоняли...

— Да го-го-внюк он, — забормотал Дамменлибен, — го-го-внюк... А вы ге-гений...

Он поцеловал в щеку жену Рапсода:

— Ва-ваш муж ге-гений!.. А в-вы кра-кра-савица!

Торжественный Прием набирал обороты. Плохо понимающий происходящее Бедейкер внимательно слушал каждого тостующего, и в глазах его можно было заметить испуг.

Около девяти вечера в зале под гром оваций появился Руслан Людмилов с Бананой Хлопстоз. И в тот же момент за окном послышались одиночные выстрелы и автоматные очереди. Зал притих. Но пальба длилась недолго. Минут семь.

— Что это было? — спросил Рапсод у подбежавшего к нему охранника.

— Ерунда, — сказал охранник. — Наши ребята не пустили в зал громил Людмилова... Вот они и обиделись...

— Жертв, надеюсь, нет? — поинтересовался Рапсод.

— Пока неизвестно, — шепнул охранник...

— Это ребята устроили салют в вашу честь, — улыбаясь, пояснил Рапсод Бедейкеру.

— А, салют! — понимающе произнес Бедейкер и вдруг запел: — Салют нерушимый республик свободных...

— Вот именно! — поддержал Рапсод. — Заплатила навеки... Все это было... А теперь мы наш, мы новый мир построим... Кто был никем, тот никем и остался...

— А кто был кое-кем, — многозначительно продолжил Н.Р., — тот стал всем...

— А кто был всем, — злобно прошипел Рапсод, — я того маму... имел!

В этот момент по ушам и по почкам ударила фонограмма и запел Руслан Людмилов, томно глядя на Банану Хлопстоз.

— Не вижу ваши ручки! — заорал Руслан.
И все стали бить в ладоши, предвкушая долгождан-
ный припев...

Беби темноокая,
Девочка нерусская,
Для других — широкая,
Для меня ты узкая.
Что-то между ног твоих
Притаилось белкою.
Для других — глубокая,
Для меня же — мелкая...

Ближе к финалу Руслан подхватил на руки Банану и кругами понес ее к Бедейкеру. Подкружив к нему, Руслан шмякнул Банану на колени Бедейкеру, и та впилась в его губы финальным поцелуйным аккордом. Ошалевший Бедейкер вынул из кармана стодолларовую купюру и сунул ее Банане под лифчик... Глядя на все это, Кабан насупился. Он наклонился к тестю и произнес тихо, но жестко:

— Я, в натуре, у нее ноги из жопы выдерну и спонсировать перестану!

— Ты, главное, не перепутай порядок действий, — сказал начальник РУБОПа.

— Без базара, — буркнул Кабан.

Поднял свою рюмку привычно подвыпивший поч-
венник Дынин.

— Я хочу поднять тост, — начал он, но его перебил не менее подвыпивший поэт Колбаско:

— Тост не поднимают, а произносят!..

— Я хочу произнести... бокал, — продолжал Дынин.

— А бокал не произносят, а поднимают, — не уни-
мался Колбаско.

— Я хочу сказать! — заорал Дынин. — Духовность по-
теряли!.. Где наша российская духовность?.. Всюду од-
на бездуховность!..

— Без-ду-хов-ность? — с трудом по-русски спросил Бедейкер. — Что это есть?..

— Бездуховность? — Дынин агрессивно уставился на Бедейкера. — Ты хочешь знать, что такое бездуховность? — Он показал на осетра с головой ягненка в зубах, на икру, на улиток, на весь стол. — Вот она, бездуховность!

Переводчица мучительно пыталась перевести Бедейкеру смысл слова «бездуховность». Он кивал, внимательно осматривал стол и, видимо, поняв «бездуховность» как «изобилие», что-то сказал переводчице, и та перевела:

— Господин Бедейкер говорит, что каждый народ должен стремиться к бездуховности, и этот роскошный стол свидетельствует о том, что Россия на правильном пути...

— Раньше на столах ни хрена не было, а духовности было навалом! — продолжал орать Дынин. — Народу все это пиршество не нужно! Народу нужна духовность! Предлагаю выпить за духовность!..

Переводчица продолжала переводить:

— Господин Бедейкер не понимает, почему на столе не должно быть бездуховности?

Видя, что дискуссия приобретает непредсказуемый политический характер, Рапсод Мургабович громко запел «Сулико». Все подхватили, а Дынина охранники незаметно выволокли за дверь...

Прием закончился около половины одиннадцатого. Бедейкера обрядили в кавказскую бурку и подарили живого барана. Испуганный баран сопротивлялся, упирался копытцами, пытался бодаться и в конце концов наложил большую кучу черных орешков...

Гости расходились, прихватывая с собой остатки пиршества...

В одиннадцать часов зал опустел, а на всех столах была полная духовность.

Индей Гордеевич и Ригонда пришли с вокзала уже после одиннадцати, дождавшись отхода последнего поезда. На цветы, настойчиво предлагавшиеся пассажирам, охотников не нашлось.

— Пусть этот букет будет принадлежать тебе, Ригоса, — сказал Индей Гордеевич и поставил могильные цветы в пластиковую бутылку из-под «Святого источника» со срезанным верхом.

Ригонда поцеловала мужа в лоб и начала собирать ужин. На кухонный стол, купленный еще при Брежневеве, она постелила газету «Накося—Выкуси!», оставленную кем-то на вокзале, вынула из холодильника «Север» кусок докторской колбасы, обнюхала его со всех сторон и, сказав сама себе вслух: «Вполне еще нормальная колбаса», нарезала, выложив на чайное блюдо. Индей Гордеевич достал из буфета, купленного еще при Хрущеве, неполную бутылку «Киндзмараули», выставленную кем-то утром перед мусоропроводом, пригубил из горлышка, сказав самому себе вслух: «Вполне еще нормальное киндзмараули».

Они сели друг против друга, и, подняв чашку с вином (из оставшегося в живых бокала пила Ригонда), Индей Гордеевич произнес:

— И ведь что интересно... Я же был заместителем главного редактора всесоюзно известного журнала «Поле-полюшко»! А ты, Ригоса, была супругой заместителя главного редактора всесоюзно известного журнала «Поле-полюшко»... А теперь я практически бомж, а ты — супруга практически бомжа...

— Главное, Индюша, что мы живы, — успокоительно сказала Ригонда, — а вот Алеко Никитич, царствие ему небесное...

В этот момент Индей Гордеевич явственно услышал чей-то не то мужской, не то женский голос с непонятным акцентом: *«Говорите четче. Вас не слышно. Еще раз, сеньор Индео. Камера! Мотор! Начали!»*

— И ведь что интересно, — послушно стал повторять Индей Гордеевич, выделяя каждое слово, — я же... был заместителем... главного редактора... всесоюзно известного... журнала...

— Ты это уже только что сказал! — испугалась Ригонда.

И тот же голос с непонятным акцентом произнес: *«Спасибо, сеньор Индео. Всё в порядке. Забудьте».*

— Что я сказал? — изумился Индей Гордеевич. — Я ничего не говорил! Я только хочу сказать... И ведь что интересно... Я же был заместителем главного редактора всесоюзно известного журнала «Поле-полюшко»... А ты была супругой...

Ригонда подошла к мужу и стала гладить его по оставшимся волосам:

— Ты устал, Индюша. Тебе надо отдохнуть... Давай ляжем...

— Оставьте меня, сеньора Ригонделия! — закричал Индей Гордеевич и вскочил со стула. — Я хочу сказать!.. И ведь что интересно!.. Я же был заместителем...

Ригонда положила свои руки ему на плечи и ласково прошептала:

— Давай станцуем наш любимый танец... Помнишь?.. Когда я вышла замуж за заместителя главного редактора...

Она залялякала «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» и вовлекла его в угловатые окружности, стараясь попадать в такт собственному ляляканью. Индей Гордеевич послушно включился в неуклюжие движения, спотыкаясь и наступая Ригонде на ноги... Ля-ля-ля-ля-ляля... ля-ля-ля-ля-ляля... В разломе старого плинтуса появилась маленькая серая мышка... Ля-ля-ля-ля-ляля... ля-ля-ля-ля-ляля... Мышиный глазок панорамирует со стоптанных ботинок Индея Гордеевича на отечные лодыжки Ригонды и далее вверх по выцветшему халату, по некогда пышным грудям, похожим на два сдувшихся воздушных шарика, на фотографию на стене... В центре госпо-

дин Бедейкер («Что он про нас знает, Ригоша?»), справа Алеко Нихитич («Пусть ему земля будет пухом...»), слева Индей Гордеевич – заместитель главного редактора всесоюзно известного журнала («Золотое было время!»)...

Стены кружатся вокруг Индея Гордеевича, и с каждым оборотом видит он в разломе старого плитуса серую мышку и мерцающий красноватый мышинный глазок... Ля-ля-ля-ля-ляля... ля-ля-ля-ля-ляля...

– Нас снимают! – тихо и таинственно говорит супруге Индей Гордеевич и замечает на углу стола таракана с двумя антеннами вместо усиков. – И записывают!.. Негодяи!..

Индей Гордеевич снял ботинок и запустил его в разлом старого плитуса. Таракан от стука рванул через весь стол и исчез, словно провалился...

– Родной... У тебя нервы никуда не годятся, – сказала Ригонда и усадила мужа за стол. – Успокойся... Съешь бутербродик...

Индей Гордеевич тяжело дышит и тупо смотрит на расстеленную на столе газету. Глаза его выхватывают заголовок – «Есть мнение». Он читает:

«Когда до выборов мэра остаются считанные недели, пора внести ясность в представления жителей нашего города по поводу того, кто же претендует на эту ответственную должность в свете только что принятого президентом судьбоносного решения. Человек, которого изберут мухославцы, обязан будет сделать так, чтобы наши люди стали наконец процветать еще больше, чем они процветают сегодня, чтобы президент увидел плоды этого процветания и перестал мучить себя голодом. Мухославцы благодарят нынешнего мэра за то, что он снял свою кандидатуру. Но в пользу кого? В пользу сегодняшнего «господина» и вчерашнего «товарища», занимавшего в свое время высокий пост в мухославской партийной номенклатуре. Читатель уже догадался, что речь идет о фигуре, скрывающейся многие годы в советский и постсоветский периоды под псевдонимом (а вернее, кликухой) Н.Р.Ктоследует.

Так что же это за таинственное «Н.Р.» и зловещее «Ктоследует»?

Из понятных соображений мы не можем назвать имя корреспондента, тайно пробравшегося в секретные архивы и обнаружившего истинные инициальные данные человека, баллотирующегося в мэры нашего родного города.

Так вот. Та небольшая часть наивного мухославского электората, которая намерена опустить в урны бюллетени с именем «Н.Р.Ктоследует», пусть знает, что она голосует не за «Н.Р.Ктоследует», а за Наума Рафаиловича Вердафта! «Вердафт» в переводе с идиш, который вдобавок является сленгом немецкого языка, и означает «Ктоследует».

Честному человеку, даже и еврею, нет нужды скрывать имя и фамилию, которых, как и родителей, не выбирают. Мы помним Лазаря Кагановича, Давида Ойстраха, Илью Эренбурга. Они не прятались за выдуманными фамилиями. А вот Бронштейн почему-то превратился в Троцкого, а Шикльгрубер — в Гитлера...

Почему другой кандидат в мэры, Рапсод Мургабович Тбилисян, гордо не стесняется своего происхождения, несмотря на то что законная подозрительность к «лицам кавказской национальности» превзошла все границы?

Конечно, законченные демагоги типа того же Вердафта могут сказать — а Ленин? А Сталин?.. На это мы им ответим: «Не надо, господин товарищ Вердафт, искать блох в шкуре неубитого медведя! В конце концов, Фаня Каплан, не прятаясь за какой-нибудь Феклой Петуховой, стреляла не в Ленина и тем более не в Ульянова. Она стреляла в идею. Так что не оправдывайтесь, Наум Рафаилович! Офшорная зона может в любой момент превратиться в иную «зону», а мухославский избиратель выберет себе в мэры не какого-то Вердафта, а в полном смысле слова того, «кого следует».

Под заметкой стояла подпись — «Автор». А еще ниже — звездочка и набранный мелким шрифтом текст — «Редакция имеет право соглашаться или не соглашаться с мнением автора».

— Негодяйство! — заорал Индей Гордеевич. — Такого негодяйства не было даже в те годы, когда я был заместителем главного редактора! Всеобъемлющее негодяйство!

И он стал носиться по комнате, разрывая газету на мелкие и все более мелкие клочки. Он рвал их и подбрасывал вверх, и они падали, застилая пол, как конфетти на новогоднем балу. Потом он встал на колени и начал выкладывать из клочков какие-то перпендикулярные и параллельные линии, пока не выложилось слово «негодяйство».

— Я сделал гениальное открытие! — снова заорал Индей Гордеевич. — Посмотри, Ригонша, какое я сделал открытие!..

— Я вижу, — сказала Ригонда и взяла в руки веник.

— Не смей! — зарычал он. — Я перевернул все понятия! Жизнь — не способ существования белковых тел! Жизнь — это негодяйство!..

— Ты гений! — испуганно сказала Ригонда. — Ты гений! Только успокойся...

— Но это еще не всё! — продолжал он. — Если жизнь — это негодяйство, то негодяйство и есть способ существования белковых тел! Ура! Ура! Мы должны это отметить!..

— Я знаю, как мы это отметим, — сказала Ригонда интимно. Она подошла к мужу, положила ему руки на плечи и прижалась к его груди сдвинутыми шарами. Возбуждение Индея Гордеевича было явно ненормальным, и Ригонда всеми силами и средствами пыталась переключить мужа на другую волну.

— Я знаю, как мы это отметим, Индюша! — повторила Ригонда. — Как когда-то... Я хочу тебя! — она растегнула ему рубашку. — А ты хочешь меня! — она растегнула пояс на его брюках, и они упали на пол...

Красноватый мышинный глазок вновь замигал в разломе старого плинтуса. Таракан, оказавшийся на фотографии, застыл на носу Индея Гордеевича, выжидательно расставив усики-антеннки. Из старого телевизора «Рубин», купленного еще при Андропове, зазвучала музыка в стиле фламенко, и два обнаженных тела упали в густую траву родового имения Ригондели. Камера панорамирует с рук сеньора Индео, ласкающих два учащен-

но вздымающихся упругих шарика, на безвольные губы Ригонделии, шепчущие: «Я твоя, Индео... возьми меня... я открою тебе свою тайну...»

Ригонда подтащила мужа к дивану, повалила его несопротивляющееся тело навзничь и легла на него, повторяя ласково: «Вот и хорошо... вот и чудесно... о, как сладко... как сладко...»

Индей Гордеевич лежал с открытыми глазами и мучительно пытался вызвать давно забытые ощущения, как когда-то после прочтения той странной рукописи про мадранта, когда любое прикосновение Ригонды вызывало в нем всеразрушающее цунами, и начинали звучать победные трубы, и в экстатическом зените взрывались, рассыпаясь, цветные гроздья салюта, как после взятия советскими войсками Таганрога, двенадцатью артиллерийскими залпами... Но не было цунами, и молчали победные трубы, и лишь что-то буркнуло внутри живота, и вместо салюта в честь взятия советскими войсками Таганрога выскочила одинокая ракеточка и, описав короткую кривую, не вспыхнув, плюхнулась в мутную лужицу, издав вялое подобие шипения...

– Ты гений! – изобразила стон Ригонда. – Ты гигант!.. Ты король испанский!..

– *Я король испанский?! – вскричал сеньор Индео. – Откуда ты знаешь, что я король Испанский?!*

– *После смерти твоего отца – короля Испании Игнасио Второго, – зашептала Ригонделия, еле сдерживая рыдания, – меня насильно взял в жены взойшедший на трон дон Рапсодио Мургабель, а тебя – годовалого младенца – отдали кормилице и сослали на остров Святого Антония...*

Камера панорамирует с залитого слезами лица Ригонделии на ее обнаженное тело и переходит на обезображенное безумным ужасом лицо сеньора Индео...

– *Значит, ты моя мать?! – кричит он, заглушая гитарные переборы в стиле фламенко. – О боже!! Я был в интимной близости со своей матерью! Вот он, эдипов комплекс!..*

Я не вынесу этого позора! Я убью тебя и тем же кинжалом выколю себе глаза!..

Сеньор Индео бежит по направлению к замку, а Ригонда устремляется за скрывшимся в кухне Индеем Гордеевичем и еле успевает выхватить из его рук кухонный нож. Она прижимает его к стене своим телом. Он пытается вырваться из ее рук и дико кричит:

— Ты знала, что я король испанский и молчала?! Вы все сговорились! Вы подслушиваете и снимаете! Я убью тебя! Я убью тебя!..

— Ты сошел с ума! Ты слышишь, Индюша, ты сошел с ума! — Ригонда стучит кулаком в стену. — Помогите! Вызовите скорую!..

— Я убью тебя! — вырывается Индей Гордеевич. — Я король испанский! Я убью тебя!

Ригонда что есть силы бьет мужа по щеке. Он неожиданно сползает на пол и застывает, прислонясь к стене, с детской улыбкой на лице...

Минут через десять в квартиру входят три здоровенных санитара.

— Ему нужна помощь! — торопливо повторяет Ригонда. — Он считает себя испанским королем!..

— Пили? — деловито спрашивает один из санитаров, глядя на сидящего на полу голого Индея Гордеевича.

— Практически нет, — отвечает Ригонда. — Но он думает, что он испанский король...

— Вы, сеньор, действительно испанский король? — спрашивает второй санитар.

— А вы что, не видите? — надменно отвечает Индей Гордеевич и протягивает руку в сторону комнаты, из которой доносятся пульсирующие звуки гитарной музыки в стиле фламенко. — В моих ушах звучит музыка моих великих предков!..

— В таком случае, ваше величество, мы должны препроводить вас в королевские покои, — говорит третий санитар и ставит Индея Гордеевича на ноги.

Он, не сопротивляясь, принимает величественную позу. Двое других санитаров надевают на него халат...

— Куда вы его везете? — с беспокойством спрашивает Ригонда.

— В элитарную психбольницу, — говорит первый санитар. — Это специальное заведение для работников интеллектуального труда и инвалидов. Кроме лечения и питания, все бесплатно. Вот телефон...

Дверь захлопывается. Ригонда, еще не понимая, что произошло, проходит в комнату, опускается на диван и плачет, глядя на фото на стене... Таракана на носу Индея Гордеевича уже нет. Из телевизора доносится ласковый голос диктора: «Очередную серию телесериала «Возвращение монарха» смотрите завтра в это же время. А сейчас долгожданное ежевечернее шоу с Русланом Людмиловым...»

Ригонда рыдает.

Таракан уже на столе и пытается осилить хлебную крошку.

Маленькая серая мышка возле ножки стола, быстро-быстро перебирая зубками, гложет упавший на пол кусочек голландского сыра.

VII

Вовец и Колбаско покинули торжественную тусовку в районе одиннадцати вечера. Оба были под газом, но еще не совсем.

— Ноги моей больше не будет! — бурчал Вовец. — Они нас за людей не считают... Хотя б из уважения могли позвать за главный стол.

— Главный стол — для випа, — уважительно сказал Колбаско.

— Для чего? — не понял Вовец.

— Для випа... Вип — ви ай пи. Это английское сокращение — особо важная персона...

— А мы, значит, не ви ай пи? — не унимался Вовец. — Я, значит, неизвестно кто? Хер с бугра?.. Я известный публицист! А ты, между прочим, знаменитый поэт... Ноги моей больше не будет!..

— Поэтом можешь ты не быть, но виайпином быть обязан! — выпалил Колбаско. — Ничего каламбурчик? Прямо сейчас придумал!..

— Говно! — сказал Вовец. — Уж точнее — поэтом можешь ты не быть, но хунвейбином быть обязан...

— А причем здесь хунвейбин? — спросил Колбаско. — Бедейкер же не китаец...

— А причем здесь Бедейкер? — не понял Вовец. — Я просто беру на себя смелость заявить, что твой каламбур — говно!

Но Колбаско уже завелся и начал фонтанировать:

— А вот еврейский диалог! Тоже только что придумал!.. Идут два еврея, и один другого спрашивает: «Скажите, ви ай пи?» А другой отвечает: «Ай пи. А ви?» А первый говорит: «Уви... Я тоже ай пи...»

Вовец остановился.

— Хочу пи-пи, — сказал он и стал мочиться на фонарный столб.

— Оштрафуют, — озираясь, сказал Колбаско...

— Имею право, — ответил Вовец. — У меня простатит...

— Жил на свете просто Тит, у него был простатит, — продекламировал Колбаско. — Как, а?..

— Телом чахл и калом бур, вот и вышел каламбур, — ответил Вовец...

— Это Маяковский, — уточнил Колбаско.

— А то я не знаю, — обиделся Вовец, — ты мне еще скажи, что «Муму» написал Достоевский...

— «Муму» написал не Достоевский, а Тургенев, — уверенно сказал Колбаско.

— Идиот! — обращаясь к небу, взвыл Вовец.

— А «Идиот» — Достоевский, — спокойно и с достоинствомотреагировал Колбаско.

— Дегенерат! — уже совсем вышел из себя Вовец.

— Не знаю. Не читал, — тоном победителя закрыл дискуссию Колбаско.

Некоторое время они шли молча, сосредоточенно пытаясь сохранять равновесие. Возле памятника Лошади Пржевальского к ним подошла, живописно хромая на обе ноги, черноволосая девочка лет десяти, в узбекском халатике и попросила с таджикским акцентом:

— Дяденьки, подайте сто рублей... У меня мамка беременная... Кормить нечем, сама — полиомиелитная...

— Пошла отсюда, пока по жопе не получила! — рявкнул публицист.

Девочка, забыв про полиомиелит, ловко отбежала метров на десять и крикнула:

— Сам козел! Сука рваная!.. Сдохнешь скоро!..

— Совсем обнаглели, — сказал Вовец.

— Да, — согласился Колбаско. — У них здесь группировка. ОМОН — Организация Мухославских Объединенных Нищих. Хозяин — цыган, главный спонсор Руслана Людмилова...

— Небось ви ай пи? — язвительно спросил Вовец.

— Еще какой! — уважительно произнес Колбаско. — Одна такая девчушка в день по полторы штуки собирает... Вся твоя пенсия.

— Кстати, где она? — испуганно остановился Вовец и полез в карман брюк. Вынув жиденькую пачку сто-рублевков, он пересчитал и успокоился. — Хоть приносят вовремя...

Взглянув на деньги, Колбаско сосредоточенно задумался, что-то прикидывая в уме, и вдруг сказал с оттенком легкой провокации:

— А слабо тебе одолжить пятьсот рублей для одного дела?.. Отдам с процентами...

Вовец сунул деньги в карман брюк и отказал известным неприличным жестом.

— Верное дело, нутром чувствую, — заляпнул Колбаско.

Вовец повторил неприличный жест.

— Если сфартит, наживемся, — не унимался Колбаско. — Штуку можем наварить... А то и две... Или три...

Взгляд его устремился куда-то вдаль, а вся хрупкая телесная субстанция понеслась в сторону недавно открывшегося в Мухославске очередного казино с названием «Жар-птица»... Субстанция подлетает к игровому автомату, сторублевая бумажка с возбуждающим жужжанием исчезает в прорези купюроприемника, указательный палец правой руки нажимает на клавишу, на вращающемся барабане мелькают какие-то фигурки, фрукты, домики... Бур-люм-бур-люм-бур-люм-бур-люм... Стоп!.. На дисплее застывают три клетки... Бур-люм-бур-люм-бур-люм-бур-люм... Двери клеток открываются, и на экране начинают порхать три желто-красно-синие птицы с хищными горбатыми клювами... Бур-люм-бур-люм-бур-люм... Птицы застывают, как на насесте, на центральной линии... Звучит «Полет Валькирий» из оперы Вагнера «Валькирия», и бегут по нарастающей цифры... Бур-люм-бур-люм-бур-люм-бур-люм... Стоп!.. 1 780 382... Джекпот!.. Спешит менеджер, сбегаются завсегдатаи и поздравляют Колбаско, не скрывая зависти...

— Что с тобой? — спрашивает Вовец.

— Одолжи мне пятьсот рублей! — почти кричит Колбаско. — Я чувствую!..

Вовец прекрасно знает об этой Колбаскиной страсти и изуверски спрашивает:

— А если просрешь?

— Не просру!

— А если?

— Отдам с ближайшего гонорара.

— Ладно, — сдается Вовец, — но за это ты проводишь меня до дома.

— Хоть на край света!

Вовец медленно отсчитывает пять сторублевок, протягивает их другу, и Колбаско, держась за Вовца, уволакивает его в темень переулка...

Возле подъезда Вовец сказал:

— Всё. А теперь верни деньги...

— Не понял, — изумился Колбаско.

— А что тут непонятного? Я тебе одолжил деньги, чтобы ты проводил меня до дома. Ты проводил меня до дома, и теперь верни деньги. Логично?

— В таком случае, — жестко выговорил поэт, — я верну тебе деньги, если ты проводишь меня до «Жар-птицы». Логично?

— Но выпивка за твой счет, — добавил Вовец.

— За счет «Жар-птицы», — уточнил поэт.

Рекламная жар-птица над входом в казино переливалась и искрилась всеми возможными и невозможными цветами, исчезала где-то вверху, оставляя кометный хвост, и снова возвращалась на место.

В казино входили люди двух сортов — молчаливые, сосредоточенно-трезвые или веселые, в меру подвыпившие мужчины в сопровождении молодых женщин полулёгкого поведения. Возбужденные мужчины, перед тем как войти, подстегивали себя, обращаясь друг к другу: «Порвем?» И сами себе отвечали уверенно: «Порвем!»

Посетители проходили через рамку. По обе стороны рамки стояли двухметрового роста охранники в черных костюмах.

Колбаско прошмыгнул через рамку, не издав ни одного подозрительного звука и, указав на Вовца, сказал:

— Это со мной.

Вовец торжественно поведал, что ничего металлического при нем нет и даже вставные зубы — пластмассовые. Но едва он вошел в рамку, раздался резкий высокий звук.

— Оружие? — спросил охранник.

— Мое оружие — слово! — гордо ответил Вовец.

— Ключи? — спросил охранник.

— Потерял! — гордо ответил Вовец.

- Телефон? — спросил охранник.
- Двести тридцать восемь пятьсот двенадцать! — отчеканил Вовец.
- Я имею в виду мобильник, — уточнил охранник.
- Послушай, за кого они меня принимают? — возмущенно обратился Вовец к поэту.
- Публициста отвели в сторону и стали предметно обшаривать металлоискателем. Где-то в районе лобка металлоискатель издал характерный писк.
- Думаете, он у меня железный? — захохотал Вовец и расстегнул молнию.
- У него молния из металла, — сказал охранник коллеге.
- Пропусти его, — приказал коллега.
- Это попрание прав человека! — возмутился Вовец, когда они прошли в игровой зал. — Ноги моей больше не будет!..

Они вошли в огромный зал, по всему периметру которого стояли, как часовые, сверкающие всеми мыслимыми и немыслимыми огнями игральные автоматы. Зал был пуст. Лишь в дальнем углу сидел за автоматом сгорбленный старичок. Они подошли ближе. Старичок пытался засунуть в щель мятые, полурваные купюры разного достоинства. Когда ему это удавалось, он бил по одной из клавиш, и на дисплее появлялись прыгающие и квакающие лягушки и жабы. Старичок заворуженно смотрел на этот танец будущего благополучия и приборматовал: «Давайте, лягушечки, давайте, миленькие мои жабоньки, давайте, мои маленькие...» Он бормотал это, пока вращались на дисплее барабаны. Когда раздавалось сухое безнадежное «клац» и барабаны останавливались в ожидании очередной порции финансовой подкормки, старичок начинал шипеть: «Чтоб вы сдохли, земноводные вонючие! Падлы стоеросовые! Пидарасы зеленые!..» И он снова запикивал в щель очередную купюру и снова бил по клавише: «Давайте, лягушечки, давайте, ми-

ленькие, давайте, маленькие мои...» Клац. «Чтоб вы сдохли, земноводные вонючие! Падлы стоеросовые! Пидарасы зеленые!..»

— Что это с ним? — спросил Вовец.

— Это Степан Савельевич, — тихо и уважительно сказал Колбаско, — бывший директор зоопарка... Вне-сен в Книгу рекордов Гиннеса... Восемьдесят четыре часа не отходил от автомата...

— Мафусаил пошел на побитие? — отреагировал Вовец.

— Ему на самом деле тридцать восемь лет, — уточ-нил Колбаско. — Просто долго не дающий автомат сильно старит...

— А что он хочет поймать?

— Джекпот! — таинственно произнес Колбаско. — Оптимальная выдача!

— Джекпот — это сокращенно Джек-Потрошитель, — засмеялся Вовец, довольный собственной шуткой.

— Типун тебе на великий могучий свободный рус-ский язык, — испуганно отшатнулся Колбаско и пере-крестился.

— А почему в зале только один директор зоопар-ка? — спросил Вовец.

— Это зал для пипла, — ответил Колбаско. — Насто-ящие игроки в «випе»... Пошли...

Перед дверью в «вип» стоял двухметровый ох-ранник.

— Мы в «вип», — гордо отчеканил поэт. — У меня разрешение от хозяина. А это со мной.

— Да идите, вас никто не держит, — зевнул охран-ник и открыл дверь.

Вип-зал напоминал аэропорт, забитый пассажира-ми из-за многодневной задержки рейсов. Зал букваль-но кишел китайцами. В прокуренном воздухе звенело сплошное «янь! инь! юнь! мяо!», сквозь которое ино-гда прорывалась неопишуемая матерная ругань с кав-казским акцентом и русским многообразием.

- Почему так много китайцев? — изумился Вовец.
- А ты в Китае был? — спросил Колбаско.
- Нет.
- Так там еще больше...
- К ним подошла длинноногая девушка в бикини.
- Что-нибудь закажете? — спросила она с улыбкой.
- Дарлинг! — сказал поэт. — Принеси-ка нам по две-сти грамм «Платинового стандарта».
- У вас карточки или за наличный расчет? — поинтересовалась девушка.
- Это мой гость! — грозно сказал Колбаско, указав на Вовца.
- А вы чей гость? — спросила девушка вежливо, но безразлично.
- Ты что, новенькая? — заорал Колбаско. — Я гость хозяина.
- Пойду спрошу у пит-босса, — сказала девушка и исчезла в китайской массе. Через короткое время она появилась с подносом, на котором стояли два стакана с водкой.
- То-то же, — гордо выдохнул Колбаско.
- Пит-босс разрешил принести вам «Гжелку», — доложила девушка, — но сказал, что это в последний раз. Вы уже и так задолжали.
- Совсем оборзели, — буркнул поэт, протягивая публицисту стакан...
- Они выпили, давясь и морщась, и Колбаско стал протискиваться к своему любимому автомату с тремя птицами, а Вовец направился в туалет.
- У входа в туалет стояла длинная очередь китайцев. Вовец пристроился за последним. Китаец повернулся к нему и, показав на очередь и отодвинув Вовца чуть назад, сказал:
- Янь инь тюнь пянь...
- Что пьянь? — не понял Вовец.
- Моя не пила пьянь! — замахал руками китаец. — Моя сань тинь пунь!
- Дунь, — миролюбиво сказал публицист.

Китаец дунул.

— Теперь плюнь, — попросил Вовец.

Китаец плюнул.

— Фунь! — приказал Вовец, ничего не имея в виду.

Но китаец пукнул.

— Вонь! — брезгливо поморщился Вовец.

— Хань Вонь? — спросил китаец. — Твоя иссет Хань Вонь?.. Сейцьяса! Сейцьяса!.. Хань Вонь! Хань Вонь!

Через мгновенье откуда-то появился еще китаец и, протянув руку Вовцу, представился: — Я Хань Вонь. А вы кто?

— Вовец, — вежливо поклонился публицист.

— Осенно приятно, — закивал китаец. — Вовеса! Сказите, сто Хань Вонь будет за вами. Хоросё?

— Хоросё, — покорно согласился Вовец.

Когда он через сорок минут, выйдя из туалета, разыскал автомат с тремя птицами, Колбаско бил по клавише и причитал:

— Давайте, птичечки, давайте, маленькие, давайте, миленькие мои...

Барабаны завертелись, забурлюкали и, клацнув, замерли...

— Чтоб вы сдохли, порхатые вонючие! — заорал Колбаско. — Падлы горбоносые! Пидарасы говнокрылые!..

Вовцу показалось, что за эти сорок минут Колбаско постарел...

— Я пошел домой, — уже с трудом управляя языком, — сказал Вовец. — Давай бабки, которые я тебе одолжил...

— Ты что, серьезно?! — чуть не подавился Колбаско. — Я же на них играю!

Но Вовец настаивал:

— Ты их здесь засадишь, а мне жить не на что!

— Не засажу! Сегодня точно не засажу!

— А если ты сдохнешь за этим автоматом? — не уступал Вовец.

— Не сдохну! — клялся Колбаско. — Не сдохну!.. Ну хочешь, я сейчас завещание напишу!

— Ты что же, хочешь, чтоб я ждал твоей смерти? — заорал Вовец. Глаза его сделались бешеными, и он ткнул Колбаско в грудь.

Верзила, выполняющий предписание не допускать в «випе» конфликтов и драк, взял Вовца за плечи и поволол к выходу.

— Ноги моей больше не будет! — вырывался публицист. — Белого коня пришлете!..

VIII

Матерьясь и проклиная все на свете, Вовец как мог добрался до дома, вошел в подъезд и сказал сам себе:

— Вот сяду сейчас в лифт и уеду куда глаза глядят...

Но лифт не работал.

К начавшемуся предутреннему просветлению ночи он наконец ввалился в квартиру. Чужие деревянные ноги абсолютно не слушались. Приходилось поочередно передвигать их обеими руками.

В комнате горел свет. На старом диване напротив работающего телевизора сидя храпела супруга. Вовец плюхнулся на стул и, тяжело дыша, заворчал:

— Совсем охамела... Ни тебе добрый вечер, ни поужинать...

Он вытащил из кармана смятые купюры полученной сегодня пенсии и, пересчитав, с ужасом обнаружил нехватку пятисот рублей...

— Странно, — подумал он вслух. — Куда они делись? Ведь я сегодня никуда не выходил... И не пил вроде бы... На почте обманули?.. Но ведь я сегодня никуда не выходил... Я получаю полторы тысячи, так?.. А здесь тысяча, так?.. Вот если бы я получал две тысячи, то оставалось бы полторы, так?.. И все равно не хватало бы пятисот рублей... Вот она, забота о пенсионерах... Не пойду голосовать... Ноги моей больше не будет... Белого коня пришлют...

Его размышления прервал бодрый, знакомый до боли голос Бананы Хлопстоз: «Компания «Хрен-тви» продолжает показ совместного испано-украинского сериала «Богатые тоже хочуть». Напоминаем содержание предыдущих серий. Оксана понимает, что, с одной стороны, ее все время любит Хулио. И ей это нравится. Но, с другой стороны, ее любят Хесус Нечипоренко из Андалусии и Степан Кошмарно Крузейро из Мелитополя. И ей это не нравится. Смотрите развязку этого любовного четырехугольника...»

Камера панорамирует с только что отлюбившего Оксану Хулио, влетающего в синие шаровары, на тяжело дышащего Вовца и переходит на бескрайнее маковое поле. В стоге мака курят Степан Кошмарно Крузейро и Хесус Нечипоренко, передавая друг другу запретную пахитоску.

– Слухай, амиго, ты шо, сдуфел, в натуре? Ты шо, не бачишь, шо Оксана втюхалась по самые брови в этого отморозка Хулио?

– А Хулио?

– А шо Хулио? Ему по тамбурину!

– Шо-то я, Крузейро, не догоняю.

– Я с тебя тащусь, Хесус!.. Короче, как балакають у нас в Андалусии, она его типа того, хочеть... Усёк?

– Мы с тобой, Крузейро, менты из Интерпола, в натуре, и наше дело – прищучить эту наркобаронессу...

Вовец впадает в забытье... Откуда-то издалека доносятся до него причитания Оксаны: «Нэнько Розария! Если я узнаю, что у Хулио мезальянс с Хесусом, я либо покончу в себя, либо наложу себе в руки!..»

Вовец с трудом открывает глаза на заключительных аккордах сериала и видит проплывающие снизу вверх по экрану титры: *Русский перевод Дездемоны Тбилисян.*

– Пихает свою дочурку где только можно, – зло бурчит Вовец, плюет в экран и выключает телевизор. Потом он поднимается со стула и, шатаясь, подходит к старинному зеркалу, доставшемуся ему по наследству от покойной матери.

Он смотрится в зеркало, и что-то настораживает его. Вовец рукавом протирает зеркало... Всё на месте... Отражается диван со спящей женой, стол, на столе — смятые купюры, дверь на балкон... И все-таки что-то не так... И вдруг он понимает, что не видит в зеркале свое собственное отражение!.. А где же он?..

— Где я? — испуганно кричит Вовец. — Где я?

Он трясет за плечо спящую сидя жену:

— Где я? Где я?

Но ее разбудить невозможно...

— Где я? Где я?..

И в этот момент откуда-то снизу, из-под балкона, слышит он отчетливое конское ржание. Из последних сил Вовец выходит на балкон и, опершись животом на перила, смотрит вниз. И на сером асфальте утреннего пустынного двора рядом с грязно-зеленым мусорным контейнером он видит неестественно белого коня с белой развевающейся гривой и белым хвостом. Конь призывно ржет и нетерпеливо бьет копытом по асфальту..

— Прислали-таки! — восхищенно шепчет Вовец. — Прислали!

Он медленно перевешивается через перила и летит вниз, распугивая своим криком черных ворон:

— Прислали!.. Прислали белого коня!.. Прислали!.. Присла...

Больше ноги его в Мухославске не было...

IX

Чем больше окрашивался талант беспощадного сатирика Гайского в политические цвета, чем беспощаднее защищал он правых от левых, а левых от правых, чем нахальнее становилось его материальное благосостояние, тем страшнее было ему признаваться самому себе в угасании главного физиологического инстинкта, обоснованного еще Фрейдом, предававшегося ана-

феме в советские времена и окончательно узаконенного в поп-эстраде.

Если раньше даже небольшой фрагмент женской голени, словно случайно мелькнувший в разрезе платья, манящий многообещающими колготками, как наживка для голодной рыбы, вызывал в нем бурный всплеск необузданных эмоций, прилив крови ко всем заинтересованным органам и желание проникнуть в эту таинственную бесконечность, в ту самую точку, в которой пересекаются, вопреки законам геометрии, две сексуальные прямые, то теперь даже призывный обрез обтягивающей юбочки, разделяющий бедра на две равные части, рождал лишь сухую констатацию фактов и унылое — «Да. Ну и что?..»

Да. Это женские ноги. А это синтетические, телесного цвета колготки. Ну и что?..

Да. Под колготками модные трусики, едва прикрывающие выбритый лобок, уходящие задней перемычкой глубоко-глубоко между ягодиц и врезающиеся в анальное отверстие. Ну и что?

Да. Под трусиками женский половой орган, выполняющий и мочевыделительную функцию. Ну и что?

Да. Это контурируются сквозь тонкую маечку соски молочных желез. Ну и что?

Да. Это губы, обнажающие порой нездоровые и даже искусственные зубы. Ну и что?

Да. Это уши. Два наружных проявления органа слуха с некогда опьяняющими мочками. Ну и что?..

Беспощадный сатирик никогда не был обласкан представителями девичьего или женского пола. На его страстные токования откликались максимум один-два раза в год практически никем не востребованные особи. Порой, увы, и за деньги. Но Гайский твердо был убежден, что эта недодача интимной близости объяснялась исключительно тем, что все завидовали его таланту и, если была возможность хоть этим доставить ему неприятность, они эту возможность использовали. «Не дают», потому что завидуют.

Эта формула была для Гайского аксиомой. Но только он один знал всю глубину такой физиологической безысходности...

Теперь, когда, казалось бы, в этом смысле все облегчилось, сатирика мучил вопрос: а не признак ли это грядущей старости? О том, что возраст проникал во все дыры, Гайский, разумеется, не думал.

Эта потребность вернуть утраченное и привела рыцаря средств массовой информации с анонимным визитом к знаменитому не только в Мухославске целителю-проктологу.

Целитель в своей лечебной практике исходил из того, что базовый источник здоровья человека находится не в продолговатом мозгу, не в полушариях, ведающих теми или иными процессами, не в мочках ушей, не в ступнях, не в разных химерных точках, обожествляемых китайскими иглоукальвателями, а в единственном месте, стыдливо прикрываемом всем человечеством в течение тысячелетий, звучащем на всех языках постыдно-скабрено, являющемся неприличным адресом, по которому отправляют друг друга конфликтующие между собой люди. Местом поклонения и стимулятором излечения от всех без исключения недугов для целителя являлось заднепроходное отверстие... Anus!.. Здоровый anus – здоровый дух! Теорема, не требующая доказательств.

Мухославская интеллигенция, бизнесмены и представители властных структур называли его почтительно заднепроходцем. По парадоксальному стечению обстоятельств, фамилия заднепроходца была Передковский.

Среди пациентов, отбоя от которых не было, контрольный пакет, безусловно, принадлежал посетителям мужского ночного клуба «ЭГЕЙское море», куда нет-нет да и заглядывал Гайский, но исключительно в роли беспощадного сатирика...

Выслушав жалобы Гайского на недополучение от жизни столь желанных физиологических наслаждений, Передковский попросил его раздеться и принять позу, аналогичную изображенной на картине, висящей над столом. Передковский гордился этим методом обозначения позы, что позволяло ему избегать непонятого «положения Тренделенбурга», унижительного «коленипреклоненного положения», путаного геометрического «встаньте на четыре точки», наконец, грубого «встаньте раком». В данном случае все было просто — пациент смотрел на картину, примеривался и принимал нужное положение.

Гайский уже было обозначил необходимую позу, как вдруг его взгляд остановился на светящейся окружности, похожей на циферблат часов с цифрами и какими-то знаками...

— Что это? — спросил он.

— Это креативная схема анального отверстия, — таинственно ответил Передковский. — Окружность разделена на двенадцать зон, каждая из которых отвечает за нормальную функцию определенной части жизнедеятельности организма. На двенадцати часах — центр мыслительно-мозговой активности. На двух часах — зона питания и обмена веществ. На четырех часах — деловая активность... Ваша проблема располагается в районе половины шестого...

— Утра или вечера? — поинтересовался Гайский.

— В зависимости от того, когда вы чувствуете наибольшую несостоятельность вопроса, — уточнил цельтедь.

— К сожалению, круглосуточно, — вздохнул сатирик.

— Будем диагностировать и лечить, — деловито сказал Передковский. — А чтобы вы не сосредоточивались на производимых мной манипуляциях, я дам вам для ознакомления мою статью, теоретически и философски обосновывающую мою методику...

Он положил перед Гайским развернутый в нужном месте журнал и углубился в исследование. Гайский же углубился в статью:

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Все горести, болезни и конфликты в нашем внешне цивилизованном мире происходят оттого, что люди в течение поступательного развития сами себя закабалили оковами заблуждений и условностей. Они гордятся мерзким и украшают все низменное. Они топчут идеалы и ханжески презирают все по-настоящему возвышенное и прекрасное. Они пожирают все бегущее, летающее, растущее и плавающее. Они нарушают природный баланс, все более изоощренно культивируя по сути варварский процесс поглощения, делая его важнейшей частью любого праздника — от дня рождения и свадьбы до международного саммита на самом высоком уровне. В процессе надругательства над природой мы одновременно зашлаковываем собственный организм, сокращая и без того скудное количество времени, отведенного нам на пребывание в райском месте вселенной, именуемом Землей. И если бы не великий дар самоочищения, человечество давно прекратило бы свое существование.

Так почему мы бесстыдно украшаем так называемые праздничные столы, произносим пышные, порой лицемерные тосты и здравицы, принимаем за трапезой судьбоносные, порой преступные решения, а великий процесс самоочищения стыдливо прячем в утлых кабинках, разделяя на условные, навязанные в глазах и ушах «М» и «Ж», лишая народ радости общения в животворном потоке самоосвобождения от мерзости?

Так не правильнее ли будет упрятать моменты поедания в отдельные, скрытые от постороннего глаза места, чтобы лишить человека возможности кичиться своим варварством и самому определять меру своей преступности перед окружающим миром?

А предметы для очищения, неспроста нежно именуемые писсуарами и унитазами, вынести на скверы и площади, украсить их цветами и лепнинами, чтобы люди, сбросившие оковы условностей, могли в любой момент привстать или присесть, приветствуя друг друга, приглашая к мирному диалогу не только на основе родства или взаимосимпатий; но и на уровне самых представительных международных форумов!

...Камера панорамирует с обнаженных ягодич сатирика на орудующие между ними руки Передковского в красных резиновых перчатках.

— Тебе не больно, Анхелита? — спрашивает овладевший ею полицейский.

— Нет... Наоборот, — говорит Гайский, продолжая читать статью.

— Вот и хорошо, — деловито говорит полицейский. — И если кто-нибудь узнает о нашей с тобой связи, тебе конец!

— Я кохаю тебя, любя моя! — стонет Анхелита. — А ты?

— И я тебя кохаю, — говорит полицейский, пряча пистолет в кобуру.

Гайский заканчивает изучение статьи:

«Поэтому именно область анального отверстия ответственна буквально за все функции живого человеческого организма. Устарело известное латинское изречение «Per aspera ad astrum!». Да здравствует новый лозунг — «Per anus ad astrum!».

Сатирик закрывает журнал и думает: «Теперь понятно, почему у нас все делается через жопу...»

— Ну вот и ладно, — говорит Передковский, снимая красные резиновые перчатки. — Как я и предполагал, налицо снижение активности побудительных импульсов в зоне вашей заинтересованности и, как следствие, вялая наполняемость кровеносных сосудов, депрессирующая процесс эректильности и ведущая к падению libido до уровня практически ниже нуля.

— Я смогу жить? — упавшим голосом спросил Гайский.

— Безусловно.

— Я... в другом смысле...

— А в другом смысле — будем лечить.

Заднепроходец достал из холодильника коробочку и вынул из нее нечто, похожее на среднего размера сосиску.

— Это свечи моего изобретения, — сказал он. — В их состав входят вытяжки из спермы австралийского кролика и пятнистого мексиканского осла. «Виагра»

отдыхает. Пусть вас не смущает размер, привыкнете. Я дал этим свечам грандиозное название. Самодвижущий бренд! «Фауст-патрон»!.. Как?

— Снаряды с этим названием были на вооружении германской армии во Второй мировой войне, — неуверенно произнес сатирик.

— Вот именно! — подхватил заднепроходец. — Это оружие настоящего мужчины! А Фауст — символ омоложения! Вы читали Гёте?

«Всё к одному», — подумал Гайский, вспомнив, что на азербайджанском языке слово «гёт» переводится как «задница»...

— Введете патрончик, — заключил Передковский, — и через час позвоните по этому телефону и попросите Аню. 23-30-30.

— Зачем? — поинтересовался Гайский.

— Это моя ассистентка... С вас сто пятьдесят баксов. Если поможет, донесете еще сто. Если нет — верну вам двадцать пять... Только не переусердствуйте со снарядами. Последствия мало изучены, а потому непредсказуемы.

...Сатирик примчался домой, забежал в туалет. С трудом зарядил «фауст-патрон» и стал ждать, глядя в окно на проходивших мимо всех без исключения женщин. За час он насчитал двести восемьдесят шесть женщин разного возраста, но ни одна из них не вызвала никаких эмоций, кроме унылой констатации: «Да. Ну и что?»

И тут Гайский вспомнил про ассистентку Передковского. Он набрал нужный номер и попросил Аню.

— Это Гайский, — сказал он.

А в ответ послышалось маняще-зазывное:

— О-о-о!.. Вы могли и не называться... Ваш голос способен свести с ума кого угодно... Неужели это не сон?.. О-о-о!.. Подожди... я разденусь... вот так... Ну давай!.. Освободи мое тело от кипящей лавы страсти!.. Ну же!..

— Что я должен сделать? — спросил сатирик.
— Прочти что-нибудь свое, — простонала ассистентка.
— Тебе нравится мое творчество? — оживился сатирик.

— О-о-о!.. Не мучь меня... Читай! Читай!..

Гайский находит на столе свежий номер газеты «Накося—Выкуси!», в котором опубликован его ответ на его же статью в предыдущем номере под заголовком «Есть мнение», и читает:

— «Есть другое мнение...»

— Не надо другое! — стонет ассистентка. — Свое читай! Свое!

— И то мнение, и противоположное мнение, — поясняет сатирик, — оба моих мнения.

— Не мучь! — стонет ассистентка.

И Гайский читает:

— «Когда до выборов мэра остаются считанные недели, пора внести ясность в представления жителей нашего города по поводу того, кто же претендует на эту ответственную должность в свете только что принятого президентом судьбоносного решения...»

— О-о-о!.. Как хорошо! Не останавливайся! О-о-о!..

— «Человек, которого изберут мухославцы, обязан будет сделать так, чтобы наши люди стали наконец процветать еще больше, чем они процветают сегодня...»

— А-а-а!.. Еще! Еще!.. О-о-о!..

— «Один из претендентов имеет окончание «ян» в своей фамилии...»

— О-о-о!.. Еще раз!.. Еще!..

— «Один из претендентов имеет окончание «ян» в своей фамилии...»

— О-о-о!.. Волшебно! *Только не торопись Хулио!..* Еще!.. Еще!.. *Ангелита! Любимая! Ты должна знать, что один из претендентов...* О-о-о!.. Ты меня сводишь с ума своим претендентом!.. А-а-а!.. Не останавливайся!

— Ты должна знать, что «один из претендентов, имеющий окончание «ян» в своей фамилии, выливает

ведра компромата на честнейшего человека, обвиняя его в иудаизме и семитизме, к чему честнейший человек не имеет ни малейшего отношения. А кто же на самом деле тот, кто выливает ведра компромата на честнейшего человека? Торгаш! Спекулянт, связанный с криминалом, австралийскими воротилами и чеченской мафией!..»

— Ну еще! Еще чуть-чуть!..

— «И весь мухославский электорат должен это знать!» Ты слышишь меня, Анхелита?..

— О-о-о!.. Слышу, Хулио! Слышу! Но я не Анхелита... О-о-о!.. Ну давай же!..

— Но я тоже не Хулио! — изумленно кричит Гайский и все понимает: из открытого окна соседней квартиры слышен идущий по телевизору сериал...

— Ну где же ты, родной?.. Почему ты остановился?.. Не мучь меня!.. Читай!

— «Так пусть же мэром нашего города станет не Тифлисян, не Ереванидзе, не Бакулиев, а Ктоследует!..» Тебе понравилось, Анечка?

— Да! Да!.. Но мне мало!.. Еще читай! Еще!

— Но моя статья кончилась...

— Читай! Читай, что хочешь!.. О-о-о!.. Я убью тебя!.. Читай же!

Гайский берет лежащий на столе томик Гоголя и читает то, что попало ему на глаза:

— «С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решил, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос!..»

— Вот!.. Во-о-от! Все!.. Я рухнула!.. О-о-о!.. Ты гений!.. Гений!.. О-о-о!..

Ассистентка вешает трубку, а Гайский вслух спрашивает сам себя:

— Так я не понял, кто гений — я или Гоголь?

И в этот момент он чувствует где-то в малом тазу едва заметное, давно забытое шевеление и урчание. Он бежит в туалет и заряжается еще одним «фауст-патроном»... И это становится его ошибкой, которая вскоре приведет Гайского к непредвиденным трагическим последствиям...

На исходе дня Гайский ощутил в области своего мужского достоинства определенное напряжение и набухание. Его это сначала обрадовало, но вскоре смутило, потому что напряжение и набухание совершенно не зависели от соблазнительных женских образов, которые по воле сатирика возникали у него в сознании. Напряжение и набухание были как бы сами по себе, а обнаженные женские натуры мелькали, как обложки мухославского журнала «Пелагея», не вызывая ни малейшего желания. Где-то около двадцати трех часов Гайский вынужден был расстегнуть молнию на джинсах, так как мужское достоинство уже не помещалось в отведенном для него пространстве.

«Эх, вот так бы лет двадцать назад», — с грустью подумал Гайский...

Он задремал, сидя на стуле, а когда почувствовал необходимость справить малую нужду и встал, то произвольно задел мужским достоинством ножку письменного стола. Ножка треснула посередине, и стол, покосившись, рухнул со всем, что на нем стояло... Сатирику стало немного не по себе, и он позвонил заднепроехавшему Передковскому.

— Я предупреждал вас не переусердствовать в использовании «фауст-патронов», — сказал Передковский. — Приходите завтра... В крайнем случае, верну вам двадцать пять долларов.

— Я боюсь, что завтра я уже не смогу показаться на улице, — испуганно сказал Гайский.

— Попробуйте прижать его к животу ремнем, — посоветовал целитель и повесил трубку.

Армейский ремень от портупеи, сохранившийся от деда, служившего еще с Буденным в Гражданскую войну, лопнул на второй минуте, как передутый воздушный шарик...

К середине ночи метавшийся по квартире Гайский переломал половину мебели, и соседи стали стучать в стену, грозя вызвать милицию.

К рассвету в мужском достоинстве сатирика возникла жуткая пульсация, ритмически совпадавшая с ударами сердца. Центр тяжести резко переместился, и Гайский бревном рухнул на пол, ударившись головой о батарею...

...Прибывший вместе с милицейским нарядом судмедэксперт констатировал смерть известного мухославского сатирика в результате кровоизлияния в область мужского достоинства...

Этот случай спустя восемь лет будет представлен Передковским на Международном конгрессе проктологов в Найроби и получит официальное наименование «симптом Гайского»...

Хоронили его в специальном гробу с отверстием в крышке. Гроб срочно был смонтирован по спецпроекту Мухославским ритуальным ОАО «Счастливого пути».

Через сутки после похорон на свежей могиле Гайского выросло странное, фаллической формы дерево, которое быстро достигло двенадцатиметровой высоты.

На вершине его свили гнездо три невероятные разноцветные птицы с хищными клювами. Каждый день в восемь часов вечера они куда-то улетали, а в шесть

часов утра возвращались в гнездо и игриво перестукивались клювами, словно делясь впечатлениями об удачно проведенной ночи...

Х

За две недели до выборов Рапсод Мургабович назначил Н.Р. Ктоследует стрелку. В записке, которую получил Н.Р., значилось:

«Дорогой Н.Р.! Чтобы не делать взаимных глупостей и лишней крови, назначаю тебе стрелку в неформальном месте тэтнатэт, в натуре. Разберемся полюбовно, чтобы не оскорблять наших мам взаимно, без лишней крови, короче. Чтобы договорится, кто из двух нас будет мэром без базара и без лишней крови. Кроме нас двух в нашем тэтнатэте будет Бестиев. Он, конечно, болван, в натуре, но придумал одну крылативную популярную идею, чтобы кто из нас обоих будет мэром сразу будет популярным у народа. Жду тебя в пятницу в семь часов вечера в закрытом клубе «Найди меня». Мои люди обеспечат неформальность и амнанимость без лишней крови. Целую тебя мой дорогой. Твой в натуре Рапсод».

Получив записку, Н.Р. подумал: «Пожалуй, на этот раз он прав. Чтобы не устраивать лишнее кровопускание, лучше договориться в “неформальном тэтнатэте”...»

Закрытый клуб «Найди меня» находился на окраине Мухославска. Клуб имел женский и мужской «Стартовые залы», мужской и женский «Банкетные залы», «Танцзал», пять «Интимных уголков» и «Успокоительный бассейн». Этот культурно-развлекательный центр обеспечивал полную анонимность и был доступен только для очень состоятельных клиентов. По четным дням мужчины заказывали себе женщин, по нечетным дням женщины заказывали себе мужчин,

по субботам клуб обслуживал гомосексуалистов, по воскресеньям — лесбиянок.

Посетители сперва фуршетили, затем проходили в соответствующий «Стартовый зал». Здесь они раздевались догола, и каждый выбирал себе по половой принадлежности маску по душе. Обязательным условием для всех масок было наличие прорези для глаз. Маски отличались большим разнообразием — от «Бабы-Яги» до «Пугачевой», от «Кощея Бессмертного» до «Президента». После этого каждый обмазывался фосфоресцирующим раствором и только после этого проходил в «Танцзал».

«Танцзал» был лишен даже минимального освещения, поэтому ориентироваться можно было лишь по фосфоресцирующим фигурам. Женщины светились оранжевым, мужчины — синим светом.

Когда «Танцзал» заполнялся до необходимого и достаточного кворума, начинала звучать диско-музыка с возбуждающими низкими частотами.

Ориентируясь исключительно по свечению, каждый находил своего партнера или партнершу. Музыкальные поиски продолжались сорок пять минут, и после заключительного аккорда отдыхающие застывали с найденными половинами. После этого пары разбредались по «Интимным уголкам».

Интимный уголок освещался тускло, но так, чтобы над ложем можно было прочесть инструкцию:

ИНСТРУКЦИЯ

1. Время пребывания в «интимном уголке» — 7 минут.
2. Снятие масок до, во время и после соития запрещается!
3. В целях конспиративности запрещаются любого вида разговоры, включая шепот.
4. Во время соития категорически запрещается кусать и щипать партнера (партнершу).
5. Категорически запрещаются поцелуи, оставляющие кровозлияния и синяки (засосы).
6. Разрешаются нежные поглаживания эрогенных зон и стоны, не превышающие по громкости трех децибелл.

7. Посетитель, нарушивший хотя бы один из вышеперечисленных пунктов, объявляется персоной *non grata*, облагается штрафом в размере 20 месячных окладов, и его имя становится достоянием средств массовой информации.

Удачного соития!

По истечении семи минут пары успокаивались в «Успокоительном бассейне» и расходились по раздевалкам. Время одного сеанса составляло два с половиной часа. Культурно-оздоровительный комплекс «Найди меня» работал круглые сутки...

В пятницу в семь часов вечера Н.Р. подъехал на своем «мерине» к культурно-оздоровительному центру. Судя по прогуливавшимся с безразличным видом четырем амбалам, Рапсод был уже внутри. Приказав водителю забрать себя через два с половиной часа, Н.Р. прошел в здание.

В «Стартовом зале» он обнажился, намазался раствором, выбрал себе маску «Уинстон Черчилль», которого уважал безмерно даже в те годы, когда обязан был ненавидеть, и открыл дверь в банкетный зал.

За маленьким столиком, уставленным пивом и закуской, уже сидели Рапсод в маске «Сталин» и Бестиев в маске «Рузвельт». То, что Рапсод сидел в маске «Сталин», показалось Н.Р. абсолютно логичным. «Но почему этот засранчик нарядился Рузвельтом? — подумал он. — Из него такой же Рузвельт, как из меня — Черчилль...»

— Привет участникам Ялтинской конференции! — бодро крикнул Н.Р.

— Садись, дорогой! Гостем будешь, — сказал Рапсод.

— Здорово, Бестиев! — сказал Н.Р.

Вертикальные извинки Бестиева мгновенно застучали в голове, выстраивая правильный ответ: «Раньше он со мной не здоровался совсем. Теперь поздоровался как с равным. То ли его опустили, то ли он

считает, я поднялся. А может быть, его опустили, и он поздоровался со мной как с равноопущенным?.. Или его не опускали и он поздоровался со мной пренебрежительно, как с вечно опущенным?.. Если я скажу ему: «Здорово, Н.Р.!» — а его не опускали, он обидится и затаится».

Не в силах найти правильный ответ, извилинки зазвенели и застыли, и Бестиев сказал:

— Да. Хорошо здесь.

— Сейчас досмотрим сэриал и приступим, — говорит Рапсод.

Камера панорамирует с маски Сталина на маску Рузвельта, затем — на маску Черчилля и далее — на телевизионный экран, в котором группа вооруженных молодых парней в банданах садится в вертолет.

— Они их выследили, — комментирует Рапсод.

— Кого? — интересуется Н.Р.

— Анхелиту и Кошмарио... Сучонок Крузейро настучал, что они отдыхают на озере Титикака. Теперь им конец...

Вертолет поднимается вверх. Звучит «Муча» в тревожном варианте. Анхелита и Кошмарио плещутся в Титикаке... Звучит «Муча» в нежном лирическом варианте...

Вертолет летит... Звучит «Муча» в тревожном варианте...

Кошмарио увлекает Анхелиту под воду и целует ее в губы... Звучит «Муча» в нежном лирическом варианте...

Вертолет летит... Звучит «Муча» в тревожном варианте...

Реклама...

— Ладно. Все ясно, — говорит Рапсод и выключает телевизор. — Вот, Бестиев, — продолжает он говорить. — сколько у нас с Н.Р. по жизни связано... Правда, Н.Р.?

— Да уж, — говорит Н.Р., — связано много.

— Только смерть нас развяжет... Правда, Н.Р.?

— Да уж, — добродушно соглашается Н.Р., — смерть всех развяжет... Даже тех, кто не связан.

— Но мы не позволим смерти доводить нас до лишней крови, — продолжает Рапсод. — Мы договоримся. Кто из нас двух будет мэр, тот и будет мэр. А кто из двух нас нэ будет мэр, то тот у того, кто будет мэр, станет левой рукой...

— Зачем же левой? Правой рукой, — улыбается Н.Р.

— А я левша! — хохочет Рапсод. — Верно, Бестиев?

— Да-а... Хорошо здесь, — кивает Бестиев.

— Хорошо, Рапсод. Ты будешь моей левой рукой, — соглашается Н.Р.

— А ты — моей правой, — многозначительно говорит Рапсод. — Значит договорились... Вот тут Бестиев придумал одну кривантивную популярную идею. Это позволит одному из двух нас, кто будет мэром, и другому из двух нас, кто будет его рукой, завоевать народное доверие... Сам скажешь, Бестиев или мне доверишь?

— Да-а... Хорошо здесь, — кивает Бестиев.

— Я знал, что ты мне доверяешь, — улыбается Рапсод. — Так вот. Народ наш любит жаловаться... То с приватизацией надули, то с пирамидами кинули... Теперь вот зарплату вовремя нэ платят... Хотя деньги у народа есть... Так вот. Создаем общественный фонд заработной платы... Пиарим, рекламируем, разъясняем, комплектуем очереди добровольцев, желающих положить деньги в фонд заработной платы, и из собранных средств выплачиваем в срок заработную плату. Каждый месяц. И народные нэрвы успокаиваются, а то то Чечня, то цунами... Я правильно изложил, Бестиев?

— Да-а... Здесь очень хорошо, — кивает Бестиев.

— Я правильно изложил, — продолжает Рапсод. — Это даст нам возможность мэрить в Мухославске два три срока, а там поглядим... Если ты, Н.Р., согласен, вот тебе моя рука...

И Рапсод протягивает Н.Р. правую руку.

- Ты же, Рапсод, левша, – поддевает Н.Р.
– Извини, дорогой, – совсем забыл, – говорит Рапсод и протягивает Н.Р. левую руку.
Они обнимаются и целуются.
– А я со своей стороны, мамой клянусь, до самых выборов нэ буду обгрязнять твое имя на взаимной паритетной основе, – говорит Рапсод.
– Тем более что Гайского, хлябь его твердь, больше нет... – добавляет Н.Р.
– Да, – крестится Рапсод, – чтоб ему там... земля была с пухом!.. А теперь – вперед! Я угощаю! Расслабимся... Девочки... Туда-сюда... Амнонимность полная. – Он звонит по мобильнику: – Женский батальон на месте? Отлично!.. Смело, товарищи, куда? В ногу! Конечно, в ногу!..

Сталин, Черчилль и Рузвельт проходят в «Танцзал»...

Бдум-бдум-бдум-бдум...
Бьют низы, отражаясь где-то за грудиной.
Бдум-бдум-бдум-бдум...
Дергаются три оранжевых и три синих силуэта.
Бдум-бдум-бдум-бдум...
Спариваются, расходятся, меняются...
Бдум-бдум-бдум-бдум...
Соединяются в хороводе...
Бдум-бдум-бдум-бдум...
Беби темноокая...
Бдум-бдум...
Девочка нерусская...
Бдум-бдум...
Для других – широкая...
Бдум-бдум...
Для меня ты – узкая...
Бдум-бдум...
Что-то между ног твоих...
Бдум-бдум...

Притаилось белкою...
Бдум-бдум...
Для других — глубокая...
Бдум-бдум...
Для меня ты — мелкая...
Бдум-бдум-бдум-бдум...
Спасибо-о-о-о!..
Бдум.

Наступила тишина, и приоткрылись двери трех «Интимных уголков»...

Рапсод втащил свою пару в «уголок» и прикрыл дверь. В тусклом освещении он увидел на ней маску «Мерилин Монро». Это возбудило его, он привлек ее к себе и стал нежно поглаживать, пытаясь нащупать хотя бы одно эрогенное место. На левой ягодичке рука Рапсода ощутила небольшое шершавое уплотнение. Он слегка сдвинул маску и прошептал еле слышно в левое ушко своей партнерши:

— У моей младшей доченьки такая же родинка...

Она провела рукой по его правой лопатке и пролепетала:

— У моего отца такой же шрам на этом месте...

Рапсод отшатнулся и сорвал с нее «Мерилин Монро». Перед ним стояла его младшая дочь Мельпомена.

Она сняла с него «Сталина»:

— Какой позор!.. Бедная мама!..

— Протрепешься маме, — прошипел Рапсод, — скажу ей, что ты платная шлюха!..

Они надели маски, выскочили из «уголка» через другую дверь и плюхнулись в бассейн. Им необходимо было успокоиться...

Через пять минут в бассейне приступили к успокоению и две остальные пары.

...Со стены бассейна подмигивает большой телевизионный экран, искаженно отражая происходящее

действие на поверхность бассейна. И кажется порой, что среди успокаивающихся пар безмятежно плещутся Анхелита и Кошмарио.

Камера панорамирует со Сталина на Анхелиту, с Анхелиты – на Черчилля, с Черчилля – на Мерилин Монро, с Мерилин Монро – на Кошмарио, с Кошмарио – на Софи Лорен...

– Я люблю тебя, Анхелита...

– Я люблю тебя, Кошмарио...

– У нас будет много детей...

Кошмарио машет рукой в сторону прибрежных зарослей, из которых смотрит на них и смеется, сидя в детской коляске, трехлетний Микола.

– Я буду любить его как своего, – говорит Кошмарио. – Кстати, почему ты назвала его Миколой?

– Не надо об этом, – прошу тебя, любя моя...

Анхелита увлекает Кошмарио под воду и там целует его. Из двух слившихся в экстазе ртов выбулькивают и поднимаются на поверхность пузырьки счастья...

Рапсод крепко держит Мельпомену за руку.

– О! Да у вас роман! – кричит проплывающий мимо успокоившийся Н.Р. – Как ты думаешь, Бестиев? У них роман?

– Да-а... Хорошо здесь, – отвечает Бестиев, не сводя глаз с экрана.

Камера панорамирует с целующихся Анхелиты и Кошмарио на противоположную сторону залива, где с приземлившегося вертолета выскакивают парни в черных масках и в банданах.

Слышны крики: «Здесь они!.. Я их вижу!»

И парни в масках и банданах открывают огонь из автоматов от живота веером.

Влюбленные вскрывают и вздрагивают от попадающих в них пуль...

Еще мгновение – и голубая вода приобретает буро-багровый оттенок...

Звучит «Муча» в траурном варианте...

– Здесь где-то рядом ублюдок!.. Поймать его!..

«Ублюдок» вылезает из коляски и, неуклюже переваливаясь, скрывается в прибрежных джунглях...

На финальных титрах триста восемьдесят четвертой серии продолжают звучать автоматные очереди и успокоительная вода бассейна приобретает буро-багровый оттенок...

...Когда в помещение бассейна ворвалась вызванная по тревоге группа мухославского РУБОПа, бойцам предстала весьма неприятная картина. На поверхности плавали шесть трупов... Сталин, держащий за руку Мэрилин Монро, Софи Лорен, Рузвельт, Мать Тереза и прибившийся к стенке Черчилль...

У входа начальника РУБОПа уже атаквали неизвестно каким образом пронюхавшие о трагедии журналисты.

– Каковы мотивы преступления?

– Мотивов три, – без эмоций отвечал начальник РУБОПа. – Основной мотив в интересах следствия оглашен быть не может. Два других мотива не подлежат обсуждению тоже в интересах следствия.

– Кто, по-вашему, главные заказчики и исполнители?

– Имена заказчиков и исполнителей в интересах следствия – пока не известны.

– Бывали ли вы раньше в культурно-оздоровительном центре «Найди меня»?

– Бывал... Два раза... И оба раза в интересах следствия...

Начальник РУБОПа покраснел и сел в машину...

В центре мухославского кладбища на постаменте стояли два гроба. Издали это напоминало катамаран. В одном гробу лежал Рапсод Мургабович Тбилисян, в другом – Н.Р.Кто следует. Остальные четыре тела были похоронены в общегражданской муниципальной зоне накануне.

На похороны собралась вся общественность города. Приехал и Руслан Людмилов, отменивший дневной концерт.

— Мельпомену жалко, — тихо сказала какая-то старушка. — Красивая была девочка.

— А кому не жалко Мельпомену? — откликнулся Дынин. — Всем жалко Мельпомену...

Держа в руках траурную ленту с надписью «От благодарных мухославцев», на пьедестал медленно и торжественно взошел Кабан. Несколько секунд он молча стоял у изголовья, переводя взгляд с одного гроба на другой, словно удостовериваясь, тех ли людей хоронят. Потом он вытащил из кармана платок и, промокнув оба глаза, склонился над Рапсодом.

— Рад тебя видеть, — тихо произнес Кабан и, посмотрев на Н.Р., добавил: — И тебя заодно...

Он спустился и встал рядом со своим тестем.

— Твоих рук дело? — глядя вдаль, спросил начальник РУБОПа.

— А если не моих, то что, папа? — также глядя вдаль, спросил Кабан.

— Тогда придется заводить дело, а иначе опять висяк, — сказал тесть.

— И так висяк, и сяк висяк, — отреагировал зять.

— Боюсь, не подвел бы ты меня, — вздохнул тесть.

— Главное, ты меня не подведи, — успокоил зять.

На пьедестал вскарабкался Колбаско и сказал:

— Траурный экспромт...

Дикие звери убили людей

Ради поганных и алчных идей.

Знай же, Н.Р., будь уверен, Рапсод,

Помнит вас наш мухославский народ...

— На каких это зверей намекает этот Пушкин хренов? — жестко спросил Кабан. — А то я прямо сейчас из него Байрона сделаю.

— Не горячись, — попытался охладить Кабана начальник РУБОПа. — Настоящая жизнь только начинается...

К ним подошел заднепроходец Передковский и сказал таинственно:

— Алеко Никитич... Индей Гордеевич...

— Что, он тоже? — спросил Кабан.

— Чем так жить, лучше умереть, — констатировал Передковский. — Вовец, Гайский... Теперь вот они... Какая-то эпидемия, косящая определенных людей... Вы-то как?

— Мы — нормально! — сказал Кабан. — Мы люди неопределенные!

— Берегите анус, — попрощался Передковский и направился к группе молодых мужчин из ночного клуба «эГЕЙское море»...

XI

Тот странный день до сих пор вспоминают в Мухославске, но о том, что странному дню предшествовала не менее странная ночь, знают немногие...

Накануне, подсчитав игровые убытки последних двух лет, Колбаско покрылся холодным потом и сам себе дал клятву завязать с казино навсегда. Воспользовавшись внезапным носовым кровотечением, он даже нацарапал кровью в своей тетрадке:

Больше я играть не буду!
Казино навек забуду!
Больше я уже не лох!
Гадом буду! Чтоб я сдох!

Засунув в правую ноздрю кусочки ватки, он поцеловал в лоб спящую Людмилку и улегся рядом. Но уснул не сразу. Ему не давали покоя пятьсот рублей, которые он остался должен покойному Вовцу.

Колбаско лежал и думал: «Если откладывать каждый день по десятке, то вернут деньги вдове Вовца я

смогу через пятьдесят дней... Но это круто... Если — по пятерке — то через сто дней. Тоже крутовато. Если — по рублю — то где-то через полтора года... Идеально было бы по пятьдесят копеек, но есть опасность, что либо вдова, либо я не доживу до часа возврата... Можно, конечно, попытаться одолжить пятьсот рублей у Дамменлибена и отдать их вдове, но какая разница, кому быть должным?.. Самое простое, конечно, взять у Дынина — ему вообще можно не отдавать — не отравится... Но он, засранец, удавится, а и рубля займы не даст...»

На этих математических выкладках сознание оставило поэта, и он заснул. Под утро его посетил удивительно сладостный сон... Международная ассоциация поэтов объявляет его лауреатом премии «Золотая рифма», и — почему-то на собрании бывших воинов-афганцев — ему вручают установленную на платиновой подставке самую настоящую золотую рифму в натуральную величину и чек на сумму один миллион в какой-то валюте. И в этот момент он ощущает знакомые спазмы в нижней части живота и, чтобы не обделаться от счастья, бежит по зеленому полю в сторону одинокого солдатского сортира, прижимая к груди драгоценную награду... Но едва он успевает принять позу «орла», как раздается страшный треск и он проваливается в яму со зловонными фекалиями... Он с огромным трудом гребет правой рукой, сжимая в левой золотую рифму, но тело не слушается, и он погружается в коричневое болото, захлебываясь и задыхаясь...

Колбаско вскакивает с постели и подбегает к окну. Он распахивает его, и от порыва свежего воздуха и от удара по глазам утреннего солнечного луча он приходит в себя. Но увиденное во сне рождает в мозгу невероятные ассоциации!.. Сон в руку! Сон в руку! Левая ладонь, только что сжимавшая золотую рифму, начинает нещадно зудеть... Сон в руку!.. С одной стороны, деньги и золото во сне — это к говну, но огромное количество говна, в котором он чуть не утонул вместе

с золотом, — это определенно к деньгам!.. Это знак свыше!..

Колбаско рвет на мелкие кусочки листок с написанными кровью стихами и этим полностью себя обесклятвливает. Он судорожно роется в ящичке письменного стола, достает завернутый в тряпочку старинный серебряный портсигар — подарок тещи... В крышку портсигара вделан какой-то красновато-мутного оттенка камень... За неделю до смерти теща, вручая зятю эту драгоценную вещь, поведала ему о том, что когда в середине тридцатых годов, будучи молодой девушкой, она жила с мамой в родном селе Малые Семки на Орловщине, за ней ухаживал красивый красноармейский лейтенант, отец которого был полковником еще в царской армии, и он незадолго до того, как его расстреляли красные, передал сыну на хранение старинный портсигар. И в знак горячей любви лейтенант подарил этот портсигар теще... «Береги его, сынок, — сказала тогда теща зятю. — Дорогая штука... От какого-то знаменитого ювелира... Не то Неглиже, не то Беранже...»

Сон в руку! Сон в руку!.. Колбаско одевается и, сжимая зудящей левой рукой портсигар, бежит в самый престижный в Мухославске ювелирный магазин...

...Магазин только что открылся, и Колбаско — первый посетитель.

— Шо вас привело в столь ранний час в мою скромную лавочку? — спрашивает с одесским акцентом лысый очкастый ювелир.

— Хочу для интереса оценить одну реликвию, — вроде бы безразлично отвечает Колбаско.

Но ювелир опытен. Он видит, что посетитель нервничает, и он понимает, что имеет дело с фразером. И он говорит как бы между прочим:

— Ну-ну... Показывайте вашу раритетину.

— Предупреждаю — вещь дорогая, — говорит Колбаско. — Заинтересовались из Фонда Сореса, но не хочу, чтоб меня кинули.

И он кладет портсигар на прилавок. Бросив оценочный взгляд на портсигар, ювелир совсем обыденно произносит:

— Все клиенты одинаковы — каждый уверен, шо вещь стоит миллион, а на самом деле это чистой воды фуфло... Сейчас разберемся... А вы пока посмотрите телек. «Анхелита»... тоже фуфло.

Ювелир берет портсигар и уходит в подсобку...

...Камера панорамирует с Колбаско, уставившегося в экран телевизора, на склонившегося над маленьким столиком ювелира, через лупу рассматривающего принесенное изделие с красновато-мутным камнем... Не веря своим глазам, ювелир тихо бормочет: «Шоб я так жил — это чистой воды Фаберже. Шоб я так жил! Не меньше ста тысяч баксов. Шоб я так жил!..»

Камера панорамирует с бормочущего ювелира на экран телевизора. Толпа несет Анхелиту на руках. Танцуют сексуальную румбу смуглокожие девушки... Счастливый Кошмаро кричит: «Анхелиту в президенты!» Толпа начинает скандировать этот клич. «Стойте!» — кричит Анхелита. — Стойте! В подземелье, где меня мучили бандиты, я обнаружила сокровища древних инков!.. Мы больше не будем зависть от иностранного капитала!..»

— Одно к одному! — шепчет Колбаско. — Это тоже знак!

Ювелир выходит из подсобки.

— Ну, шо я могу сказать, — говорит он, кладя портсигар на прилавок. — Это не совсем фуфло, но и не ах, как вы думаете. Посеребренная вещица с искусственным рубинчиком... Не знаю, шо вам там обещал ваш Сорес, но из симпатии к вам, себе в убыток, могу предложить четыре... максимум пять тысяч рублей...

Колбаско не верит своим ушам. Пять тысяч!.. Вот он, сон в руку!

— А шесть? — на всякий случай спрашивает он.

Но ювелир — матерый волк-психолог. Ягненку уже не вырваться.

— Шесть пусть вам платит Сорес! — жестко говорит он и пододвигает портсигар ближе к Колбаско.

— Ладно. По рукам. Грабьте, — скрывая волнение, произносит Колбаско.

— Еще одна такая сделка, — говорит ювелир со вздохом, — и я разорен... Правильно мне покойная мама говорила: настоящий ювелир не должен иметь мягкое сердце...

И он медленно, вслух, отсчитывает пять тысяч рублей...

Сердце поэта бьется так, словно хочет пробить изнутри грудную клетку и вылететь наружу. Это напоминает ему стук колес в поезде, когда ритм рождает стишки и песенки... Ту-дук, ту-дук, ту-дук, ту-дук. Какой приятный четкий звук. И он туда меня зовет, где мой джекпот, где мой джекпот...

Предошущение растет, предчувствие ширится... «Чуйка», как говорит старичок из Книги Гиннеса, не обманывает.

Подгоняя время к открытию «Жар-птицы», Колбаско пьет кофе, перебегая из одного кафе в другое, и одним из первых проходит через рамку.

— Чего-то вы сегодня рано, — говорит охранник.

— Чуйка! — бросает Колбаско и бежит к ненавистно-любимому автомату с птицами. Он ласково гладит его, приговаривая «хороший, хороший», потом, убедившись, что никто не смотрит, целует автомат в щель купюроприемника... «Хватит мелочиться, — думает Колбаско. — Сыграем по пятерочке на десяти линиях!.. Пятьдесят рублей — удар. Пять тысяч — это сто ударов... Нормально...»

Он вставляет в щель первую тысячу — и та, жужжа, исчезает. В квадратике, обозначающем число кредитов, возникает «1000»...

Он бьет по клавише... Бур-люм, бур-люм, бур-люм... На одной линии выстраиваются два домика. Крайний

барабан продолжает вращаться... Бздынь!.. Рядом с двумя домиками возникает краснокрылая птица... Та-ра-ра-блюм... И в кредитном окошечке вместо «1000» высвечивается «2000»... «Йес! Йес! — радостно кричит Колбаско. — Сон в руку! Чуйка не подвела!..» С первого удара у него уже шесть тысяч! Это начало! Он попал в период отъема!.. Даже если он сию же минуту расплатится с вдовой Вовца, у него останется пять с половиной тысяч!.. Не зря он во сне провалился в сортир!.. Куплю Людмилке букет роз!..

Он заказывает сто грамм водки, выпивает залпом и закуривает... В кармане шуршат четыре тысячи, в окошечке — две... Новый удар по клавише... Бур-люм, бур-люм, бур-люм... Бздынь!.. В перекрестье застывает летучая мышь! Бонус! Десять бесплатных игр!.. Вертятся барабаны... Первая игра... Бур-люм, бур-люм, бур-люм... Вторая игра... Бур-люм, бур-люм, бур-люм... Третья... Пятая... Восьмая... Десятая... Бздынь! Три домика! Побежали циферки, побежали... Та-ра-ра-блюм!.. «3600»!.. Мама рódная! Уже семь шестьсот!.. Еще сто грамм!..

— Ваш день сегодня, — подавая стопку с водкой, говорит официантка в бикини.

— И ночь будет моя! — кричит поэт. — Ты чего после смены делаешь?

— А что? — игриво спрашивает официантка.

— А то! — с намеком на «то» говорит он. — Жди меня, и я вернусь!

— Не профукайте, — улыбается девушка и убегает...

Нет. На этот раз он не профукает. «Хороший! Хороший!» — гладит автомат Колбаско и опять целует щель купюроприемника.

Над автоматами на световом табло проплывают малящие красные цифры джекпота... «1 000 000»... Тридцать тысяч баксов!.. Можно будет вдове отдать тысячу рублей... В память о Вовце... Людмилке — корзину роз! Штуку — на девчонку!.. Хорошенькая!.. Можно купить десять акций «Акбара»!.. И — на Канары

с Людмилкой... Или с девчонкой... Хорошенькая!.. А Людмилке — две корзины роз. Хрен с ней! Пусть радуется!.. Может, еще и на «рено» останется... Не обязательно с автоматическим управлением...

Манящие красные цифры джекпота прерывают поток мечтаний... Лимон! Лимон! Лимон!.. Я сорву его! Сорву!..

Опять удар по клавише... Бур-люм, бур-люм, бур-люм... Бздынь!.. Шиш... Еще удар... Шиш!.. Циферки в кредитном окошечке начали обратный отсчет... Три тысячи... Удар... Две тысячи девятьсот пятьдесят... «Давайте, птицы вонючие!.. Порхатые стоеросовые!..». Удар... Удар... Удар... Две тысячи... Ведь только что было три тысячи шестьсот!.. Но все равно шесть остается... А было-то пять... Отдам завтра пятьсот, Людмилке — букет гвоздик... А девчонка перебьется... Размечталась, дура!.. Акции, если честно, ни к чему... И Канары — чистое пижонство... За триста рублей можно в однодневном доме отдыха комнату снять с пансионом... Или просто так с Людмилкой по парку прогуляться...

Удар!.. «Ну давайте, птичечки!.. Давайте, ласковые!.. Пташки мои долгожданные... — Бздынь! — Чтоб вы сдохли, падлы стоеросовые!.. Порхуны шизокрылые!.. — Удар!.. — Давайте, птичечки! Летите, миленькие!..» Бздынь!.. На горизонтальной линии застыли две птицы!.. Бур-люм, бур-люм, бур-люм... Вращается крайний барабан... Ну!.. Бздынь!.. К двум птичкам пристраивается домик!.. Йес! Йес!.. Побежали циферки слева направо... «3000»... «4000»... «8000»!.. «9000»!.. А если бы вместо домика да третья бы птица!.. Бегут на табло красные цифры дразнящего джекпота... Был бы лимон!.. Еще сто грамм!..

— Ну что, договорились после смены?

— Снимите, пока не поздно, — говорит девушка в бикини, — а то профукаете...

«Еще чего! Профукаете!.. Не профукаем! Не для того я ночью в сортир упал!.. Работает Чуйка!.. Работа-

ет!.. Куплю десять акций... Пять — девчонке подарю... Хорошенькая!.. А Людмилке утром скажу, что в газете дежурил... Куплю ей две корзины!.. И, на Мальдивы с девчонкой!.. Хорошенькая!.. А на Канары пусть фреера едут... Может, и на «рено» останется!.. Ну что стоило третьей птичке прилететь?.. Ладно, и так хорошо...»

...А время летело стремительно. Оно бурлюкало, тарарамило, бздынило, нащелкивало циферки слева направо, отщелкивало их справа налево, уносило Колбаско на Мальдивы, сбрасывало его в комнату однодневного дома отдыха, покупало цветы для Людмилки и акции, отдавало деньги вдове Вовца, снимало бикини с хорошенькой девчонки, пересаживало с «рено» на яхту и с яхты на автобус № 8, стограммило и прокуривало, пока наконец в кредитном окошечке не застыло «500», а пальцы не устали нащупывать подкладку пустого кармана, в котором еще недавно шуршали тысячерублевые бумажки, полученные от утренней продажи драгоценной тещиной реликвии...

Колбаско сидел, тупо уставившись на дисплей... «Было же двенадцать, и девять было, — думал он, — и шесть было... И пять было, когда я пришел... Почему осталось только пятьсот?..»

Он собрал последние остатки слюны и плюнул на стекло дисплея. Потом что было силы ударил автомат кулаком...

— Ведь говорила — профукаете, — сказала девушка в бикини, вытирая тряпочкой заплеванный дисплей.

— Пошла вон, уродина! — заорал Колбаско.

— А сломаете аппарат — платить придется, — добавила девушка, ставя на поднос пустую стопку.

— Еще сто грамм, тварюга! — зарычал поэт.

— Сейчас охрану позову, — сказала девушка и ушла.

Колбаско, бормоча что-то невнятное, покачался взад-вперед, словно примериваясь, и ударил по максимальной ставке...

Бур-люм, бур-люм, бур-люм... Тара-ра-ра-блюм... Бздынь!.. И на центральной линии застыли, будто случайно, три наглые птицы...

– Джекпот!! – истошно заорал Колбаско. – Джекпот!..

И в этот момент средняя краснокрылая птица встала на когтистых лапах, отвела назад хищную голову и со всего маху ударила ею в стекло дисплея и долбанула поэта горбатым клювом в самый центр лба...

Прибежавшие охранники увидели распластавшегося на полу Колбаско с красным, как у индийской женщины, пятнышком во лбу...

На прозрачном нетронутым дисплее вне всяких комбинаций разбросаны были домики, вишенки, цветочки...

В седьмом часу утра, когда в казино «Жар-птица» появились милиционеры и судмедэксперт, в свое гнездо на дереве над могилой Гайского прилетели три разноцветные птицы с хищными горбатыми клювами и расположились на дневной ночлег...

ХII

...Внучатый племянник покойного Алеко Никитича был директором специализированного лицея для детей особо одаренных родителей. Специализированность лицея обязывала его быть платным. Это позволяло держать в классах компьютеры, иметь кинозал, танцплощадку, аквариум двенадцать на восемь, в котором жили два осьминога, выловленные непосредственно в Марианской впадине, и крытый теннисный корт.

После смерти двоюродного дедушки директор лицея устроил туда Глорию преподавать литературу в классе седьмой ступени.

Перед тем как представить Глорию классу, директор пригласил ее в свой кабинет для предметного введения в курс дела.

...Директор, откинувшись, сидит в кресле за своим столом и неотрывно наблюдает за сумасшедшей автогонкой, происходящей на огромном экране, вмонтированном в противоположную стену.

Заметив вошедшую Глорию, он жестом указывает ей на стул, стоящий по другую сторону стола, и продолжает наблюдать за телевизионным действием...

В автомобиле рядом с водителем, лицо которого скрыто черной маской, сидит Анхелита. В ее глазах мольба и испуг. Рот ее заклеен красного цвета липкой лентой. Руки связаны за спиной... Автомобиль пробивает витрину магазина и мчится через весь зал, разбрасывая по сторонам перепуганных насмерть покупателей... Удар! Звон разбитого стекла... Машина выскочивает через противоположную витрину на проезжую часть улицы, где ее уже ждут четыре полицейских джипа. «Фак ю!» – рычит водитель и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, летит к мосту, который в этот момент начинает разводиться.

С диким ревом машина взлетает в воздух и, подпрыгнув, исчезает на другой части моста...

– Сволочь! – кричит директор и убирает звук. – Сердце обливается кровью за страдания несчастной Анхелиты...

– Да-а, – вздыхает Глория. – Доля ей выпала – не позавидуешь...

– Дорогая моя, – говорит директор, не упуская развития действия на экране. – Хотим мы того или нет, но наступила новая социально-экономическая эпоха, которая требует принципиально нового, кардинально отличного от прошлого подхода к системе образования и воспитания нашего подрастающего поколения. Необходима свежая креативная методика... (бедная девочка!..) в системе оценки знаний не просто, учитывая специфику специализированности, контингента нашего лица...

...Злодей в черной маске волочет тело Анхелиты по узкому темному проходу...

— Он не просто сволочь! — восклицает Глория. — Он подонок!

— И не говорите! — соглашается директор. — Я переживаю за нее, как будто она моя дочь... Так вот. Специфика специализированности контингента состоит в том, что родителям содержание лица стоит, поверьте мне, немалых денег, но они идут на эти затраты, справедливо полагая, что уровень подготовки детей позволит им в ближайшем будущем отправить своих чад в Оксфорд, Сорбонну, в Гарвард... *Злодей в черной маске сдирает с Анхелиты одежду и расстегивает молнию на своих джинсах.*

— Подонок! Неужели он ее изнасилует?..

— Нет, это зрелище не для меня, — вздыхает Глория и закрывает глаза руками.

— Да, — продолжает директор, — но, с другой стороны, трудность процесса обучения усугубляется тем, что высокий уровень содержания детей, который обеспечивают родители, как бы освобождает детей от необходимости иметь так называемую жажду знаний, свойственную неспециализированным, то есть бесплатным учебным заведениям. Я надеюсь на ваш опыт, дорогая Глория, на врожденную образованность, на умение подобрать ключик к каждой детской душе... Вот, ознакомьтесь с классным журналом седьмой ступени, чтобы на первый ваш урок прийти максимально подготовленной... Вам не мешает, если я включу звук, пока вы будете изучать список?

— Нет, нет, пожалуйста, — отвечает Глория и раскрывает журнал. Она листает журнал, возвращается к началу, снова листает. Ее внимание привлекают какие-то звездочки, стоящие перед каждой фамилией: — Что это за звездочки?

— Не успел! — радостно бьет ладонью по столу директор. — Не успел!.. Полиция подросла вовремя!.. Молодцы!.. Что вы сказали?

— Я хочу знать, что это за звездочки перед каждой фамилией? — повторяет Глория.

— Хорошо, что вы обратили на это внимание, — говорит директор. — Это звездочки категоричности, как у гостиниц... Они обозначают условное количество финансовых средств, внесенных родителями за своего ребенка... Разумеется, количество звездочек определяет и степень деликатности в общении с учащимся...

— Но здесь есть фамилия без всякой звездочки, — недоумевает Глория.

— Совершенно верно, — улыбается директор. — Мы не можем себе позволить, чтобы экстремистски настроенные средства массовой информации обвинили нас в недемократичности и излишней коррумпированности... Поэтому одного мальчика мы обучаем бесплатно. Мальчик получил место благодаря методу слепого отбора с помощью детского отдела мухославской милиции. Его отловили среди беспризорных детей на мухославском вокзале... Ребенок оказался не простым, с искалеченной трудным детством душой... Документами его снабдила милиция в соответствии с протоколом, согласно которому, мальчик сказал, что его зовут Никак, отчество — Беспалович, а фамилия — Ничей... Нам ничего не остается, как принять это за данность. Если вопросов нет, то вперед и, как говорится, перо вам в ваши педагогические крылья!..

...По последнему звонку Глория вошла в класс. От смеси духов и еще каких-то незнакомых запахов у нее закружилась голова, и она села за учительский стол.

Лицеисты не обратили на нее никакого внимания.

В одном углу ярко-рыжая девочка, задрав юбочку, демонстрировала однокашникам татуировку на правой ягодушке.

В другом углу группа мальчиков и девочек облепила компьютер и оживленно комментировала происшедшее на экране.

Глории показалось, что она видит два шевелящихся обнаженных тела. По отрывочным возгласам она

никак не могла понять, что за сюжет привлек детское внимание...

«Во дает!.. Но она воще!.. Прикол!.. Я засек! Девятая минута пошла! А мой батя — стайер!.. Он маманю по полтора часа из-под себя не выпускает!.. А ты что, подглядывал?.. Ха-ха-ха!.. Ой! Чем это он ее?.. А ты че, не понял? Это удав дрессированный... А на голове презерватив, чтобы он ее не ужалил!.. Вот это фишка!.. Слушай, перекатай мне это — я сестренке покажу. А то она какая-то отмороженная...»'

По-прежнему ничего не понимая, Глория говорит как можно строже, но вежливо:

— Добрый день, господа лицеисты. Перемена закончилась. Я ваша новая преподавательница литературы.

Какой-то мальчик оторвался от экрана, посмотрел на Глорию и сказал:

— Совсем чуток осталось... Такой клевый порнель! Зашибись!..

Наконец что-то щелкнуло, экран погас, и лицеисты нехотя стали рассаживаться.

— Я ваша новая преподавательница литературы, — повторила Глория. — Зовут меня Глория Мундиевна...

Дети захихикали.

— Ничего смешного, — продолжила Глория. — Моего отца звали Мундий. И дед был Мундий. И прадед Мундий... Все мужчины в нашем роду были Мундии...

— Вы не из латинян будете? — спросил русоголовый парнишка.

Мальчик чем-то отличался от остальных лицеистов. У него были голубые глаза. Волосы, собранные со лба в пучок и схваченные на затылке резиночкой, образовывали небольшой изящный хвостик.

— Наверное, из латышей, — уточнила девочка из первого ряда.

— Не из латышей, а из латвийцев, — поправил кто-то.

— Почему ты так решил? — спросила Глория.

— А фамилия ваша не Транзит? — не без лукавства поинтересовался русоголовый.

— В девичестве — Транзит... Откуда ты это знаешь?

— Догадался. В одной из прошлых жизней я был древним римлянином и меня звали Гомо Люпусович Эст... Вот я и подумал — Глория Мундиевна... Сик транзит gloria мунди... Так проходит земная слава...

— Ну, Ничей прикалывает! — восхищенно произнесла девочка с колечком на нижней губе. — Я от него тащусь!

— Кто тебя учил латыни? — спросила Глория.

— А в Древнем Риме все на латыни трокали, — сказал русоголовый.

«Странный мальчик, но не ординарный», — подумала Глория и сказала:

— Ладно, господа лицеисты. Ответьте мне на один вопрос: у кого какие любимые литературные герои?

— Анхелита! — крикнул кто-то.

— Руслан Людмилов!.. Майкл Джексон!

— Майкл Джексон отдыхает!

— Битлы!

— Я подчеркиваю — литературные герои, — жестко произнесла Глория. — Помнит кто-нибудь, например, Базарова? Павку Корчагина?

— Это того, кто своего отца ментам сдал?

— Не путайте с Павликом Морозовым. Его поступок можно расценивать двояко — с одной стороны, родной отец, а с другой стороны — враг народа... Можно сказать, террорист..

— У него что, папаша бен Ладен был? — спросил русоголовый.

— А у меня любимый литературный герой — мой папка, мой Димон! — гордо сказала девочка с колечком на нижней губе. — Он мне на день рождения «бентли» подарил!

Наступила полная тишина. Потом кто-то мечтательно произнес:

— Бентли!.. Зашибись!..

Не имея представления о том, что такое «бентли», Глория поинтересовалась:

— Просветите меня, что такое «бентли»? Их едят?.. Или носят?..

— Да вы че? Без прикола? — чуть не поперхнулась девочка. — «Бентли»!.. Пятьсот тысяч баксов! Триста двадцать лошадей!

— Триста двадцать лошадей?! — изумилась Глория. — Где ж вы их держите?

— В гараже, — сказала девочка. — У нас там два маминных «мерина» стоят, «хаммер» и «бумер»...

Окончательно не понимая, на каком языке говорит девочка, Глория решила переменить тему и обратилась к русоголовому:

— Подойдите к доске, пожалуйста.

Мальчик неспешно подошел к столу и, хитровато улыбаясь, уставился на Глорию.

— Давайте знакомиться по-серьезному, — сказала Глория. — Как вас звали в вашей древнеримской жизни, я уже знаю. А как вас зовут в настоящей?

— Никак, — ответил паренек. — Никак Беспалович Ничей.

— Это у него фенька такая! — крикнул кто-то.

— У вас есть сестра по имени Феня? — спросила Глория.

— Да нет у меня никого, — сказал русоголовый.

— Когда вы родились?

— В ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое декабря по старому стилю, с седьмого на восьмое января — по новому.

— Год?

— Откуда я знаю?

— Вы что же, как Христос?

— Если вы имеете в виду нападающего сборной Греции по футболу, то он Христос, а не Христос, — улыбнулся русоголовый.

— Не ерничайте. Сколько вам лет?

— В районе четырнадцати.

— Почему вы так думаете, если не помните год своего рождения?

— Знакомый ветеринар по зубам определил. — И мальчик ощерился, показав свои зубы.

— В недалеком прошлом, — сказала Глория, обращаясь ко всем, но имея в виду русоголового, — такое поведение расценилось бы как издевательство над учителем и повлекло бы за собой вызов в школу родителей. Но вам повезло... Ладно. Попробуем взглянуть на вас с другой стороны...

Паренек развернулся на сто восемьдесят градусов и стал спиной к Глории.

— Опять вы ерничаете, — вздохнула Глория. — Я имею в виду сторону вашего духовного развития... У вас есть хотя бы одно любимое стихотворение?

— Есть! — радостно улыбнулся мальчик. — Есть!

И он начал декламировать, завывая в конце каждой строки:

Люблю, когда колбасит, глючит,
Проснуться с утренней зарей.
И дозу... так... на всякий случай...
Втянуть голодную ноздрей,
Покликать в Интернете мышкой,
Подсесть и в кайфе заторчать,
Потом твои раздвинуть фишки
И фейсом феньку щекотать...
И отступает прочь абстыга,
И наступает клевизна...
Все остальное — это шняга!
По барабану мне она...

Лицеисты зааплодировали. Раздались возгласы «Клево!.. Прикольно!».

— Откуда эта шизофрения? — изумленно спросила Глория.

— Из Интернета скачал, — ответил Никак.

— И вам действительно нравится?
— Главное, что электорату нравится.
— Ну а что-нибудь попроще?
— Можно, — сказал Никак, — но попроще для всех будет сложно... «Дальше, в поле, стало совсем почти темно и от тумана уже непроглядно. Навстречу тянуло холодным ветром и мокрой мглой. Но ветер не разогнал тумана, напротив, нагонял все гуще его холодный, темно-сизый дым, душил им, его пахучей сыростью, и казалось, что за его непроглядностью нет ничего — конец мира и всего живого».

Он остановился и задумчиво уставился в окно, словно вспоминая что-то только ему одному ведомое...

Глории показалось, что мальчик отлетел куда-то, в какое-то параллельное пространство...

— Весьма пессимистично для вашего возраста, — сказала она. — Кстати, что это?

Продолжая смотреть в окно, Никак ответил с грустной улыбкой:

— Двадцать второго октября тысяча девятьсот сорокового года в Париже на Елисейских полях мне это прочитал Иван Алексеевич... Бунин...

— Что-то я не догоняю, — зевнув, сказала девочка, которой папа подарил «бентли».

— Видите? — вздохнул Никак. — Электорат не догоняет...

Внезапно у Глории закружилась голова, дыхание перехватило, и она судорожно стала глотать слюну, пытаясь подавить поднимающуюся изнутри тошноту...

— Урок окончен, — еле слышно произнесла Глория и, опираясь на стену, с трудом вышла из класса.

Добравшись домой, она приняла три таблетки снотворного и отключилась... В ее полусознании возник красного цвета безграничный луг. Назойливые феньки, жуужа, забивали рот, уши и нос. Черные фишки

тяжелыми гириями повисли на руках и ногах... Внезапно, путаясь в извивающихся бентлях, побежали лошади... Она досчитала до ста восьмидесяти двух и сбилась... Мощная клеvizна втянула ее в длинный темный тоннель, вращая и колбаса о стенки... В дальнем конце засветилось что-то бесформенное и глючное. Это была шняга...

— Анхелита... — прошептала Глория. — Бедная девочка...

XIII

Пару дней мухославичи пообсуждали загадочное маскарадное убийство Рапсода Мургабовича с дочкой, Н.Р.Ктоследует, какого-то Бестиева и двух путан легкого поведения. Через пару дней поостыли и успокоились. Наиболее активные еще обсасывали вопрос, кто же выдвинет свою кандидатуру на пост мэра после гибели двух соискателей. Наименее активные на этот вопрос ответили однозначно — кто-нибудь.

На следующий день после того происшествия акции «Акбара» упали в цене, но еще через день, после того как генеральным директором компании был единогласно избран Виктор Филиппович Кабанов — зять начальника мухославского РУБОПа, акции опять подскочили. Как заявил сам Кабанов, «никакие скотоклизмы не уроют стойкую экономическую стабильность родного города».

За две недели до выборов к мухославскому электрорату по телевидению обратился сам президент. Его выступление шесть раз повторили в паузах во время шоу Руслана Людмилова вечером и трижды — утром, когда шел повтор двести восемьдесят второй серии «Анхелиты».

Вот что сказал президент буквально:

— Родные мои! Я не собираюсь ни превозносить выдающиеся заслуги двух ушедших от нас, потрясающе талантливых деятелей вашего города, ни прини-

жать и без того низкий уровень двух аморальных типов, нажившихся на незаконно проведенной приватизации. Мы живем в свободном обществе, где каждый обязан иметь собственное мнение. Как говорится, выборы не за горами. Они на носу. И я не сомневаюсь, что жители Мухославска выберут себе достойного мэра из числа честных людей, каких в Мухославске девяносто восемь и семь десятых процента, согласно опросу пятисот наиболее компетентных респондентов. Каждый проголосует по совести. Но если бы я был жителем вашего города, моя совесть подсказала бы мне достойнейшего из достойных, человека талантливого и бескорыстного, фанатично любимого не только в Мухославске, но и далеко за его пределами. Я не сомневаюсь в том, что девяносто девять и пять десятых процента из девяноста восьми и семи десятых процента патриотически настроенных горожан свободно опустят в урны бюллетени с именем Руслана Ангеловича Людмилава. Я уверен, что выборы пройдут демократично, без какого бы то ни было давления со стороны. В противном случае мне придется собственноручно назначить мэром Руслана Ангеловича Людмилава, что кое-кем за рубежом с радостью будет воспринято как нарушение основ демократии. Не сдадим же козырной прикуп нашим недоброжелателям. Как говорится, вперед и с песней!

А уже на очередной следующий день избирком Мухославска обнародовал по телевидению образец избирательного бюллетеня, в котором были две графы. В первой графе — имя, фамилия, отчество кандидата: Людмилов Руслан Ангелович. Во второй графе — *Против всех, кто против.*

К бюллетеню с правой стороны прилагался отрывной, закатанный в пластик корешок. Бюллетень опускался в урну, корешок оставался у проголосовавшего. Корешок давал право на пятидесятипроцентную скид-

ку при покупке компакт-диска Руслана Людмилава. В подарок покупатель получал бутылку пива «Руслан». Кроме того, избирком обнародовал важное дополнение: каждый взрослый избиратель мог получить дополнительные бюллетени, позволявшие ему выразить свободное волеизъявление несовершеннолетних или умалишенных, если таковые имеются в семье. В заключение был показан новый клип будущего мэра Мухославска, в финале которого танцующие полуобнаженные девушки опускали в трусики избирательные бюллетени, а за кадром звучал голос счастливого избранника:

Ну, раз уж вы меня хотели,
Огонь желаний не потух —
Теперь у вас в свободном теле
Один лишь мой свободный дух.

...Накануне выборов избирком призвал всех жителей не затягивать процесс и явиться на избирательные участки к открытию, то есть к шести часам утра, чтобы не опоздать на народные гуляния, которые начинались в двенадцать часов дня.

Уже за полчаса до официального начала голосования сознательные мухославцы образовали у дверей избирательных участков огромные очереди, и к моменту окончательного появления солнца над городом уже не осталось ни одного горожанина, не выполнившего свой гражданский долг.

А в одиннадцать часов радио и телевидение огласили результаты, которые Международная наблюдательная комиссия предложила внести в книгу рекордов Гиннеса: «За кандидатуру Руслана Ангеловича Людмилава проголосовали сто двадцать шесть процентов от общего числа избирателей. Воздержался один гражданин, имя которого не называется в интересах следствия».

В заключительной речи председатель Международной наблюдательной комиссии заявил прямо: «Такого

размаха демократии во время выборов не было и не будет ни в одной стране цивилизованного мира. Если бы не любовь к моей исторической родине, я попросил бы в вашем городе политического убежища».

В двенадцать часов улицы города заполнились счастливыми жителями. Народ стекался к площади перед «Мухославбанком», где была сооружена трибуна для почетных граждан и гостей города. С трибуны ликующее население приветствовали начальник РУБОПа с супругой, генеральный директор компании «Акбар» Кабанов с супругой, проктолог Передковский, председатель Международной наблюдательной комиссии, специально прилетевший на торжества из Австралии, господин Бедейкер и какой-то молодой человек, про которого в толпе говорили, что это двоюродный брат пресс-секретаря самого президента...

Улыбаясь ликующей площади, Кабан вполголоса произнес, обращаясь к тестю:

— Неплохо все получилось, как ты думаешь, папа?

— Президент — молодец. Вовремя поддержал, — сказал тесть.

— Жаль, что он не приехал, — вздохнул Кабан.

— Он еще слаб. Только из голодовки вышел, — пояснил тесть. — Пацана прислал... Я с ним сегодня перекинулся — он все правильно понимает...

Все подходы к площади и весь ее периметр были заставлены пивными ларьками на колесах. Мухославицы «нарусланивались» и вливались в ликующую толпу, стараясь оказаться как можно ближе к трибуне.

Ровно в час дня из всех репродукторов грянули вступительные аккорды «Беби темноокой». Толпа завопила, и этот крик был подобен десяткам тысяч криков младенцев, одновременно появившихся на свет из материнских утроб.

В небо взмыли сотни голубых шаров.

Мухославици, ритмично покачиваясь вправо-влево, запели «Беби темноокою», размахивая бархатными голубыми шарфиками...

— Просто еще одна бархатная революция! — восхищенно произнес председатель наблюдательной комиссии.

— Бархатная-то она бархатная, — обращаясь к тестю, сказал Кабан, — только с цветом перебор вышел.

— А кто сказал, что шарфики голубого цвета? — успокоил тесть. — Они васильковые... Главное, что без крови...

— Без лишней крови, — уточнил Кабан.

Площадь как по команде запестрела лозунгами:

«Людмилов — голос народа!»

«Руслан Ангелович — наш хранитель!»

«Руслан! Ни шагу на зад!»

— Почему «на зад» отдельно? — прошипел Передковский. — Это компрометирует мое учение.

На фоне всеобщего веселья и подъема выделялся один пожилой, буднично одетый мужчина. Это был почвенник Дынин. Он испуганно прижимался к стене дома, держа правой рукой транспарант, на красной поверхности которого белели буквы: «ДА ЗДРАВСТВОВАЛ ТОВАРИЩ СТАЛИН!»

— Убрать урода? — спросил Кабан.

— Пусть стоит, — сказал начальник РУБОПа. — Надо уважать старшее поколение...

На трибуну пролезла главная редакторша популярного в городе женского журнала «Войди в меня».

— Свежий номер, господа! Свежий номер! — бормотала она, суя каждому гостю новенький, только что из типографии, журнал, с обложки которого белозубо улыбалась ослепительно-темная Банана Хлопстоз. Под фотографией закавычивались слова: «Я НИКОГДА НЕ БЫЛА ДЕВСТВЕННОИЦЕЙ!»

— Какой позор! — возмутился Кабан. — Она ж теперь не только публичная баба! Она теперь пресс-секретарь мэра!

...А праздник набирал обороты.

В середине дня на площади появились омовцы и стали теснить толпу, освобождая пространство от главной арки до центральной трибуны.

Без пятнадцати четыре из арки на площадь медленно вполз семиметровый голубой лимузин василькового цвета. За спиной водителя во весь рост стоял новый мэр и приветствовал электорат.

— Не вижу ваши руки! — выкрикивал он. — У вас хорошее настроение?

— Да-а-а! — откликнулась площадь.

— Не слышу-у? — крикнул Руслан и приложил правую ладонь к правому уху.

— Да-а-а! — заорала площадь и затопала ногами.

Гостевая трибуна задрожала. Раздался треск, но омовцы бросились к ней и подперли ее своими спинами, как атланты.

— Не е...ся? — испугался Кабан.

— Не бэ! — сказал начальник РУБОПа. — Мои ребята выдюжат!

Лимузин медленно приближался к трибуне. Рядом с Русланом Людмиловым стояла грациозная темная газель Банана Хлопстоз и забрасывала народ конфетами.

За лимузином, еле поспевая, семенил художник Дамменлибен. Одна его рука держала небольшой мольберт, а другая живописала дорогие черты нового любимого градоначальника. При этом Дамменлибен умудрялся подпрыгивать и целовать руку Руслана Людмилова, повторяя: «Ге-ге-гений!.. В-вы ге-гений! А Б-ба-ба-нана кра-савица!.. А в-вы ге-ге-гений!..»

Лимузин остановился возле трибуны. Руслан и Банана поднялись к гостям. Банана встала рядом с Кабаном и легонько чмокнула его в щеку, сказав тихо, но со смыслом: «Спасибо, брат...»

Кабан отшатнулся и процедил сквозь зубы, но тоже со смыслом: «Не афишируй, сука! Жена рядом! Люди смотрят!»

Затем он подошел к микрофону:

— Дорогие земляки! Разрешите этот счастливый стихийный митинг позволить открыть новому пресс-секретарю нового мэра — Банане Луиджиевне Хлопстоз!

Народ взорвался.

Банана дождалась тишины и произнесла:

— Дорогие мои! Позвольте представить мне вам вновь избранного мэра нашего мухославного города — неопишемого Руслана Ангеловича Людмилова!

Площадь впала в оргазм.

Преодолевая имитируемое волнение, новый мэр обратился к электорату:

— Родные мои! Спасибо вам, спасибо моим и вашим родителям! Без них ничего бы не было!.. У меня нет слов!.. Мое слово — мои песни!.. Позвольте разрешить передать слово моему пресс-секретарю Банане Хлопстоз.

Оргазм крепчал.

— Дорогие мои! — закричала пресс-секретарь. — Руслан Ангелович правильно сказал: его слово — это его песни! И он с большой любовью и охотой решил подарить вам в этот незабываемый день свое шоу! Здесь и сейчас! Встречайте! Несравненный певец и неподражаемый мэр — Руслан Людмилов!

Перекрывая экстатический рев, грянула, сотрясая площадь и окружающие здания, музыка.

Началась новая, еще более счастливая жизнь...

Электорат пил, пел и смеялся, как дети.

Пиво «Руслан» было правильным пивом, и оно оказывало на здоровые организмы свое правильное и естественное действие.

Поскольку светлая мечта проктолога Передковско-го о целевой застройке города сверкающими и благоухающими писсуарами и унитазами была еще в глубоком проекте, люди шли и бежали к песчаным пляжам реки Мухи и опорожняли свои переполненные счастьем пузыри прямо в неспешные ее воды.

В наступающих сумерках никто и не заметил, как уровень реки, определенный муниципальным стандартом, стал подниматься...

А на левом берегу уже началось пиротехническое пиршество. Сухие беспорядочные хлопки рождали разноцветные букеты, еще более поднимая и без того приподнятое настроение.

И вдруг случилось так, что одна из выпущенных ракет, не достигнув положенного апогея раскрытия, свалилась вниз и угодила в недавно открытую нефтяную скважину... Здесь она и сработала. Столб пламени поглотил близлежащие строения, которые загорелись, заражая бактериями пожара все окружающее...

Но ничто в этот вечер не могло омрачить карнавального настроения мухославцев. Переполнившаяся от счастья река Муха в этот момент вышла из берегов и поглотила результат недоброкачества пиратски изготовленного пиротехнического средства, а явившийся откуда-то ветер разогнал специфически ароматизированный дымный туман...

Камера панорамирует с одного радостно-испуганного лица на другое, с девушки, насладившейся прямо из бутылки пиво «Руслан», на юношу, целующего другого юношу. Тощий человек с бритой головой и с глазами навывкате держит камеру и смотрит в монитор, на котором плывут титры: «Вы смотрели новый сериал “Российские страсти”». Тощий человек выключает камеру и говорит сам себе, взглянув на небо: «Всё. Смонтируем там». Тощий человек становится совсем маленьким, влезает в камеру и захлопывает крышку. Еще мгновение – и камера взлетает, словно звезда, падающая вверх. Она на секунду застывает светящейся точкой на темном небосводе и начинает ритмично дергаться вправо и влево в такт звучащей на мухославской площади «Беби темноокой»...

И тут, не выдержав тяжелых низкочастотных колебаний, рушится гостевая трибуна. Несколько нераздавленных омоновцев спешно извлекают из-под об-

ломков высоких гостей, стряхивают с них пыль и делают вид, что ничего не произошло.

— Без паники! — кричит начальник РУБОПа. — Посуда бьется к счастью! Праздник продолжается!

Перемазанного и перепуганного мэра омовцы уволакивают с площади, но голос его, поющий «Беби темноокою», продолжает звучать...

И в этот момент из арки выезжает детский педальный автомобиль. В автомобиле давит на все педали подросток с арабской куфьей на голове. На капоте, разбрасывая во все стороны холодные искры, шипит бенгальский огонь.

Люди в ужасе разбегаются кто куда, создавая давку. Слышны крики «Террорист!», «Ваххабит!», «Исламист!».

Автомобиль останавливается, бенгальский огонь гаснет, «террорист» выходит из автомобиля и картинно раскланивается.

— Взять его! — кричит начальник РУБОПа. — Взять негодяя!

Наиболее смелые устремляются к негодяю, но, поняв, что шутка не удалась, он бежит к арке. Кто-то срывает с его головы арабскую куфью, и все видят на его затылке иудейскую кипу.

— Сионист! Жиденок! — кричит толпа.

Ветер сдувает с головы «сиониста» кипу, обнажая светло-русые волосы, собранные на затылке хвостиком.

За ним уже гонится осмелевшая толпа. Но проворный Никак, оглянувшись, показывает язык и припускает что есть мочи...

Толпа постепенно отстает, и Никак исчезает из виду в окончательно стусившихся сумерках...

...Он все бежал, бежал и бежал, не сворачивая ни вправо, ни влево, потому что знал еще по урокам географии, что земля круглая и если все время бежать из одной точки в одном направлении, то рано или позд-

но вернешься в ту же точку... Когда? Кем? В какой жизни?.. Но обязательно вернешься...

И он все бежал, бежал, бежал...

«Дальше, в поле, стало совсем почти темно и от тумана уже непроглядно. Навстречу тянуло холодным ветром и мокрой мглой. Но ветер не разогнал тумана, напротив, нагонял все гуще его холодный, темно-сизый дым, душил им, его пахучей сыростью, и казалось, что за его непроглядностью нет ничего — конец мира и всего живого».

Этой цитатой из Бунина я ставлю очередную точку в бесконечном многоточии нашей действительности.

14 апреля 2005

Содержание

Вместословие 5

Часть первая
РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 8

Часть вторая
ЯГНЕНОК В ПАСТИ ОСЕТРА
(полное эпиложество) 166

Литературно-художественное издание

Арканов Аркадий Михайлович

Jackpot
ПОДКРАЛСЯ
НЕЗАМЕТНО

Редактор

В.П. Кочетов

Младший редактор

Е.В. Безуглых

Художественный редактор

Т.Н. Костерина

Оператор компьютерной верстки

Л.Г. Иванова

Оператор компьютерной

верстки переплета

В.М. Драновский

Корректоры

Л.М. Кочетова, Е.В. Мартынова

Подписано в печать 27.07.2005

Формат 84x108/32

Тираж 7000 экз.

Заказ №4210

ЗАО «Вагриус»

107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1

E-mail: vagrius@vagrius.com

Информация об Издательстве в Интернете:

<http://www.vagrius.com>; <http://www.vagrius.ru>

Отпечатано во ФГУП ИПК

«Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



«... пронеслись годы, и мы из застойного периода перебрались в период «неслыханной» свободы с теми же нашими человеческими достоинствами и недостатками. И тут выяснилось, что кто-то был никем, а стал КЕМ-ТО, а кто-то, кто был ВСЕМ, стал ничем... Ближайший друг стал заклятым врагом, а заклятый враг стал злейшим другом... Тот, кто был апологетом прошлого режима, отмежевался от прошлого и стал проклинать его всеми мыслимыми и немыслимыми словами, а тот, кто боролся с этим режимом, вдруг начал ностальгировать по тому самому ненавистному прошлому. А огромная часть нового поколения безоглядно приняла новое существование, и, отбросив, как балласт, все прошлое, безудержно припевая и пританцовывая, наивно полагала, что все настоящее вечно...»



A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Ан. Арканов'.